

**ТОМАС Л. ХАННА**

# **ВОССТАНИЕ ТЕЛ**

**ОСНОВЫ СОМАТИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ**

## **Телесно-ориентированная терапия**

**Thomas L. Hanna**

# **BODIES IN REVOLT:**

**A PRIMER IN SOMATIC THINKING**

Holt, Rinehart and Winston

1970

**Томас Л. Ханна**

# **ВОССТАНИЕ ТЕЛ**

## **ОСНОВЫ СОМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ**

*Электронное издание*

Москва  
Институт общегуманитарных исследований  
2016

УДК 615.8  
ББК 88.52  
X27

### **Ханна Т.**

X27 Восстание тел. Основы соматического мышления [Электронный ресурс] / Т. Ханна ; пер. с англ. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 281 с.). — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2016. — (Телесно-ориентированная терапия). — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".

ISBN 978-5-7312-0904-5

Томас Ханна — автор метода «соматического обучения», устраняющего патологические двигательные привычки, напряжения и боли в теле за счет восстановления нормальной работы нервно-мышечной системы с помощью специальных упражнений. Объединив свой опыт в изучении богословия, философии и нейронаук, Томас Ханна пришел к идее, что все события жизни, прежде всего стрессы, приводят к «физическим паттернам в теле человека». Через практику соматики обретается возможность нейтрализовать стресс и последствия травм, обрести более качественный мышечный контроль, улучшить координацию и увеличить амплитуду движений, ощутить больше энергии в теле, исправить осанку и т. п.

В данной книге излагаются основы учения Томаса Ханна. Она может быть полезна как профессионалам — медикам, философам, психотерапевтам, так и студентам и аспирантам высших учебных заведений.

УДК 615.8  
ББК 88.52

**Деривативное электронное издание на основе печатного издания:** Восстание тел: основы соматического мышления / Т. Ханна ; пер. с англ. — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-88230-099-8.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

*Я хочу посвятить эту книгу  
половине американского населения:  
тем, кто находится в возрасте  
двадцати пяти лет и моложе*



# Вступительное слово

Восемь недель, растянувшихся с жаркого, засушливого конца мая и зимы до холодных, мокрых дней раннего июля и начала летнего сезона в Гвадалахаре, я просидел на кровле. В моем доме за западной окраиной Гвадалахары на крыше есть маленькая квадратная пристройка для горничной. Она выкрашена в мертвенно-бледный цвет.

Внутри это жилище над крышей представляет собой небольшую комнату, где вдоль одной из стен громоздятся несколько ящиков. Вплотную к западной стене стоит длинный типовой, коричневого цвета, письменный стол, который я купил за 50 песо на складе подержанной мебели. Вдоль северной стены располагаются окно, дверь и стул с прямой спинкой, который выдерживает нагревательную пластину, маленький кофейник и грязную зеленую чашку с блюдцем. В восточной стене дверь, ведущая в ванную с душем, в котором одна холодная вода, и очком без сиденья – пол в ванной устроен так, что если вы принимаете душ, в комнату стекает больше воды, чем в сток. Поэтому я совершил здесь только одно разоблачение: мое первое разоблачение открытия и... подтирания полов.

Все эти недели у меня была превосходная позиция для наблюдения караула эвкалиптов и королевских понсиан, выбрасывающих свой цвет, а затем теряющих его. Мексиканская сосна, кажется, не изменила свой серовато-бирюзовый оттенок. Сейчас с востока надвигается гроза и я могу уже обонять влагу и тот прекрасный затхлый аромат, который я всегда любил. Через каких-нибудь несколько минут большие буро-коричневые капли двухдюймового размера зарикошетят и растекутся по крыше, что начинается сразу за моей дверью.



## Девиз двадцать первого столетия:

### «Все возможно»

Я только что закончил эту книгу. Я хочу извиниться за ее несовершенства. Если в ее основном содержании недостает прозрачности, это из-за того, что мне следовало бы написать ее за восемь дней, а не за восемь недель. И если я допустил какие-то досадные научные промахи, спишите это на то обстоятельство, что я не взял с собой никаких книг в этот западный уголок Мексики, лишь некоторые записи. Сами главы намеренно разнятся по объему, иногда говоря больше, иногда лишь немного, однако во всяком случае говоря достаточно, чтобы ввести непосвященного в мир соматического мышления.

Каждый из трех разделов книги отличается от других и выполняет особую функцию и, соответственно, все время меняется стиль изложения. В первом разделе я стараюсь любимыми средствами, какие могу изобрести, помочь тем, кто мыслит традиционно, сбросить безрадостный груз глубоко укоренившихся способов мышления относительно человеческой расы и мира, в котором она живет, и уловить аромат соматического способа мышления. Во втором разделе изложена базовая информация (изложена настолько доступно и фокусировано, насколько я ею владею), касающаяся исследований и теории соматически ориентированных ученых и философов. Есть, конечно, множество других соматических исследователей и мыслителей, которых невозможно было включить в обсуждение; но тем, с кем я имел дело в Разделе 2, случилось стать главными фигурами в развитии моего собственного соматического мышления. В третьем разделе тема делает еще один крутой поворот и соматический подход, а также данные, на которые он опирается, сосредоточиваются вокруг происходящей в настоящее время эволюции нашей культуры и того, что кажется мне проступающими очертаниями двадцать первого века.

Является ли *Восстание тел* законченной книгой или научным трудом, для меня безразлично. Что действительно имеет значение, так это то, что кто-то должен был написать книгу подобного рода, и что она должна была быть написана вскоре. В истории нечасто бывали периоды, когда бы нация испытывала такую необходимость в *Путеводителе по Запутанному*. Не оказалось больше ни-

кого, кто был бы склонен написать его, поэтому я был вынужден это сделать.

Я хочу поблагодарить Американский Совет Научных Сообществ за то, что он предоставил мне возможность написать такое произведение, оплатив мое рабочее время. На него следует равняться по той причине, что если организации, так же, как и правительства, не берутся субсидировать экспериментальные и революционные проекты, следующие несколько поколений будут вынуждены планировать будущее не с их помощью, а вопреки ей.

Эта книга не является ни научным, ни философским, ни литературным произведением. Это свободное эссе. По традиции, литераторы описывают сколь прелестные, стол и удивительные вещи, но они вовсе не имеют в виду того, что говорят; это делает их литераторами. Философы, также по традиции, пишут о вещах скорее осторожно и сдержанно, так как правила игры предполагают, что они не ошибаются, когда говорят то, что имеют в виду.

В этой книге я старался говорить то, что я имею в виду, и иметь в виду то, что говорю.

*T.X.*

*Гвадалахара, Мексика*

*Июль, 1969*



# Раздел 1: Эволюция-революция сом

## 1. Начиная книгу

В настоящее время и на оставшуюся треть двадцатого столетия человеческие тела вступили в состояние культурного мятежа. В технологических обществах – по всей Европе и частично в Соединенных Штатах – сейчас появляется новый вид человека: мутант, который все в большей степени будет доминировать в нашем обществе и который в то же время будет создавать новую культуру этого общества. Понять происходящее довольно просто: расходуя чудовищные количества агрессивной энергии, люди преуспели наконец в создании новой среды, которая перестроила и преобразила землю, создав на ней обстановку, теперь уже не игнорирующую существование и потребности человека, но несомненно их поддерживающую. В ответ на это огромные количества энергии, освобожденной такими условиями жизни, создают новый вид человека, культурного мутанта.

На протяжении ста или более лет мы чувствовали эту перемену: люди предрекали ее и опасались, надеялись на нее и страшились как слепого рока, настолько зловещего и так радикально отличающегося от всего известного, что равнозначно было рассматривать его как высшее благо или как высшее зло: т.е. приближался период человеческой истории, когда взрыв нового был настолько силен, что вообще невозможно было заранее составить о нем сколь-нибудь ясного представления. Минувшие сто с лишним лет были эпохой тревоги, скрытого перелома и человеческого страдания. Определенно, выражением времени служило: «Какой в этом смысл?» и «Куда мы идем?» Это было время, когда власть и агрессия человека выросли в конце концов до всепланетных масштабов, породив как следствие склонность к разрушению, гордыню и страх, не имеющие себе равных на всем протяжении челове-

ской истории. Выросли настолько, что как раз лучшие из наших пророков часто критиковали предсказателей, видящих Апокалипсис лишь впереди. Таким образом, лучшей из наших надежд была последняя надежда на выживание, так что мы смогли по крайней мере начать все сначала, после того как потоп пошел на убыль. Как ни странно, на вершине человеческой власти, агрессивности и гордыни люди, боязливые и запуганные, были бы готовы вернуться к мифическим пещерам и склонны довольствоваться малым – жизнью на краю нищеты, – чем стремиться к большему – обильному и преображенному существованию.

Однако потрясения, охватившие более столетия, не были напрасными; в самом деле, одно из зарождающихся в настоящее время открытий состоит в том, что ни одно из человеческих свершений не напрасно. Происходившее когда-то теперь достигло своего срока и не нужно больше томительно и с дурным предчувствием ждать, что призрак этих событий замаячит на горизонте. Призрак явился и как все призраки выглядит менее устрашающим и поразительно несхожим с духом из наших капризных фантазий на стенах пещеры. Сейчас призрак воплощается; мы можем видеть его и, видя, прийти к пониманию, и понимая, вынуждены принять и приветствовать неизбежность его появления.

Этот начинающий сейчас воплощаться призрак – не чудовище. Это человеческое существо – появляющееся сейчас мутантное человеческое существо: такое же слабое и неопытное, такое же идущее ощупью и осторожно – гордое, как перво-человек древних времен, спускающийся из убежища на деревьях на грозную, но и многообещающую землю. Отцом этого возникающего перво-мутантного человека была добрая половина теоретических умов двух тысячелетий, которые сделали возможным существование нашей общественной структуры. Его матерью стали все те технические инженерные корпорации, которые трудились над созданием технологического общества, согласованно развивающегося постиндустриального общества, которое, будучи сейчас в зрелой стадии использования технологических возможностей, корректирует экологический дисбаланс и загрязнение окружающей среды, созданные его промышленными предприятиями. Роль акушерки досталась всем тем ученым и философам, которые вели борьбу за

руководство этими оказавшимися трудными и мучительными родами, их истолкование и участие в родовспоможении. Эти последние – прозорливые ученые и философские умы прошедшего более чем столетнего периода, на которые мы должны ориентироваться, если претендуем на понимание и адекватную интерпретацию, а также на участие, наконец, в рождении нового, несоизмеримо более блистательного человеческого существа.

Я называю «революционерами» в науке и философии тех мыслителей, кто *был* и *остаётся* трудным в понимании и чьи идеи основной части западного общества так не просто разделить. Эти революционно мыслящие ученые, каждый в своей области и в рамках различных подходов, предвидели приход культурного мутанта, дали объяснение этому явлению и призвали нас принять его, а также различными способами старались пояснить нам причины его возникновения, соматические и вызванные влиянием среды. Вопрос в том, чтобы сопоставить взгляды революционеров науки и выделить своего рода согласную мелодию, в которую сливаются их голоса. Таков замысел данной книги: она посвящена культурному мутанту и тому, насколько мы уже владеем ключом к пониманию этого нового человеческого существа, если научились улавливать общее звучание голосов этих революционных мыслителей.

Словно возродившийся Иоанн Креститель, Иммануил Кант издал первый клич, отозвавшийся в двумерной пустыне западного мышления; однако увидеть путь и сделать его прямым для того, что должно было наступить, досталось Дарвину – одному из величайших наблюдателей. Маркс видел путь, он виделся ему достаточно широким, чтобы позволить пройти не одному человеку, но в конечном итоге всему человечеству. В противовес этому, Кьеркегору открылась не столько широта пути и число тех, кто пройдет по нему, сколько то, что для тех, кто пойдет по этому пути, он в итоге с необходимостью окажется единственным. Позже это предвидение обогатили представления других экзистенциальных мыслителей, в частности, представителей родственного направления исследований, называвших себя феноменологами. Эти различные пришедшие после Кьеркегора мыслители, некоторые с огромной тщательностью, другие с замечательной пронизательностью, исследовали сам путь и условия [следования по нему]: среди них,

несомненно, Гуссерль, Хайдеггер и Ясперс, которые возглавили целую когорту экзистенциалистов и феноменологов. Равно как и самонадеянный Сартр, пытавшийся быть всем для всех и кончивший великолепной полупраздностью. Равно как и христианские экзистенциалисты, отличавшиеся сколь путанными, столь же и смелыми взглядами, в попытке протащить отжившие религиозные традиции в здоровую атмосферу манящего будущего вдвойне преуспевшие, прибавая крышку на гроб Господень своим чрезвычайно почтительным отношением к новому человеку.

Тем не менее, Мерло-Понти, чья мысль так рано оборвалась, несомненно мог бы достичь цели как раз там, где Сартру это не удалось, просто потому, что эта мысль была неотступно сосредоточена на наших телах и нашем воспитании. А также, бесспорно, Камю, мыслитель, который никогда не заявлял о себе иначе, чем об артисте, просто «делавшем свою работу», воспроизводя образ своего времени своим братьям. И артистом он был, так как все ужасы и весь хаос нашего столетия преломились через его собственное бытие; и все же, каким-то образом преломленные сквозь эту призму, дела современного человека, преодолев это превращение, окрашены у него надеждой и проникнуты поэтическим лиризмом и чувственностью.

Однако среди ученых мыслителей, радикально изменивших прежнее направление наших мыслей, превзошел других Фрейд, непримиримый, вечно ищущий, вечно скитающийся еврей, который взял революцию Канта–Коперника и довел ее до ума с присущим ему сочетанием прозорливости и честности, редко достигаемым человеческим интеллектом. Но не только Фрейд, но также обладающий необычайным талантом Пиаже – терпеливо, изобретательно и нежно бившийся с молодыми человеческими созданиями в школах Женевы, пытаясь выведать секрет устройства человеческого ума, обусловленного соматической организацией и средой, двигавшийся тем же путем, что и Фрейд, который докапывался до соматической структуры человеческих эмоций.

Другие отрасли науки имели дело с родственной задачей: подтверждением и переподтверждением наличия структурированных мыслительных процессов в живущих и ранее живших телах, причем не только в наших собственных, но наличия этих процес-

сов во всех живых телах; именно это было показано Дарвином. Над этим работали специалисты в области этологии, «биологии поведения», исследования которых, начавшиеся в Соединенных Штатах, сейчас переживают расцвет в Европе. В особенности Лоренц – такой же терпеливый с животными, как Пиаже с детьми. Лоренц, который продемонстрировал нам, что не только все люди наши братья, но все животные – наши дядюшки и кузены, заслуживающие нашего понимания и любви, потому что мы все – одна достойная удивления семья, имеющая общее прошлое и схожие соматические способы принимать настоящее и обходиться с ним.

Философским дополнением к трудам этологов, таких как Лоренц, и представителей психологии развития, таких как Пиаже, были конечно работы Кассирера, обладателя удивительного, почти безграничного интеллекта, чья глубоко идеалистическая тевтонская кость не могла противостоять влиянию монументальной эрудиции, которая привела его к описанию человеческого сознания и ума, продвигающегося ощупью на всем протяжении своей длительной эволюции: от первых робких рисунков и слов первобытного человека до чисто абстрактных уравнений и формул современных ученых.

А затем был Вильгельм Райх, возможно единственный подлинный ученик Фрейда, полубезумец, стремящийся через видение структуры человека проникнуть в структуру всех живущих организмов и затем через видение этих структур проникнуть в организацию физической материи в предельной природе космоса. Райх доказал, что надежда на возможное появление Человека Возрождения не умерла. Он доказал также, что такие люди рискуют умереть в Федеральных тюрьмах Соединенных Штатов.

И, наконец, истинный сумасшедший последнего столетия и даже более, «клоун», который знал, что он был нерожденным при жизни и станет рожденным лишь посмертно: Ницше, который примирился с отсутствием понимания в свое время, примирился с необходимостью ждать, что его книги в конце концов проложат путь «новому сознанию» и новой мутации в человеке в более поздние времена. Ницше, который видел и предрекал агонию и грубый нигилизм, в который мы впадем, и который в то же время почувствовал *Таувинд*, теплый, влажный весенний бриз, которым веет



от Сверхчеловека будущего. Ницше, который в отсутствии Бога, обратившего в забвение, был не только способен простить миру и людям их существование, но оказался в состоянии принять их, любить и петь о них со своего рода радостью, к пониманию которой мы сможем приблизиться лишь тогда, когда все мы станем сумасшедшими, и клоунами, и мутантами.

Есть люди, которые еще выскажутся, одни прямо, другие лишь косвенно, некоторые пространно, а некоторые только мимоходом; однако мысль всех этих людей содержит нечто общее и в ней звучит общий голос. Это общее должно быть выражено; возможно это поможет нам понять, принять и поддержать то, что происходит среди нас самих – человеческой расы.

## 2. Водораздел: вторая попытка начать книгу

Предположим, это можно было бы представить иначе. Кое-кому из гуманистов будет в лучшем случае нелегко переварить эту книгу, и задача в том, чтобы спасти трудную книгу по крайней мере благоприятным началом. Проблема, по-видимому, состоит в том, что слово «революционный» для многих людей включает в себе что-то пугающее. По мере знакомства с нашими ранними перво-мутантами громадное число людей приходят в замешательство, когда видят или слышат такие слова как «революция» или «радикальный».

И это реальность. То же самое со словами «fuck»<sup>1</sup>, «prick»<sup>2</sup>, «cunt»<sup>3</sup>: они воспринимаются как угрожающие; они немедленно вызывают определенную соматическую реакцию. Заметили ли вы особый тремор, своего рода легкое сжатие, когда в первый раз увидели это напечатанным на странице? Или лучше того, заметили ли вы, что как только вы перевернули страницу, эти особенные слова выскочили вперед и бросились вам в глаза? Возможно вы «увидели» их прежде, чем установили деятельность по «просматриванию» страницы. Если так и произошло, значит вы уже узнали кое-что о теле, *собственном* теле и его необычайно обостренных реакциях на все значительное в его окружении. Возможно также, вы узнали кое-что о восприятии и о том, как это получается, что «видишь», «слышишь» и в целом ощущаешь намного больше и быстрее, чем воспринимает так называемый «ум» или «сознание».

Действительно, увидеть «fuck» написанным на странице – это для многих первый урок того, на чем неустанно настаивал Зигмунд Фрейд: что нашим целостным телесным существом непосредственно воспринимаются и отбираются среди окружающего нас детали, в данном случае, пугающе заманчивые, и наше сознательное внимание немедленно организуется так, что мы можем, с тем чтобы защититься, сосредоточиться на угрозе и справиться с ней каким-либо практическим способом. Эту быструю двойную

---

<sup>1</sup> to fuck (англ.) – неприст. трахаться

<sup>2</sup> prick (англ.) – груб. половой член

<sup>3</sup> cunt (англ.) – неприст. влагалище

реакцию бессознательного восприятия-и-защиты Фрейд сначала назвал «сопротивление», а позднее «подавление»; она совершенно типична для жителей Запада от Урала до Калифорнии и является одним из многих соматических механизмов, которые будут упоминаться на следующих страницах.

Этот специфический тремор или сжатие, которые вы можете быть ощутили в какой-то степени, когда заметили угрожающее слово, является характерным признаком деятельности вашей «мышечной брони», как говорит об этом Вильгельм Райх, т.е. произвольными мышечными сокращениями, которые можно ощущать в области таза, диафрагме, грудной клетке, плечах и даже в некоторых отделах шеи и лица, когда мы слышим некоторые слова или видим определенные изображения. Значение этой реакции сопротивления в том, что увиденное вами, быть может, каким-то образом привлекает ваше тело в целом, но вызывает *противодействие* ваших культурных навыков, приобретенных в предыдущие годы, создающих настолько закрепившуюся привычку обороняться от будто бы существующих опасностей, что ваша реакция обрела автономность и сейчас вы «видите» их и покрываете себя защитной броней даже не дожидаясь, когда ваше культурное сознание будет затронуто прямым приказом об этом.

Поэтому, прежде чем говорить о *революции*, возможно было бы не только предпочтительнее, но и гораздо более правильно поговорить об *эволюции*, принимая во внимание что вытекает именно это.

В настоящее время мы находимся на водоразделе человеческой эволюции и именно на языке эволюционных процессов можем наилучшим образом говорить об этом событии: т.е. говорить, используя понятия органических тел – таких как наши собственные – и изменения среды, в которой мы обитаем, приспособляясь к ней и изменяясь вместе с ней.

Хотя для того, чтобы подойти к главной идее этой книги, потребуется обзор данных о соматических и средовых характеристиках, который будет изложен в Разделе 2, исходная посылка может быть сформулирована следующим образом: по мере того, как мы приближаемся к концу последней трети двадцатого столетия, мы становимся свидетелями чрезвычайно длительного периода раз-

вития человеческой культуры и одновременно претерпеваем резкий и отчетливо ускоряющийся процесс превращения в человеческую культуру, коренным образом отличную. Ключом к пониманию этого эволюционного события является то, что мы имеем успешно построенное технологическое общество. Ключом к пониманию нарастающего темпа этого превращения в равной мере является наше технологическое общество. Оно не было знакомо нам прежде и мы не помышляли о нем, но то, что надвигается на нас сейчас, ясно показывает, что когда культурные мутации затрагивают нечто столь сенсационно новое с точки зрения человеческой истории, как технологическое общество, они происходят быстро: революционное изменение скорее перерастает эволюционное изменение, а не существование тихое и незаметное. Вкратце, в технологической среде, которая в полной мере является новообразованием, имеет место радикально ускорившийся процесс средней адаптации, поэтому в настоящее время «эволюция» и «революция» становятся синонимами. И к лучшему или к худшему – в зависимости от вашей культурной и соматической позиции – это отождествление эволюции и революции отныне определит будущее состояние технологического человеческого общества. Такой взгляд на происходящее может – и большинству *будет* – казаться ужасным, отталкивающим и, что можно утверждать с наибольшей уверенностью, неправдоподобным; и все же важность идеи в том, что с этого момента истории мы уходим на дистанцию. И это одна из причин того, о чем гласит надпись во фронтисписе: «Девиз двадцать первого столетия: “Все возможно”».

Абсолютным показателем нашего высокого уровня технологической зрелости является не просто соотношение производственных цифр с численностью населения; пожалуй, есть значительно более показательный критерий наших достижений, а именно то, что мы становимся технологическим обществом, *осознающим свое существование*. Мы сейчас впервые критически осмысливаем для себя неправильное использование и злоупотребления технологией и занимаем *контр*-позицию в защиту земной среды, за контролирование и подчинение которой мы так долго вели борьбу. Только технологически зрелая нация может сознательно отнестись к совершенно бессмысленному нагнетанию природного дисбаланса

среды, которое может повлечь за собой небрежное использование технологий. Абсолютным критерием нашего нынешнего становления как посттехнологического общества является введение в сферу национальных интересов такой чрезвычайно щекотливой и неоднозначной проблемы, как экология: ведь в этом обществе ликвидация загрязнения и установление тонкого баланса природных сил сами по себе являются задачами, которые призвана решать технология.

Сейчас, когда люди впервые в своей истории добились создания технологического общества – со всем вытекающим отсюда сверхэнергичным коммуникационным, транспортным и социальным переустройством – понятно, что будет иметь место и некоторая (в равной мере непредсказуемая и радикально новая) человеческая реакция: в частности, последующие поколения, живущие в этом трансформированном мире, будут сами – самым действенным, здоровым и неизбежным образом – адаптироваться к этому новому миру; то есть они будут мутировать. Эти мутанты будут в общем *выглядеть* так же, но не так *чувствовать* (поскольку их тела реагируют на новую среду), не так *воспринимать* (поскольку с рождения испытывали на себе новизну этой среды) и, что наиболее очевидно, эти мутанты будут не так себя вести (потому что их поведение должно на деле соответствовать тому, что они ощущают и воспринимают как свою среду).

Таков изначальный конфликт эволюционно-революционной адаптации: перво-мутанты оскорбляют чувства приверженцев культурной традиции *дурным поведением*. Перво-мутанты не поддаются пониманию: ведь их чувствование мира для мыслящего традиционно просто непостижимо; их видение мира необъяснимо; их образ мыслей возмутителен. И конечно, их способ поведения в этом мире бессмыслен, пагубен и разрушителен.

Итак, у нас имеется «*le conflit des générations*», перед нами «разрыв между поколениями»; с той лишь разницей, что конфликт происходит не между поколениями, а между традиционной и мутантной культурами. И происходит он не только в Соединенных Штатах (где по технологическим причинам он является особенно острым), и не только в Западной Европе (где перво-мутанты глубоко ужасают признанных защитников социального прошлого),

но равно и в коммунистическом обществе: брожение среди молодежи народов Средней Европы и открытый мятеж в Чехословакии обернулись не просто мимолетной неприятностью для Советского Союза и политических организаций, принадлежащих его объединенному коммунистическому лагерю; это брожение и этот мятеж – лишь начало. И начало, обусловленное в точности теми же причинами, что и в капиталистических нациях: тем, что народы коммунистической ориентации также достигли успеха в создании технологического общества, т.е. общества, в котором человек умеет выстраивать и контролировать земную среду таким образом, что теперь она работает *на* его выживание и не является уже бесстрашной, тупой угрозой, чуждой хрупкому, бедственному человеческому существованию.

Они, коммунисты, начинают сейчас однако опасаться неизбежных последствий своих достижений: их новоиспеченное технологическое общество превращает своих членов в иной тип людей. И поэтому коммунистический «истеблишмент» находится в таком же ужасающем положении, что и «истеблишмент» капиталистический; его более новые поколения счастливо и неизбежно мутируют вместе со своей новой средой и их незнакомые ощущения, восприятия и поведение идут вразрез с культурным прошлым. Ирония заключается в том, что Маркс в своих ранних сочинениях в значительной мере предвозвестил такой исход, развивая понятие *практики*. Кроме того, очевидно поэтому теоретики истеблишмента склонны умалять значение ранних сочинений Маркса, в то время как более молодые неомарксисты жадно поглощают их.

Исходное сообщение, заключенное в этих страницах, состоит в том, что создание нами нового вида среды представляет собой создание путем последовательной адаптации нового вида человеческих существ, поведение которых есть не что иное, как нащупывание способа приспособления к этой среде. Следовательно поведение это будет новым и особым: это будет «дурное поведение». Оно будет «безнравственным», «деструктивным», «бессмысленным» и отличающимся всеми остальными изъянами, усматриваемыми в нем приверженцами культурных традиций.

Культурные мутанты, как полагают традиционалисты, позаботятся об уничтожении большей части двух- или трехтысячелетней

западной культуры. Пока существует технологическое общество, с каждым поколением будет появляться все больше таких мутантов и может так случиться – безразлично, насколько жестко борются против этого приверженцы традиций, – может случиться и случится так, что культурные мутанты придут к власти. Их станет достаточно для того, чтобы взять под контроль политические, экономические и образовательные институты.

Они уже за работой. Они начинают создавать новую человеческую культуру, охватывающую новые формы поведения и основывающуюся на неизведанных ощущениях и незнакомых способах восприятия изменившейся среды. Через некоторое время они станут господствовать – возможно это произойдет с началом двадцать первого века. Нет способа, иного, чем саморазрушение всех технологических сообществ (которое, я уверен, было отчаянно вытесненным в подсознание последним спасительным средством тысячелетнего истеблишмента), это эволюционно-революционное изменение остановить. Вместо этого, как я сказал, можно попытаться понять его и через это с деликатностью принять, возможно даже поддержать. В конце концов выглядело бы только уместным, если бы культурная традиция проявила некоторый позитивный отцовский интерес к ребенку-мутанту, которого она породила.

### 3. Практикование безнравственности

До сих пор мы говорили о «хорошем и дурном поведении в развивающейся средовой ситуации» – при таком выборе слов данное описание наших нынешних обстоятельств вероятно не покажется сколько-нибудь оскорбительным многочисленным последователям культурной традиции. Если это так, пора продвинуться еще на шаг вперед и использовать более традиционные выражения: нравственность и безнравственность.

Копните сторонника традиций поглубже – даже самого искреннего и пресыщенного – и вы обнаружите, что он чувствует и понимает: есть одни поступки, которые являются плохими и неправильными, и есть другие – определенно правильные и хорошие. Если его прозондировать достаточно глубоко, он откроет вам, что реализовать известные формы поведения не только для него плохо и неправильно, они неправильны и для вас, и для меня, и для кого бы то ни было (возможно он сделал бы исключение для туземцев или представителей некоторых рас и национальностей; но это не проявление терпимости, а скорее скрытый расизм: «Они, не будучи людьми, такими как вы и я, свободны»).

Приверженец культурных традиций отлично *знает*, что некоторые человеческие поступки определенно правильны или неправильны; его знание неопределимо и автоматически, так же как знание о том, что клубника вкусная, а низ утюга горячий и может обжечь. Когда он видит или слышит о каком-нибудь «безнравственном» поступке, он не останавливается, чтобы перебрать весь перечень «за» и «против», и не «решает», не «думает», не «полагает», что это неправильно; вернее считать, что его целостное соматическое существо непосредственно чувствует и знает, что этот поступок плох и безнравственен – его тело достаточно определенно сигнализирует об ошибочности, ощущение которой он переживает как реакцию на данный поступок. Он внезапно ощущает в себе обиду, печаль, жгучую боль или гнев. Его традиционно воспитанное тело слегка приподнимает плечи, вскидывает голову вверх и немного в сторону, или же у него чуть опускается диафрагма, форсируя затем медленный тоскливый вдох через рот. Он может отреагиро-



вать и менее жалобно: тогда у него распрямляется и деревенеет спина, плечи на полдюйма приподнимаются, диафрагма становится упругой, незаметно натягиваясь, чтобы сделать подготовительный вздох через расширенные ноздри, при этом напрягается мускулатура шеи и нижней челюсти, зубы слегка соприкасаются или почти соприкасаются, а круговые мышцы<sup>4</sup> и мышцы-корrugаторы<sup>5</sup> приводят глаза и брови в немного насупленный, хмурый вид. Он стоит, распрямив руки в локтях, выпятив грудь, и кисти его начинают сжиматься в кулаки – так он производит впечатление и имеет внешний вид человека, готового к действию, готового к атаке. Ему не нужно ни обдумывать и «решать», что поступок безнравственен, ни формулировать словами, что это безнравственно: еще до всяких слов и принятия решения он уже пережил и воплотил соматически безнравственность того, что он только что увидел или услышал. Он чувствует эту безнравственность каждой косточкой – или, если говорить более содержательно, своей мускулатурой и центральной нервной системой.

Тогда что же *такое* нравственность или безнравственность? Наиболее очевидно, что это проявленный соматический ответ на что-то, находящееся в пределах окружающей индивида среды. Сказать, что поведение другого человека «безнравственно», скорее значит сказать, что *вы* переживаете специфический комплекс нейромускулярных явлений в ответ на его поведение. *Что* же, тогда, и *где* есть сама по себе «безнравственность»? Несомненно, «где» означает в теле и «что» означает автономную нейромускулярную активность тела.

Сама по себе безнравственность не заключается, следовательно, «в» поступке другого человека, учитывая, что какие-то люди могут очень по-разному реагировать на очень схожие поступки. В конце концов именно соматическое чувство имел в виду Ницше, когда выдвинул предложение, что человеческие моральные суждения о мире или о чем бы то ни было в этом мире ничего не говорят нам о мире вообще, но *действительно* многое говорят о людях, выносящих моральный приговор.

---

<sup>4</sup> musculus orbicularis oculi (лат.) – круговая мышца глаза

<sup>5</sup> musculus corrugator supercilii (лат.) – мышца, сморщивающая бровь

Ницше был также совершенно прав, заметив, что ничто в мире не является ни хорошим, ни плохим – сама по себе наша среда обитания младенчески невинна, она не содержит ничего такого, что соответствовало бы человеческим понятиям морального и аморального. В этом отношении кажется провидением лирика Оскара Хаммерстайна, возвещающая о том, что «вас принялись учить ненавидеть»: безусловно, когда целая рота солдат обнаруживает тот факт, что все они ненавидят одни и те же вещи, становится ясно, что единообразие культурной подготовки сыграло свою роль.

Но как получается, что люди обладают этими фундаментальными соматическими реакциями на события, происходящие в окружающей их среде, если в то же время мы знаем насколько различаются эти реакции от индивида к индивиду и от культуры к культуре?

Хотя м-р Хаммерстайн был настолько любезен, что предложил нам ключ к разгадке [этой тайны], очевидно мы все же не можем заключить, что все такие вот моральные чувствования привиты нам кем-то еще, потому что тогда мы соскользнули бы в повторение бесконечно возвращающегося вопроса: «Кто научил учителя, что это безнравственно?» и «Кто перед тем научил учителя учителя?» и т.д. Бесконечный возврат к исходному пункту всегда указывает на то, что мы утратили точку соприкосновения с реальностью и в данном случае это означает, что мы не заботимся о том, чтобы твердо придерживаться нашего знания того первоначального, первобытного способа, которым все мы переживаем соматические реакции на события в окружающей нас среде. Чем мы пренебрегаем – и о чем тысячелетиями постоянно забывали, обходя их вниманием, – это наши тела.

В общем-то существует только два способа, с помощью которых наши соматические «Я» могут получить информацию о среде. Один из способов связан с запечатлением этой информации у нас внутри («заучиванием» нами) *после* нашего рождения, в ходе индивидуального развития нашей жизни; это *онтогенетическая* информация. Другой способ имеет отношение к информации, *уже* запечатленной в нас к моменту рождения; это *филогенетическая* информация.

Иными словами, информация, касающаяся адекватного способа реагирования на происходящее в окружающей нас среде, усваивается частично в процессе нашего прижизненного телесного существования, а частично в течение неопределенно долгого периода телесного существования, который генетически предшествовал нашему индивидуальному рождению и подводил нас к нему. Значение этой последней, часто игнорируемой поведенческой информации, полученной генетически, в значительной мере составляет главный предмет данной книги и будет более досконально рассматриваться в Разделе 2.

Тем, кто еще не научился мыслить соматически и филогенетически, достаточно просто представить на минуту, что лягушка, например, не нуждается в обучении и ей не нужно даже дожидаться второго случая, чтобы определить, что чей-то полет, пересекающий зону ее визуального поиска, «полезен» для нее и желателен; напротив, ее зрительно-моторные реакции заставляют ее автоматически прыгнуть вперед и выбросить язык с точностью, которой позавидовал бы и мастер фехтования. Матери-гусыне не нужно учить маленького дикого гусенка – так же как ему нет необходимости пережить опыт в первый раз, чтобы узнать, – что медленно, мягко скользящий на фоне неба силуэт определенной величины, плавно взмахивающий крыльями, это что-то «плохое», что автоматически вызывает опасение и стремление его избежать. Новорожденный гусенок «знаком» с белохвостым орлом филогенетически.

Точно так же этому гусенку, теперь подростку, не нужно объяснять, когда он плывет рядом с другим диким гусем и тот принимает к воде, распластавшись по поверхности, что эта стелющаяся особь того же вида – это что-то «хорошее» и в высшей степени сексуальное. Даже если он выращивался в таких условиях, что никогда прежде не видел этого стелющегося поведения, гусь-самец тем не менее испытает сексуальное возбуждение от того, что он видит, и пустится в характерное топчущее, копуляторное движение.

Новорожденное человеческое дитя не обучается специально для того, чтобы выяснить, что из всех осязаемых и обоняемых им объектов «самый лучший» – тот круглый, мягкий предмет, который он уже знает, как получить в рот и сосать, одновременно координируя свое глотание и дыхание так, чтобы не поперхнуться.

Это примеры приобретенной филогенетическим путем поведенческой информации; множество других таких примеров еще будет упоминаться. Пока нам важно понимать, что то, что мы называем «моральными» реакциями (т.е. чувственные соматические реакции на определенные события в нашей жизни) приобретено филогенетически в той же мере, что и онтогенетически: т.е. некоторые из этих реакций мы приносим с собой к моменту рождения, а остальные приобретаем или вырабатываем прижизненно. Как я поясню далее, в фундаментальном смысле это позднейшее наложение онтогенетических реакций на изначальные филогенетические, что составляет суть открытия Фрейда.

Нравственность, следовательно, – это не только что-то такое в человеке, что можно приравнять к определенным соматическим реакциям, это моральный опыт, полученный двумя способами: некий моральный багаж мы приносим с собой, другую его часть мы приобретаем в ходе нашего индивидуального развития. Но этот приобретенный позднее багаж (как показано и Фрейдом, и Пиаже) не есть лишь следствие вербального научения – которое происходит значительно позже, – он в первую очередь приобретен путем *невербального* научения и адаптации ко всему множеству людей и предметов, с которыми мы живем и взаимодействуем, начиная с рождения. То есть, одно дело сказать ребенку: «Нет!» – и выбранить его, но гораздо более драматическим и впечатляющим событием для человеческого младенца будет, если вы вырвете у него желанный предмет, да еще шлепнете его, да еще если при этом он увидит лицо горячо любимой матери, искаженное гневом. Даже на этом онтогенетическом уровне обучение нравственным навыкам, получаемое ребенком, не имеет ничего общего с вербальными предписаниями, когда-то представлявшимися нам столь существенными для его нравственности и нравственного воспитания.

Ясно одно, что когда мы говорим о нравственности и безнравственности, мы имеем дело с человеческой ситуацией, значительно более интересной и сложной, чем думали до сих пор. Прежде мы считали, что нравственность связана с заповедями, законами и авторитетными суждениями (целиком вербальными и положительно социальными феноменами), однако оказывается нравственность сосредоточена в довольно примитивных телесных пе-

реживаниях и активностях, модели которых были у нас с рождения или приобретались позднее, сначала через невербальное взаимодействие с миром, а затем через словесный контакт.

В итоге, по-видимому, все, что философам и теологам довелось сказать о нравственности, за некоторым исключением, было лишь отчасти связано с тем, что человеческие существа *переживают* как нравственность. Теологи, в блаженной забывчивости о собственных и чьих бы то ни было телах вообще, веками описывали и проповедовали «законы» и «заповеди», пришедшие «не отсюда» и каким-то образом раскрытые или данные нам кем-то, кто оказывается именно вне тела. Философы, в свою очередь, с таким же удовольствием анализировали и оспаривали этические принципы и догматы – являются ли они «истинными», «логически последовательными» или «операционально определяемыми». Несомненно, если при изучении нравственности мы следуем нашим традиционным теологам и философам, мы обнаружим совсем рядом пустоту, поскольку *словесные* «законы» и «принципы», которыми они озабочены, имеют очень слабое *ex post facto*<sup>6</sup> отношение к действительному феномену человеческой морали. Подобные дискуссии не имеют под собой реальной основы, поскольку их участники приучены жить в идеализированной рассогласованности с собственным и чьим бы то ни было вообще непосредственным соматическим опытом. Можно не без пользы внимать евнуху, когда он воспекает восторги секса. Однако в том и состоит разрушительное соматическое несоответствие, что нашей дряхлеющей культурной традицией поддерживались в прошлом и до сих пор энергично поддерживаются и финансируются именно такие бессмысленные рассуждения.

Уайтхед называл это «неуместной конкретностью». Ницше говорил о «подмене причины следствием». Оба они заявляли об одной и той же вопиющей ошибке, допускаемой западными интеллектуалами – тенденции трактовать конечный, наиболее абстрактный словесный остаток данной реальности так, словно этот абстрактный словесный остаток *и был* данной фактической реальностью, словно он настолько полно выражал эту данную нам

---

<sup>6</sup> 3 *ex post facto* (лат.) – постфактум

реальность, что стал *реальнее* самой данной конкретной реальностью, из которой был извлечен. Показательными в этом отношении могли бы послужить приблизительно следующие примеры. Вам скажут: «Вечный Святой Дух создал нравственные законы и дал их смертному мирскому человеку, с которым у него нет прямого контакта», – вместо того, чтобы сказать: «Смертный мирской человек создал нравственные законы и приписал их вечному Святому Духу, с которым у него нет прямого контакта». Или: «Принципы человеческого поведения этически правильны, если они соответствуют принципам логической самоочевидности или имеют эмпирическое подтверждение», – вместо: «Принципы логической самоочевидности или эмпирической верификации этически правильны, если они соответствуют принципам человеческого поведения». Внутри альтернативы, задаваемой этими инвертированными положениями, мы находим совершенно адекватную иллюстрацию того радикального различия, которое существует между культурными традиционалистами и культурными мутантами.

Я далек от мысли, что традиционная теология и философия «неверны», но утверждаю, что в технологическом обществе неуклонно растет число людей, для которых они скучны и неприемлемы; для этих людей то, что приходится говорить теологам и философам, просто незначимо и неприменимо к их жизни и их проблемам, касающимся приспособления повседневного поведения к тому миру, который они воспринимают.

Несмотря на трогательные попытки теологов оживить свои доктрины, сделавшись нехристианствующими христианами и атеистическими теистами, традиционное христианство в технологических сообществах растворяется в сгущающемся сумраке равнодушия. Повсюду на Западе христианство и иудаизм в итоге кончают тем, что становятся на стражу интересов престарелых, преимущественно женщин.

Особенно жаль, что точка зрения культурных мутантов не пользуется широкой известностью в философии; однако философия, даже решительно не связанная с религиозной традицией, сама глубоко увязла в обладающей более тонким и заразительным воздействием культурной традиции Запада. Даже молодые представители экзистенциальной философии и феноменологии стре-

нительно теряют из виду слабый отблеск света, пленивший их первоначально, и теперь произносят торжественные слова о новой традиции, тогда как сами упорно пытаются соединить ее со старой. Философский истеблишмент, в особенности в англо-американском мире, довольно эффективно предупреждает и пресекает такое отступничество: мутантов общество просто подвергает остракизму, выражающемуся в том, что сторонники истеблишмента принимают решение не рассматривать мутанта как философа. Несложный вербальный маневр переопределения и отнесения к иному разряду.

К несчастью философия тем самым систематически исключает себя из круга явлений, сколько-нибудь соответствующих условиям современной среды и развивающихся вместе с ней. Это несоответствие ярко выразилось в том, что всем наплевать на официальную философию, кроме официально придерживающихся ее философов. Национальный съезд философов служит обычно причиной глубокой апатии среди популяции, особенно среди молодежи. Можно было бы ожидать, что ежегодный созыв наиболее высокоученых «мыслителей» нации станет поводом для целого взрыва открытий и источником громадного интереса какой-то части американской общественности. Вместо этого в прессе поместят отчет о том, что философы встретились, поговорили и разъехались: в высшей степени точный репортаж.

Такая ситуация мало на что оставляет надежду. Похоже, за следующие несколько поколений тем, кто стремится добиться соответствия философии ее назначению, станет ясно, что они должны проявить себя как «антифилософы», чтобы завоевать себе аудиторию. Тем временем те сторонники существующего порядка, которые испытывают трепет перед оксфордскими аналитиками и их болтовней за чаем и поклоняются псевдомужеству позитивизма, убедятся, подобно пасторам и священникам, что их речи сгущают мрак – мрак, где философы объясняются только с философами, а теологи говорят только с Богом.

Значит, если мы придем наконец к какому-то пониманию нравственности и безнравственности, правильного и неправильного поведения в период быстрой культурной мутации, то только откликнувшись на новые источники информации, новые паттерны

мышления и, самое главное, на новые критерии оценки нашего мира, наших собратьев и опыта, который мы накапливаем во взаимодействии с ними. Мы придем к осознанию того, что перво-мутанты, повсеместно появляющиеся в технологическом мире, не являются ни «дурновоспитанными», ни (в любом относящемся сюда смысле) «безнравственными»: скорее, они держатся в поисковой, но позитивной манере, реагируя на невообразимо производительное и органически взаимосвязанное общество, которое мы построили. В самом строгом смысле они, и только они, «достойны доверия» и степень успеха их эксперимента по *ответной* адаптации к этой технологической среде можно описать следующим уравнением: соотношением степени их адаптации к нашей технологической среде в настоящий момент и уровня их раннего культурного образования в семье и той общественной среде, которая была для них культурно традиционной.

Ясно, что дети этих перво-мутантов будут подвергаться меньшему влиянию факторов, сдерживающих их реагирование и адаптацию к этому технологическому миру. Представляется очевидным, что каждое следующее поколение будет более открыто и раскрепощенно откликаться на эту новую среду и поэтому будет все более последовательно в своем поведении и много прозрачнее в своих мотивациях и намерениях по сравнению с нынешними перво-мутантами. Эти последние высвободились из рамок традиционной культуры, чтобы прийти к неразберихе и путанице антикультуры, которая пока еще не может существовать, поскольку создадут и оформят эту культуру дети и внуки сегодняшних перво-мутантов.

Всякое поведение по функции своей практично. Все моральные каноны по предназначению практичны. «Правильные» принципы поведения призваны помочь индивиду адаптировать свое соматическое существование к среде, какой она ему представляется. Чем более эффективна адаптация, тем более здоровой и функциональной будет его жизнь.

Традиционные правила поведения также были высоко практичны и эффективны для того типа земной среды, в которой люди прожили тысячелетия. Но агрессивные и очень удобные добродетели многолетней поведенческой традиции были эффективны как средство подготовки человеческих существ к энергичной транс-



формации земных условий их жизни и к невероятно успешному созданию технологической среды – среды, являющейся никогда прежде не виданным царством человека на этой земле, среды, где нет былых тревог и ужасов существования, поскольку движение к технологии как раз приводит к изгнанию этих нестареющих страхов и тревог, среды – наконец, – которая уже не господствует над человеком, но которой человек владеет сам.

Человеческая раса это совершенно необычная раса: она создала новую земную среду. И ныне начался процесс адаптации к этой новой среде, о которой столько мечтали и за которую так долго боролись. Мы наконец свободны от старой земли и будем теперь в грядущих поколениях учиться извлекать выгоду из того, что мы создали. Впервые в человеческой истории мы имеем возможность понять, что в действительности означает жить открытой и полной жизнью человеческих существ.

Мутация идет среди нас прямо сейчас. Эволюционно-революционный период человеческой истории разворачивается прямо сейчас. И это не апокалипсис, не конец человеческого рода. Это сумерки и закат первой, величественной и неизбежной, культуры человечества – и зарождение и начало второй.

## 4. Занятие умов и тел

Мартин Хайдеггер считал основным вопросом, поставленным двадцатым столетием, вопрос бытия. По его мнению, мы забывчивы по отношению к этому, самому непосредственному и сокровенному аспекту нашей действительности. Фридрих Ницше понимал, что главной задачей, выдвигаемой двадцатым столетием, было приобретение нового сознания; он считал, что люди до сих пор не были вполне сознательными, полностью осознающими, полностью воспринимающими. И тот и другой задавались одним и тем же вопросом. Я хочу также поставить на рассмотрение этот вопрос, отойдя немного в сторону от психологических взглядов Ницше и в какой-то степени избежав метафизического подхода Хайдеггера. Я хочу предложить на рассмотрение проблему тела.

Ницше и Хайдеггер составляют единую пару. Им обоим было очевидно, что люди забыли – или не приобрели еще знание о том, кем они были и чем был их мир. И тот и другой сознавали также, что достижение ясного, ничем не ограничиваемого восприятия себя и мира ждало человечество в ближайшем будущем, что он было неизбежным или, как любил говорить Ницше, «роковым» исходом событий, и такой исход должен был перевернуть историю человека. Оба понимали, что люди еще не пробудились, и именно такое развитие событий будет равно пробуждению. Они видели, что человечество все еще не миновало период детства, и подобно детям люди даже не осознают, что они были детьми, пока еще не взошли семена роста и не открыли им путь, ведущий к полному осознанию, которое приносит зрелость.

Более того, и Ницше, и Хайдеггер понимали, что такое новое осознание бытия не является интеллектуальным приобретением: этому невозможно было ни научить, ни научиться; это просто случилось бы, это было бы превращением. Также как просветленное состояние сознания, которого искали йоги, следующие индуистским и буддийским традициям, оно является не вновь выстроенным рассудочным пониманием, но новым видением, новым отношением, новым *гештальтом*. Таким неизбежным событием был момент, когда люди в конце концов занимали по отношению к себе

и миру открытую, прозрачную, честную позицию, свободную от гнева и страха. Оба сходились во мнении, что в период детства человечества, чрезвычайно длительный, люди не обладали способностью быть открытыми, прозрачными, честными или бесстрашными по отношению к себе и своему миру, но что сейчас в действии определенно были силы, которые вскоре позволят людям приобрести такой принципиально новый тип сознания.

Ничто, кажется, не выглядит более убедительным, чем общая принадлежность этих людей к числу соматических мыслителей, уловивших эволюционное направление в истории человечества, которое, достигнув своей высшей точки, станет эволюционно-революционным событием в человеческой истории. Хайдеггер указывает на это событие как на «переход за черту». Ницше упоминает его как приход «Сверхчеловека». Этим событием является новая организация сознания нашей телесной сущности и окружающего нас мира и живем мы сейчас во времена этой эпохальной мутации в человеческом осознании.

Неизбежное обнаружение нового самосознания неминуемым образом приведет к утрате основной характеристики прежнего осознания: древнего и живучего представления о человеке как совокупности ума и тела, духа и плоти. Люди, озабоченные тем, чтобы выделить себя среди других животных, готовы охотно признать, что они, как все животные телесны и состоят из плоти, но подлинной и исключительной особенностью человека является то, что он разумен и духовен. Таким образом, ум и дух оказались отличительными чертами человека из тех предположительно уникальных характеристик, которым придавали значение традиционные философские и богословские теории о человеке, иными словами, человек – это тело и УМ, человек – это плоть и ДУХ.

Такое фрагментарное, шизоидное изображение человека сколь абсурдно, столь и пагубно; однако часто трудно солгать, если мы начинаем говорить, используя слова и выражения, составляющие неотъемлемую часть нашей традиционной культуры. Конечно, легче и точнее всего человеку удалось бы описать себя как человека, ткнув пальцем в грудь и громко заявив: «Я человек!» Ницше, в определенном смысле, сделал следующее: его стратегия заключалась в том, чтобы обратить наше внимание на внутреннюю ре-

альность нашего человеческого существа, повторяя вновь и вновь: «Человек», «Здоровый человек», «Прекрасный человек», «Сверхчеловек», – до тех пор, пока мы бы не достигли наивысшей точки полного осознания реальности своего существования как целостного человека. Другой примененный им стратегический маневр – громить молотом риторики такие понятия, как дух, воля, ум, эго и душа, вплоть до отчуждения всякого их смысла и всякой реальности, стоящей за ними. Стратегия Хайдеггера состояла в изобретении нового слова для именованя человека: *Dasein*, создание, чье «бытие здесь». Цель этого остроумного словотворчества – прикосновение к соматической реальности человека: человек не просто существующее живое создание, а он существует *здесь*, он помещается, находится и воплощен *здесь*, где он пребывает. Я не есть свободный дух: я воплощенный дух, который всегда находится в некоем месте, и место это – не важно, где я могу быть – это всегда *здесь*.

Для всех экзистенциальных мыслителей и феноменологов нелегкой задачей, составлявшей особую деятельность, было именно избежание или преодоление разграничения ума и тела, которое, они знали, было ложным. Психологи мало чем могли помочь, так как на ранних этапах развития психологии они быстро избавились от души, отказав ей в существовании; позже, полагая что им проще будет оставаться психологами, имея дело только с сомой, они избежали полного разногласия, игнорируя и то, и другое и превратившись в бихевиористов, т.е., так сказать, инженеров.

В этой книге по ходу повествования я буду использовать слово «сома», поскольку в нем есть новизна и поскольку легче узнать новое вино, когда оно разлито в новые мехи. «Сома» не означает «тело», она означает «меня, телесное существо». «Тело» имеет для меня вторичное, дополнительное значение куска мяса, – часть плоти, брошенная на колоду мясника или на рабочий стол физиолога, безжизненная, подлежащая обработке и использованию. Сома живет, она расширяется и сжимается, приспособливается и ассимилируется, потребляет энергию и отдает ее. Сома пульсирует, струится, сжимается и расслабляется, течет и меняется под влиянием страха и гнева, голода и чувственности. Человеческие сомы уникальны в том, как они рыгают, пукают, совокупляются,

мигают, дрожат, волнуются, терпят. Сомы уникальны в том, как они томятся, надеяться, страдают, напрягаются, бледнеют, съеживаются, сомневаются, отчаиваются. Человеческие сомы расположены к конвульсиям: они сотрясаются от смеха, плача, сотрясаются в оргазмах. Сомы – это нечто вроде живых органических существ, которыми вы являетесь в *данный* момент в *том* месте, где вы есть. Сомы – это все, чем вы являетесь, она пульсирует вместе с вашей хрупкой, меняющейся, растущей и умирающей оболочкой, которую отсекли от пуповины, соединяющей вас до самого момента отсекновения – с миллионами лет органической генетической истории внутри нашего космоса. Пуповина отсечена и теперь вы освобождены от родственных уз, вы, уникальное, окруженное оболочкой вместилище живых костей и мускулов, нервной ткани и крови – объединенные в структуру, дышащие потроха, которые каким-то образом являются вами. Сомы это вы и я, насильственно отлученные от согревающих, защищающих и преданно любимых тел наших матерей, чувствующие себя немного одинокими и слегка сконфуженные, желающие знать обо всем на свете; это шестьдесят или семьдесят лет физиологически автономной пульсации, которая была дана нам без нашего согласия и без нашего ведома будет отобрана. Сомы – это последовательно глупые и непредвиденно разумные автоматы, носящие ваше или мое имя. Некоторые сомы – это мужчины, которые чувствуют, что полнота человеческой природы предполагает существование женщины, но не имея возможности быть женщиной, принуждены, сливаясь, погружаться и перетекать в прекраснейшее из всех земных творений: любящую обволакивающую женскую сому. Некоторые сомы – женщины, которые чувствуют, что полнота человеческой природы подразумевает существование мужчины, но не будучи в состоянии быть мужчиной, вынуждены раскрываться, сливаясь и позволяя перетечь внутрь себя прекраснейшему из земных творений: любящей, извергающейся мужской соме. Сомы – это мужчины и женщины, которые знают, что они подходят друг другу, потому что подогнанные друг к другу, они составляют целое и испытывают ощущение целостности. Сомы представляют собой роскошное и благожелательное прибежище вроде яйца или чрева, которым они являются сейчас, когда пишется эта книга, и когда читается эта

книга. Сомы – это вы и я, всегда требующие жизни и требующие ее в избытке. Сомы – это вы и я, братья, объединяемые ограждающей мембраной, объединяемые смертностью, общей средой, общей пунтицей и общей возможностью именно сейчас узнать много больше, чем мы когда-либо знали о себе. Сомы – это исключительно то, что присутствует здесь и сейчас; сомам прошлого никогда не написать эту книгу, никогда не прочитать эту книгу и не размышлять над этими вещами; не существуют как таковые и сомы будущего – они пока еще внутри яйца, им писать и читать лучшие книги, им мыслить другими, более отточенными понятиями. Сомы – это вы и я, в этот самый момент, в этом самом месте, существа, история эволюции которых привела нас революционной фазе в осознании того, что открывшийся нам великолепный новый мир не удален «вовне», но есть «здесь и теперь» нашего непосредственного органического существования. Прекрасный новый мир, который будет изучен в двадцать первом столетии, это необъятный лабиринт сомы, живого телесного опыта человеческих индивидуумов. И в завершающей трети двадцатого столетия мы назначены первооткрывателями и составителями предварительной карты этого соматического континента.

Грядущие поколения людей перестанут считать человеческих индивидуумов рассудочными или духовными равно в той степени, в которой они начнут обнаруживать себя в непосредственности соматического. Я не считаю, что мы не *должны* рассматривать непосредственность самости как ментальное или духовное, но скорее, что нам не *следует* этого делать: это не что иное, как вопрос мутационных изменений. В течение тысячелетий человеческим индивидуумам было практически выгодно подчеркивать и высоко оценивать те аспекты поведения, которые они называли интеллектуальными или духовными, однако недавно было обнаружено, что так называемые интеллектуальные и духовные аспекты нашего телесного существа – это лишь один аспект наших человеческих возможностей, причем тот, который заставлял людей находиться в специфической неуравновешенной позе относительно окружающего мира.

Нужно пояснить, что я не отрицаю существования специфической реальности под названием «ум» или «дух»; я предлагаю

считать реальность, к которой это относится, не «понятием» или «категорией», а человеческой *функцией*, господство которой в предтехнологическую эпоху ныне сменяется более равномерным проявлением человеческих функций во взаимодействии с современной технологической средой. Значительная доля моих предположений намечена уже у Ницше, когда он утверждает, что поборники «ума» и особенно «духа», по сути, демонстрируют враждебность по отношению к природной среде; как их общее представление о человеке, так и понимание его поведения, по словам Ницше, «противоестественны»: это очевидное предпочтение эфемерного общества богов и духов определенности природного и человеческого окружения.

Я изложу с большей точностью то, что Ницше в свое время не смог отчетливо сформулировать, хотя вероятно мои рассуждения также не охватят всех смыслов, которые раскроются в дальнейшем, когда в третьем разделе мы вместе предпримем попытку выделить еще ряд представлений соматически ориентированных ученых и философов.

Выражаясь языком, привычным для этологов, я должен отметить, что «ум» и «интеллект», или «дух» и «сознание» действительно, как утверждал Ницше, антипатичны по отношению к этому окружающему нас миру, в том смысле, что ими приводятся в действие наступательные, оборонительные и защитные функции, противостоящие действительности, которая выглядит устрашающей. Различные функции, представленные, так сказать, человеческой «ментальностью» были практической необходимостью для выживания человечества перед лицом опасностей и неустойчивости предтехнологической среды. По этой причине, в той же степени, в которой люди, эффективно используя свои интеллектуальные функции, рассеяли неопределенность и опасности неукротимой, враждебной среды и с успехом создали технологическую среду, эта самая необходимость в агрессивных функциях интеллекта и сверхфиксации на них ослабнет.

Следовательно, признаком эволюционного процесса является не исчезновение интеллектуальных функций, сделавших возможным создание технологической среды, а, скорее, значительное снижение по сравнению с прежней их пригодности для приспособле-

ния к окружению. Ментальные функции человека – т.е. арифметические, логические и рациональные схемы – получили развитие собственно для обслуживания его агрессивной активности, направленной на завоевание, а также контролирование и использование непокорной земной среды, страшившей нас своими явными опасностями и неопределенностью. Ментальные функции служили, таким образом, практическими приспособлениями человека к миру, который, в противном случае, представлял угрозу нашему выживанию.

Чего, по-видимому, многие люди, по меньшей мере, не понимают, это то, что умаляя роль традиционных и справедливо высоко ставящихся функций рациональности и значение научной технологии, соматические ученые и философы не отрицают тем самым важности и неизмеримой практической ценности этих функций, и не пророчат конец этим человеческим достижениям; скорее, каждый на свой лад, они предсказывают, что эти интеллектуальные функции становятся (средством чему служат их собственные убедительные достижения) менее значимыми в средовом отношении и что другие соматические функции приобретают большую средовую значимость. Скрывающееся за туманной и часто сбивающей с толку терминологией вроде выражений «целостное существо человека», «истинное “Я” человека», «подлинный», «цельный», «осуществившийся», «гармоничный» человек, употребляемых соматическими философами, пророчество в том и состоит, что одни – традиционные – функции человека ослабнут, тогда как другие – мутационные – функции наконец вступят в игру.

Случилось так, что нам потребовался очень долгий период, чтобы наконец понять: как бы там ни было, существует путь к примирению «двух культур» гуманистов и ученых, ведущих эту изнурительную затяжную войну между собой. Теперешняя эволюционно-революционная эпоха разрешит их разногласия, объявив неожиданный приговор: правы *обе*; обеим группировкам лишь их поразительная ограниченность настоящим и упорная слепота по отношению к эволюционным тенденциям мешают осмыслить, что будущее изобретательно в поиске путей, обеспечивающих взаимоприемлемый компромисс *обеим* враждующим сторонам – в особенности противникам, в чьих лагерях раздаются возгласы о том,



что «вселенная недостаточно велика для нас двоих». Она не только достаточно велика, чтобы вместить оба враждующих лагеря, но эволюция служит нам вечно гарантией ее еще значительно более широких пределов.

Как сверх-акцентированный «ум», приспособляясь, придет в надлежащее равновесие, приблизительно тем же путем слишком акцентированное «самосознание» сожмется до более скромных размеров. Многие мыслители с готовностью отказались бы рассматривать человеческую природу как рассудочное, духовное или рациональное, но в конечном итоге они окажутся на позиции, провозглашая которую, они удерживают свой последний рубеж: «Человек существо исключительно само-сознающее». Здесь, увы, снова имеют место все те же надменно-боязливые попытки отличить себя от этих ужасных тварей, называемых животными, исключая себя таким образом из животного царства. Что касается меня, я ничуть не возражаю, когда меня причисляют к моим дядюшкам и кузенам из царства животных. С одной стороны, стоит вам узнать животное и вы можете определить, каково ваше место рядом с ним, чего я не буду утверждать относительно большинства моих друзей и коллег – особенно это касается университетских чиновников. С другой стороны, социальное поведение среди самих животных гораздо более цивилизовано, чем в каких-либо известных мне человеческих сообществах – даже у мексиканцев, у которых включение испанской культуры в стоическое приятие мира, свойственное индейской культуре, породило один из самых уравновешенных на земле тип простого населения, как бы быстро это равновесие ни улетучивалось по мере того, как эти люди пробуждаются под ударами технологии.

Проблема человеческого превосходства над животными состоит в том, что люди устанавливают связь между собой и с окружающим миром преимущественно посредством слов. Человек не есть «разумное» животное – Аристотелю недоставало данных этологии. Фрейд и Кассирер гораздо ближе к истине, когда описывают человека как животное, по существу, слышащее и говорящее. Фрейдом эта идея овладела с тех пор, как он впервые посетил сеансы гипноза, демонстрировавшиеся стариком Шарко. Если говорить в нескольких словах, Шарко удавалось вызывать соматический па-

ралич в руке пациента; еще несколько слов: почтенный француз мог заставить паралич исчезнуть – состояние «тела» магически трансформировалось под необъяснимым воздействием фонем, проходящих через «ум». Фрейд достаточно было этого небольшого толчка, чтобы отказаться от позиций, на которых базировалась физиология Гельмгольца, в пользу нового видения соматического существа человека.

Основой соматических представлений Фрейда (разумеется, тех, что сложились приблизительно к 1917 году) стало признание им важной роли слуховых мнестических следов, не только с точки зрения общего понимания человеческой памяти, но также для осмысления путей адаптации «сознанием» потребностей сомы к ограничениям окружающей среды. Эти замечания призваны навести на мысль о двух вещах: первое, что переживаемое всеми людьми как *самосознание* – есть действительно реальный опыт, во всяком случае, большее, нежели что-то мистическое и неуловимое – оно является восприятием, сделавшимся возможным благодаря сдвоенному эффекту, производимому словами (а также всеми «образами» или «символами») при восприятии внешней по отношению к нам среды или непосредственной соматической данности; второе, что самосознание имеет гораздо меньшее значение, чем мы ему придаем – фактически, без него мы функционируем чаще, а также более эффективно и счастливо. Конечно, я сознаю, что оба эти предположения до обидного неясны. Что касается первого из них, я приношу свои извинения за то, что не намерен развивать его далее; это запутанный предмет, который нужно разбирать отдельно в контексте новой психологии. Но о втором предположении можно рассказать более подробно.

Если самосознание кажется вам вашим человеческим преимуществом, скажите мне, как часто вы замечали его действие в то время, как читали эти последние несколько страниц. Ага, сейчас вы внезапно осознали себя, благодаря тому факту, что предыдущие прочитанные вами *слова* заставили вас отрефлексировать и воспроизвести функцию чтения. Вдруг вы обнаруживаете себя *не* переживающим действительный, текущий процесс чтения; он приостановлен и вместо этого вы втянуты в усиленное *припоминание* этого текущего опыта чтения. Это две очевидно различные функ-

ции и весь вопрос заключается в том, что если вы когда-нибудь преодолеете эту книгу и составите о ней правильное представление, это произойдет благодаря первому процессу – процессу, протекающему в данный момент, *вне* самоосознания – а не той игре воспроизведения, в которой все останавливается вашим усилием «вспомнить» (т.е. сформулировать в словах, либо каких-то образах) прерванный автономный соматический процесс.

Именно эта, протекающая *вне* самоосознания, автономная функция ответственна за то, как мы справляемся с нашей жизнью – с чтением книг и просмотром кинофильмов, с передвижением и разговорами. Понаблюдайте за кем-нибудь во время разговора. «Обдумывает» ли он то, что собирается сказать, и лишь затем говорит? Есть ли пауза в тот момент этого самоосознания между «припоминаемым словом» и словом, которое произносится сейчас?

А вы, вы сами: занятый разговором, ваш друг слышал, как ваш голос повышается и падает, приобретает восклицательную интонацию или становится протяжным; он видел, как вы морщите лоб, прищуриваете глаза, уголки ваших губ приподнимаются в улыбке и никнут в гримасе; он видел, как вы пожимаете плечами, как двигаются и показывают что-то ваши руки, а корпус мягко покачивается на своей спинной опоре. Вы совершали все эти действия: *сознавали* ли вы их? *Намеревались* ли вы их совершить? Говорили ли себе умышленно: «Для того, чтобы добиться наилучшего результата, я собираюсь произнести *эти* слова и использовать *такие* жесты», – после чего принимались за выполнение? Конечно, нет: как вы могли убедиться, попробовав, ничего бы не получилось, ваши действия превратились бы в разрозненные, механически выполняемые сегменты, напоминающие движения плохо управляемой марионетки. И напротив, вы легко говорили и жестикулировали, бессознательно выбирая нужные слова и жесты.

То есть, это *сома* говорила и жестикулировала, и эта *сома* не что иное, как *вы* – говорящий и жестикулирующий. А тот запинаящийся, неумелый, механически действующий самоотражатель, неожиданно распавшийся в параличе, он не является *вами*; это одна из ваших второстепенных функций, вас самих как *сомы*. Не стоит беспокоиться о том, что этот традиционный и всецело фальшивый образ «вас» (как вербального носителя) не совпадает

с вами – «сознающим» все вокруг, каким вы выступаете в качестве сомы. Такую обеспокоенность порождает наша старая культурная традиция с ее неясными опасениями по поводу природы сомы и природы мира. Понятно и на опыте проверено, что вы – не-осознающий-себя, сома, это и есть тот, кто говорил: и в равной степени очевидно, что когда ваш друг слушал ваши слова и воспринимал жесты, он не проговаривал при этом про себя: «Ага, он сказал *это* слово, а сейчас он говорит *это* слово, он приподнимает правый локоть и – точно – ладони у него развернуты вперед, плечи уходят вверх: это типичное пожатие плечами». Ваш друг, живая сома перед вами, не придавал значения этим нюансам и не раздумывал над ними, поскольку если бы он занялся этим, он не услышал бы ваших слов и не понял бы смысла ваших движений.

Нужно только поразмыслить над этим вопросом, чтобы осознать, что лишь в редких случаях задумываешься о чем бы то ни было, осознавая себя. Кроме того, не требуется многих доводов, чтобы понять, что вы не в состоянии «думать», не забывая о работе самосознания по обдумыванию проблемы и без того, чтобы просто *позволить* себе думать. Фальшивое «ВЫ», переживающее опыт самоосознания, не поможет вам думать; оно, напротив, будет только препятствовать этому. Думает не «ум»: думаете *вы*. И единственный способ думания состоит *не* в том, чтобы сдерживать этот соматический процесс решения проблемы, заставляя парализованное повторным самоосознанием «Я» сжаться. Думание, как и восприятие, струится сквозь сому с самозабвенной легкостью скольжения среди транспорта, но оно же соматически *ограничивает*, прерывает этот поток и обращает функциональную человеческую личность в незначительную часть ее соматического существа.

Этих нескольких замечаний, несмотря на их поверхностность, должно быть достаточно, чтобы сделалось поразительно очевидным, так же как это было ясно Фрейдю, который обратил на это внимание, что большинство наших действий управляются «бессознательными» функциями. Нет ничего менее таинственного, чем это «бессознательное», и более очевидного, чем тот факт, что бессознательные функции нашей сомы определяют устойчивые способы нашего мышления, видения и восприятия, способы го-

ворить, двигаться и даже характер почесывания, когда мы испытываем зуд.

В зависимости от вашей собственной соматической предрасположенности, вы смогли или не смогли убедиться, читая начало второй главы, что вы как сома мгновенно воспринимаете больше, чем ваш «сознательный рассудок», а также в том, насколько легко вы вовлекаетесь в молниеносное реагирование, когда слово «fuck» появляется на печатной странице. Возможно это случилось снова. Любопытно, что прежде чем «вы» действительно прочтете со страницы какие-либо слова, вы выборочно схватываете одно из слов. Однако это не самое удивительное с эволюционных позиций этологии, а также с психоаналитической точки зрения: ваша сома приводится в alertное состояние этим ужасно важным словом, она увидела, выбрала и прочитала его прежде, чем неуклюжее фальшивое «Я» – отражение вашего получившего образование «ума» – смогло его заметить.

Теперь, когда мы обнаружили, что наша сома – предположительно, без участия формального образования – демонстрирует лучшие результаты в чтении и визуальном различении, чем «ум» и «само-сознание», мы определенно будем вынуждены заключить, что эти более поздние функции – лишь фрагмент нашей воспринимающей способности и способности к пониманию. Несомненно, *мы* нечто неизмеримо большее, чем «ум» или «само-сознание»; и кроме того мы – сомы – обладаем могуществом и эффективностью, равно как умственными способностями и возможностями восприятия, значительно превосходящими эти фрагментарные аспекты нашего целостного функционального существа.

Поэтому я счел, что центральной проблемой последней трети двадцатого столетия будет проблема тела: живого тела, которым является сома. Поэтому я счел также, что для нас будет благословением на опыте пережить снижение заинтересованности в том, чтобы видеть в «разуме» свою сущность, а в себе – носителей «самосознания». Она должна уменьшиться, чтобы сома, чтобы *мы* могли вырасти.

Когда молодой Исаак Мак-Каслин пожелал увидеть Старого Бэна, огромного медведя, *Медведя*, ставшего легендой, странствовавшего по первобытному лесу в замечательной новелле Уильяма

Фолкнера, он должен был чем-то пожертвовать, прежде чем медведь дарует ему возможность лицезреть себя. В этой истории Исаак, в одиночестве вышедший в лес на поиски Старого Бэна, почувствовал, что никогда его не увидит, пока при нем ружье. Поэтому он отшвырнул его в сторону. Спустя некоторое время он осознал, что этого недостаточно, и избавился от компаса и часов. Тогда, отторгший развращающие порождения цивилизации, лишенный орудий страха, искусственно оберегающих людей от их боязни потери и повреждения, тогда Исаак почувствовал себя достаточно невинным, чтобы встретить появление чудесного медведя. И он появился: бесхитростный как Исаак, беззащитный как Исаак и уверенный в самодостаточности своей древней медвежести так же, как Исаак, черпавший уверенность в своей древней человечности, в гордости, жалости, уважении и любви, и всех прочих древних соматических истинах, которые так хорошо были известны Фолкнеру.

Они были хорошо знакомы и Герману Гессе. Несмотря на многочисленные заблуждения, преодолевая которые Гессе добивался ясного видения мира, он также знал, что означает стать неиспорченным и достичь истинно человеческой невинности. И поэтому Гарри Галеру – Фаусту двадцатого века, постигшему все возможности разума одним тем, что он сделал открытие, что они не предназначены для жизни, только для смерти – Гарри удалось перестать быть Степным волком и прийти к пониманию всей полноты своей человеческой природы лишь когда юная пугололая проститутка дала ему знание свободной чувственности, которой было одарено его тело. Гарри танцевал фокстрот, Гарри занимался любовью: и голос его заглушенной сомы постепенно стал наполнять его, рассказывая ему о забытом им более совершенном существе у него внутри. И наконец он научился воспринимать необъятность своего существа как сомы: тот факт, что он сам и все люди вокруг были чудесными сомами, которые движутся, изменяются и непрерывно участвуют в игре окружающего мира. Было немного толку в «цифровом выражении» смысла шахматной партии, которую представляет собой жизнь, где все вечно меняется, приспособляется и начинается заново – «конечные смыслы» жизни являются иллюзиями разобщенного человечества, верящего в окончатель-

ность ментального, рационального – пожалуй, как стало представляться Гарри, здесь вопрос заключался в любви к игре, в любви к переменам, в том, чтобы научиться обсуждать в шутовском тоне непревзойденные богатство и радость бытия, допускающего возможность игры.

Фолкнер и Гессе не исключение. Подобных им поэтов и писателей множества и множества: действительно, любое произведение новой литературы, дышащее здоровьем и несущее в себе аромат развития, стремящееся, без надувательства, к безоговорочному утверждению человека – это дар нам соматических писателей, на которых, наряду с философами и учеными, мы сейчас должны ориентироваться, позволивших нам понять, что человек не только бесконечно величественнее, чем он себе представляет, он вправду становится таким.

# Раздел 2: Поведение и мутация у человека и других славных животных

## ЧАСТЬ I: СОМАТИЧЕСКИЕ УЧЕНЫЕ

### 1. Биология прошлого: Дарвин

Чарлз Дарвин поступил в Кембриджский университет с намерением стать англиканским священником. Ему, однако, оказалось не под силу удержать свой взгляд пристально устремленным к духовным материям; живое идвигающееся отвлекло его внимание, и он начал вглядываться в мир вокруг и около себя, и сделался вместо этого натуралистом. И это к лучшему. Он столь основательно овладел искусством естественнонаучного наблюдения, что стал не только одним из величайших наблюдателей, но также сыграл роль величайшей оплодотворяющей силы в истории биологии.

Дарвин был не просто имеющим мало равных натуралистом, чье напряженное внимание охватывало окружающий мир и широко, и детально: он был также смелым теоретиком с многогранным талантом, предложившим такое толкование биологической истории, которое начиная с этого времени не оставляло возможности игнорировать экстраординарную природу соматических существ.

Восхитительную ловкость, свойственную ему как наблюдателю, ярко демонстрируют дневники его *Путешествия на «Бигле»*. Его отмеченное исключительной способностью к синтезу воображение, полностью преобразившее последующую биологическую



мысль, вырвалось на свободу при создании *Происхождения видов* в 1859 г. А доказательством его продолжающегося роста и несомненной способности дважды поймать тигра за хвост было появление в 1872 году исследования, посвященного *Выражению эмоций у человека и животных*.

Дарвин был другом людей и животных, хотя едва ли можно утверждать, что эта дружба была достойно вознаграждена, и в прошлом, и даже теперь. Накопленная викторианской религиозной эпохой ярость выплеснулась на него, соединив в себе вызванные его открытием невероятные потрясения и протест, которые ощущаются и поныне: даже такой уважаемый ученый-философ, как Тейяр де Шарден, совсем недавно подвергся нападкам со стороны хранителей ключей Св. Петра за свою убежденность в том, что эволюционное происхождение человека прекрасно объясняется божественными причинами.

Но оскорбительные выпады и страх были сколь неизбежны, столь и понятны, так как «теория» эволюции стала по существу революцией в фундаментальных представлениях о человеке, так долго лелеемых культурной традицией. Так же как столетием раньше Иммануил Кант, Чарлз Дарвин произвел в человеческом мышлении «революцию Коперника», перевернув вверх дном мир, в котором то, что казалось центром и сущностью Вселенной, было объявлено зависимым и производным. Когда базовое человеческое представление о себе и мире вывернулось наизнанку, потребовался длительный и довольно болезненный приспособительный период для того, чтобы люди смогли научиться уверенно ориентироваться внутри этого нового представления. Процесс адаптации шел так медленно, что занял более ста лет с момента опубликования эпохальной книги Дарвина. Поддержкой и стимулом для его развития стали непрерывно поступающие подтверждения «теории» эволюционного процесса со стороны палеонтологов, биологов, этологов, нейрофизиологов и психоаналитиков. «Теория» в конце концов превратилась в факт и захватывающие подтверждения этому, обзор которых составляет данный раздел книги, можно теперь объединить в более согласованную картину, описывающую, что мы представляем собой как люди и что в настоящее время происходит в человеческой истории.

Краеугольным камнем дарвиновских обобщений был процесс «естественного отбора». Информация, которой располагал Дарвин, была хорошо известна ему и всем естествоиспытателям девятнадцатого столетия. Французские натуралисты столетием раньше начали классифицировать признаки поразительного родового сходства и взаимосвязи между всеми известными растениями и животными. Таксономические и морфологические сведения, подготовленные натуралистами-предшественниками, сложились в сложноорганизованную картину животного царства, обладавшую вместе с тем простотой пирамиды: из вершины треугольника пирамиды животное царство разветвлялось в стороны и вниз, образуя строго упорядоченные уровни – типа, класса, отряда, семейства, рода и, наконец, – в основании – видов. Соответствия были налицо, тесно взаимосвязанные признаки подобия лежали на поверхности: этот материал дождался лишь дерзкого воображения Дарвина, которое объединило бы его и наполнило жизнью. Пирамида была статичной, словно содержащиеся в ней классификация застыла, будучи данной от века и навсегда. Дарвину выпало вдохнуть в отраженные ею представления свежее дуновение времени, раскрыв их живую, развивающуюся сердцевину.

Наблюдения Дарвина во время путешествия на *Бигле* – особенно удивительное разнообразие животных, найденных им на Галапагосских островах – послужили толчком к интерпретации многочисленных видов животных не как застывших образований, а как прошедших определенный путь развития и все же развивающихся форм. Эти острова в нескольких сотнях миль от южноамериканского побережья были заселены видами растений и животных, имевшими родовые связи с обитавшими в Южной Америке, но представлявшими собой новые виды. Однако еще небольшая загадка этого архипелага разрозненных островов заключалась в том, что жившие здесь новые, до сих пор неизвестные виды животных встречались только на каком-то определенном острове и не были найдены ни на одном другом. Это выглядело так, словно отдельные новые виды каким-то образом зарождались в особой, родной для них островной среде и были полностью привязаны к ней. Биологический материал, собранный на Галапагосских островах, был громким свидетельством прямой связи между средой и

ее живыми обитателями и отчетливой зависимостью встречаемости различных видов от особых условий среды, из которой они произошли. По-видимому, имеет место избирательное давление, оказываемое теми возможностями, которые содержатся в каждой отдельной среде, на все существа, живущие в пределах этой среды, – процесс, в результате которого происходит *отбор* разновидностей, способных наилучшим образом использовать эти средовые возможности, и *устранение* других, не менее приспособленных.

Но это означает, что животные из поколения в поколение подвергались более серьезным изменениям, чем создания навечно связанные статичной телесной структурой. Более высоким шансам на выживание были отмечены некоторые из числа тех индивидов, которые были наделены структурными отличиями, выделявшими их среди прочих представителей вида. Фактически речь шла об иной версии старой истории, известной всем английским скотоводам: когда рождался редкий экземпляр животного (с короткими ногами, длинной шерстью и т.п.), эта мутация подвергалась *искусственному отбору* ради выведения ее полезных качеств. Дарвин заметил, что когда подобные мутации случались у животных в естественном, диком состоянии, *естественный отбор* осуществлялся средовыми условиями преимущественно среди мутантов, чьи отличия в большей степени благоприятствовали выживанию по сравнению с нормальными, немутантными особями. Действительно, нескольких поколений природной селекции особей, физиологические особенности которых делают их более пригодными для выживания в их среде, достаточно, чтобы появились животные с такими отличиями, что по своему строению они определенно составят *другой вид* – вид животных, которым будут свойственны телесные характеристики, классификационно отличающие их от их принадлежавших более ранним видам предков.

Обнаруженное на Галапагосах свидетельствовало также о том, что вымершие виды животных, не способные выжить, прекратили свое существование потому, что не обладали телесными свойствами, позволившими бы им уцелеть в особых средовых условиях их острова. Следовательно, нам известно о выживании одних видов животных и неспособности к выживанию других, относящихся к тому же роду – сходных, но имеющих незначительные отличия.

Было очевидно, что у некоторых видов животных телесные характеристики недостаточно адаптивны, из-за чего они отвергаются средой, а другие обладают качествами, благодаря которым естественно и неизбежно «выбираются» для выживания в виду того, что телесные структуры и способности, которыми им посчастливилось владеть, наилучшим образом отвечают требованиям постоянной борьбы за существование в специфической среде их обитания.

В свете этих обстоятельств пирамида вдруг приобрела временное сечение; признаки бросающегося в глаза сходства между видами, позволявшего таксономистам классифицировать животный мир, уже не выглядели четким, рациональным, раз-и-на-всегда данным порядком, скорее сходство между видами представлялось теперь имеющим в корне другой источник: виды были похожи, потому что развились из более ранних родственных видов, а степень этого сходства определялась тем, насколько некие случайные телесные свойства могли обеспечить отбор этих видов для продолжения жизни в тех средовых условиях, в которых они обитали.

«Потому что» – выражение, имеющее здесь особую нагрузку. Дарвин видел, что была *причина* необычайного многообразия телесных типов, наблюдаемого нами в животном мире (и в мире растений также): число различных видов животных так велико и, тем не менее, все они настолько тесно взаимосвязаны и имеют так много общего, словно все живые существа являются членами одной генетической семьи, эволюционировавшей на протяжении ряда эпох из одной первоначальной формы жизни в бесчисленное разнообразие жизненных форм, некогда процветавших в ранее распространенных типах среды, либо отстаивающих свою жизнь сейчас, в одном из современных типов средовых условий.

Итак, процесс «естественного отбора». Как он виделся Дарвину, это был естественный причинный процесс, обладающий природой точного и безошибочного механизма: все животные индивиды немного отличаются от остальных животных индивидов и случайные отличия, которыми были наделены некоторые особи (чуть сильнее челюстная мускулатура, чуть ярче оперение, более гибкий хвост, острее зубы и т.п.) приносили им некоторые преимущества

в адаптации к окружающим условиям; в результате потомство этих несколько более приспособленных животных давали быстрый генетический прирост этих благоприятных отличий и это потомство в растущей арифметической прогрессии производило на свет мириады особей – счастливых обладателей челюстей, оперения, хвостов или зубов, дававших возможность происходящим от них новым видам благополучно приспособиться к требованиям окружающей среды.

С другой стороны, те особи, которых случай не обеспечил подобными индивидуальными отличиями, способствующими приспособлению, давали потомство, численность которого быстрее падала под воздействием среды, потомство, которое, в арифметической прогрессии сокращаясь, выводилось из строя животными, сравнительно более выносливыми и сильными, лучше защищенными и т.д., или изменениями в природных условиях, например там, где деревья были выше, пища жестче, климат подвержен изменениям, или еще какими бы то ни было. Одни виды под случайным воздействием индивидуальных мутаций неуклонно попадали в число отобранных для выживания; существование других с равной неизбежностью пресекалось по причине отсутствия таких мутаций, обеспечивших бы выживание. С механической точностью наиболее приспособленные животные отбирались для сохранения жизни, менее приспособленные были обречены на вымирание.

Таким образом, пирамида организации животного царства выростала из процесса случайной мутации и механического отбора, и вместе с тем этот процесс – происходящий вслепую и лишенный цели и определенного предназначения – был ответственен за развитие более сложных, располагающих большими физиологическими возможностями для адаптации, короче говоря, «высших» животных с выдающимися способностями, позволяющими справляться с окружающей их, содержащей постоянную угрозу и вызов, средой. При этом мы находим объяснение появлению животных видов и происхождению человека, – являющимся и в том, и в другом случае результатом развития случайных мутаций и механического отбора, к тому же результатом одновременно исполненным многих смыслов и имеющим глубокие исторические корни – зако-

номерным и необходимым, заслуженным бесчисленными поколениями биологической адаптации.

На первый взгляд все сказанное звучит довольно резко. Возьмем эти ужасные слова: механический, случайный, неизбежный, безошибочный, борьба за существование и выживание наиболее приспособленных – такие выражения режут слух и вызывают отталкивающую картину земной жизни, в некотором смысле слишком жестокую, чтобы заслуживать доверия. Но если описанное Дарвином таково, каково, в конце концов, оно есть, тогда, при более пристальном рассмотрении, это описание возможно покажется и менее отталкивающим, и более приемлемым. Дарвин лишь обращает внимание на то, что существа, которые преуспевают в этом мире – это те, кто лучше других способен с этим миром совладать. Нам нет нужды проявлять чувствительность по поводу «вымирания» видов, потому что виды не умирают; они, скорее, превращаются в сообщества, не имеющие сколько-нибудь типичных представителей. По этой же причине нам не приходится оплакивать смерть отдельных особей внутри отживающей видовой группы, поскольку все индивидуальные особи так или иначе умирают – даже те, которые принадлежат видовым группам, продолжающим существование.

Наглядный и ставший классическим пример естественного отбора представляет собой судьба двух найденных в Англии разновидностей перечной моли. Одна из существующих разновидностей перечной моли имеет пятнистые крылья, другая черные. До середины девятнадцатого века натуралисты считали чернокрылую разновидность крайне немногочисленной, тогда как пятнистокрылая моль в ту пору переживала расцвет. Оба вида моли обычно крепились к лишайнику, покрывавшему стволы деревьев, и в то время как для пятнистокрылой разновидности это была отличная маскировка, моль с черной пигментацией оказывалась неподвижной и привлекательной приманкой, будившей неукротимый голод пролетающих птиц. Но фабричная система изменила эту ситуацию в течение ста лет: угольный дым, изрыгаемый фабричными трубами по всей индустриальной Англии, мало-помалу делал все темнее лишайник на деревьях, пока не стала неразличимой пигментированная моль. Для пятнистокрылых случившееся оберну-

лось вынужденным знакомством с тем, каким образом неожиданное соответствие средовым условиям обеспечивает выживание. Сейчас, столетие спустя, разновидность с черным пигментом на крыльях доминирует, а пятнистокрылая малозаметна, как столетием ранее черная.

Так, кроме всего прочего, наипростейшим из вообразимых способов Дарвин сумел объяснить нам как – путем мутации, адаптации и естественного отбора – получается, что существует и существовало такое множество различных и, несмотря на это, похожих видов животных. И исходя из этого объяснения человечество незамедлительно признало свою тесную связь со всем животным миром или – если желаете – оно сочло, что животные объединились с человеческой расой. Это объяснение также, нашедшее в конечном итоге поддержку и подтверждение в фактическом материале, собранном более поздними исследователями, ныне вполне позволяет понять, что происходит с человеческой цивилизацией на протяжении последней трети двадцатого столетия, равно как оно полезно для понимания того, что случилось с динозаврами в мезозойскую эру.

Однако метод синтеза, используемый Чарлзом Дарвином в его объяснениях, даже менее жёсток, чем можно заключить из сказанного мною: до самого конца Дарвин оставлял простор для толкования и сохранял осторожность в оценках точных механизмов протекания мутаций и адаптации. Безошибочность выбора наиболее приспособленных для выживания была для него бесспорной: факт был слишком очевиден, чтобы его избегать. Но относительно того, как происходят эти спасительные мутации, он не мог однозначно утверждать, являются ли они случайными, детерминированы физиологически или даже обусловлены талантом или везением индивида в адаптивном поведении. Он строил свою «теорию» без знания генетических законов и природы средового воздействия.

Более отдаленные перспективы в изучении человека и других животных открывала его следующая работа: *Выражение эмоций у человека и животных*. Эта восхитительная книга свидетельствует об еще одном шаге вперед, сделанном Дарвином, посвятившим ее не столько тому, как *тела* животных и людей стали выглядеть свойственным им образом, сколько тому, каким образом живот-

ные и люди стали *вести себя и выразить себя* свойственным им образом. Этим шагом, ознаменовавшим его переход от структурной биологии к биологии поведения, было положено начало науке этологии.

По всей земле люди – когда появляется их неспособность что-либо сделать или предотвратить – одинаково пожмут плечами, сгибая руки в локтях и распрямив пальцы поднятых кверху ладоней, обычно отводя немного в сторону голову, приоткрывая рот и приподнимая брови. Не имеет значения где живут эти люди, какой они расы, также как то, принадлежат ли они к первобытным или цивилизованным народам. Это универсальный и невыученный способ экспрессии, форма поведения, от которой люди, как правило, не могут уклониться – разве только, конечно, этим запрограммированным соматическим проявлениям воспрепятствует парализующее вмешательство самосознания.

Попросите человека, если он что-нибудь вспоминает и когда он делает усилие вспомнить, обратить внимание как он задирает подбородок, скашивает глаза и начинает слегка поводить головой из стороны в сторону, как будто что-то ищет. Неверно, что люди выучиваются совершать эти действия, когда пытаются вспомнить, как и то, что они совершаются сознательно. Люди, как сомы, выполняют эти действия естественно, поскольку они приходят автоматически вместе с актом припоминания. Припоминание это поиск: это охота, и когда *вы* стараетесь вспомнить, *вы весь*, как сома, стараетесь отыскать воспоминание древним способом, которым сомы ваших предков искали и охотились.

Когда молодой человек входит в кишачий головорезами бар – или, в том же отношении, в комнату полную очаровательных юных дам – стоит ему приблизиться к дверному порогу, и у него делается более прямым позвоночник, расправляются плечи, грудь выпячивается вперед. Особое окружение вызывает у него особые телесные проявления. Они выглядят очень «мужественно», но в то же время, как это ни трудно признать, жабы, лягушки, хамелеоны, различные виды ящериц и змей также раздуваются, чтобы выглядеть большими и грозными: о своем поведении эти животные «задумываются» не больше молодого человека; это просто случается с ним, как только окружающая обстановка велит им действовать в



их лучших интересах в соответствии с процессом адаптации, который заставляет их казаться крупнее, чем они на самом деле есть.

Когда человек испытывает крайнюю степень страха или ужаса перед каким-то другим человеком или предметом, не только мышцы его тела охватывает дрожь, но даже волосы на поверхности кожи встают вертикально. Конечно, эта удивительная произвольная реакция обычна у людей, однако Дарвин сообщает нам, что такое же вздыбливание кожных придатков (волос, оперения, игл и т.д.) наблюдается также у испуганных шимпанзе, горилл, орангутангов, бабуинов, гиен, львов, кабанов, лошадей, коров, лося, антилоп, коз, кошек, собак, муравьедов, летучих мышей, птиц, петуха и, конечно, у дикобразов и ежей. Современные этологи могли бы значительно расширить список, не забыв включить в него рыб. В чем же заключается соматическая функция этого вертикального выпрямления кожных придатков? Очевидно, предполагал Дарвин, в том, что животное будет казаться крупнее и этим напугает грозящего ему врага. Широко известны выполненные Дарвином и многими другими этологами после него этюды и фотозарисовки признаков страха/агрессии у таких распространенных животных, как кошки, собаки, куры и гуси; и они пленительны не только сами по себе, но в особенности с точки зрения соответствий выступающих на поверхность при рассмотрении многочисленных аналогов в телесном поведении, пронизывающих, как мы видим, пирамиду животного царства сверху донизу, распространяясь и на нас с вами.

Несомненным прорывом, которого удалось достичь Дарвину в этой книге, была демонстрация того, что в результате эволюционного процесса возникают не только различные (но связанные родством) виды телесного каркаса, но и различные (и в то же время определенно родственные) виды телесного поведения. Эта мысль доведена до конца в трудах сегодняшних этологов: любой животный вид так же четко идентифицируется по его поведению, как и через телесную структуру. *Восстание тел* также ставит одной из главных задач показать в ходе обзора и анализа взглядов соматических мыслителей, что тип тела, который мы имеем, и тип поведения, к которому мы расположены, в основе своей тождественны: каждая данная сома имеет данный ведущий паттерн поведения,

который состоит, так сказать, из чувствования, мышления и реагирования, также как из активных действий.

Все мы, каждый из нас, являемся законченными и тем не менее находящимися в процессе становления сомами в пирамидообразном царстве различных сом, достигшем развития за минувшие эпохи биологической истории и несущем в себе (генетически) чрезвычайно детализированный и практичный массив соматической информации, готовой удовлетворить требования нашей среды и способствовать адаптации в ней, если только мы даем на это разрешение. И, как станет понятно, именно наше агрессивное завоевание – создание технологической среды в конечном итоге позволит освободить наши сомы для реализации всей полноты их возможностей в жизни, росте и адаптации в нашем мире.

Дарвин причислил нас к животному миру, так что для нас вполне узнаваемо и доставляет сходное удовольствие и то, как нетерпеливо бьют копытами великолепная горячая скаковая лошадь или вступившие в бой самцы, и то, как отчаянно «бьют копытом» охваченные нетерпением славные игроки юниорской бейсбольной лиги, пригибающие голову и терзающие землю ногами, выслушивая наставления многоречивого тренера в последние минуты перед началом игры. Благодаря Дарвину мы знаем, что когда наш пес угрожающе, даже злобно, ворчит, наступая на другого враждебно настроенного пса, и вздергивает края губ, обнажая острые клыки, он переживает тот же соматический опыт, что доступен нам, как человеческим сомам, в те моменты, когда люди пренебрежительно скидывают голову, отворачиваясь от презираемой ими персоны, и презрительно скривив набок рот, приоткрывают те же самые клыки. Эволюционные звенья, составляющие пирамиду соматического мира, дают нам убедительное доказательство сходства и взаимосвязи между рычанием, чувством страха/гнева и функцией кусания – несмотря на то, что кусание как один из типов человеческой агрессии существует у нашей расы в видоизмененной форме.

Чарлз Дарвин открыл дверь, дверь достаточно широкую, чтобы люди всем миром пережили запоздалое открытие относительно того, кем они всегда являлись: живыми существами, рожденными в лоне времени и продолжающими расти в объятиях времени. Очевидно, что революционное значение дарвиновского открытия

двойко: раскрывая прошлое биологической истории, он одновременно указывает нам на то удивительное обстоятельство, что у биологической истории также есть будущее и будущее человечества изменчиво и открыто.

Поразительно, но Дарвин делает свое открытие в середине девятнадцатого века, как раз в тот период, когда первое индустриальное поколение людей тихо и неприметно включается в работу. Почти как если бы человеческому существу позволено было наконец увидеть и постичь действие эволюции, адаптации и мутации *только* с началом критической стадии в человеческом развитии, только когда мы вступили в преддверие технологической эры. Эволюция знания по отношению к окружающей нас среде, возможно, предполагает, что даже лучшие из человеческих ученых и философов никогда не в состоянии узнать больше, чем им нужно знать. Кажется, новое знание и новые теории являются ни чем иным, как средствами адаптации к новой средовой ситуации; и значит они появляются у человека как следствие нового интеллектуального понимания в строгом соответствии с изменениями среды, которыми было сформировано это понимание и благодаря которым оно оказалось актуальным с точки зрения человеческого выживания. Возможно это означает, что мы можем узнать ровно столько, сколько потребуется знать в данный конкретный момент. Если достаточно получать знания строго в нужный момент, то нашему мышлению предопределено давать наиболее достоверные результаты когда оно находится на пике современности и релевантно сегодняшнему дню окружающего нас мира. Только теперь мы начинаем ощущать на себе всю глубину воздействия идей Чарльза Дарвина относительно царства живых существ и претворять их в жизнь. Дарвин, как все соматические ученые, любил живые создания. Он был открыт для них и они отплатили ему тем же, позволив проникнуть в свои древние тайны.

Любящему взгляду исследователя мир живого приоткрывает свое неомраченное очарование и невинность, вступающие в резкий контраст с узкими рамками человеческого опыта. Дарвин рассказывает как мистер Бартлетт, тогдашний владелец Лондонского зоологического парка, приобрел для своего ведомства двух новых шимпанзе. Шимпанзе были совсем старые и никогда прежде не

встречались. Он поместил их на первое время в одну клетку; очутившись в ней, они поднялись с мест и уселись друг против друга, одинаково оттопырив губы и обмениваясь заботливыми прикосновениями. Потом одна шимпанзе положила руку другой на плечо; затем обе сложили руки и пристально взглянули друг на друга. Мгновением позже обе вскочили, опираясь руками одна другой на плечи, подняли головы, открыли рты и завопили в восторге.

Таковы прекрасные сомы. О, если бы все мы могли испытывать такую радость!

## 2. Травма яйца: Фрейд

Когда-то во время оно жило яйцо и в нем заключался мир абсолютного счастья. Существо, удовлетворенно дремлющее внутри своей пленчатой скорлупы, имело в своем совершенном мире все, чего оно могло бы пожелать и в чем испытывало необходимость: тепло, комфорт, немедленное удовлетворение всех потребностей. Совершенным было не только то, что все, чего оно могло пожелать, было там, в его мире, но и то, что возможность удовлетворения его желаний была так тесно связана с ним самим, что захотеть чего-то конкретного (т.е. в его случае захотеть чего-нибудь вообще) означало для него в тот же самый миг получить это: желание само по себе вызывало удовлетворение желания. Это была безупречно сцепленная система спроса и предложения.

Но однажды, в один незабываемый день, случилось невероятное: небесная скорлупа идеальной вселенной, в которой жило существо, раскололась на части и оно оказалось выброшенным в другую вселенную: мир фантастических размеров – он был так велик, что в нем не было и намека на конечную оболочку, подобную той, что окружала прежние владения существа. В этой вселенной живые существа и предметы были *иными, чем* живые и неживые объекты непосредственно связанные с ним в его старом мире.

Новый чужой мир не проявлял в нем заинтересованности. Его, существа, делом было испытывать счастье, получая все необходимое и желаемое, едва почувствовав нужду или желание: это было единственное знакомое ему занятие, и так как другого выбора не было, существо продолжило его. Однако ему скоро стало ясно, что этот род деятельности неэффективен в его новом мире: когда оно испытывало заинтересованность или необходимость в чем-нибудь, процесс спроса-и-предложения был по-прежнему отлажен по всей линии, но протекал несколько странным образом; желание безотлагательно сопровождалось его исполнением, но это было исполнение другого рода – не настоящие тепло, комфорт или пища, а скорее призрачное воображаемое удовольствие, не несшее реально удовлетворения.

Обитатели царства истинного счастья были упрямыми созданиями и наше существо не было исключением; оно разбиралось в деле счастья: к этому – единственному – делу оно питало интерес, и не собиралось от него отказываться. Но все же, достаточно практичное, оно отдавало себе отчет в том, что если оно собирается содержать свой приятный бизнес и намерено, наряду с эфемерным, грезоподобным, но немедленным удовлетворением, получать удовлетворение настоящее, нужно пойти на некоторые уступки тому огромному, но несчастному миру, куда его зашвырнуло. Прибывающий на новое место прежде всего изучает его и осваивается. Так оно и сделало. Взамен внутренних ощущений оно научилось получать ощущения от вещей находящихся вовне. Раньше, в прежнем обиталище, для него представляли интерес лишь самые неприятные ощущения, такие как напряжение, перегрузка, спазмы, или чувства, которые ему очень нравились – свобода, легкость, расслабление. Теперь, желая сохранить прекрасную расслабленность, оно пробовало на ощупь находящиеся снаружи вещи – не для того, однако, чтобы наслаждаться ими, но с практической целью: выяснить, что они собой представляют, с тем чтобы пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению. Всей имеющейся воспринимающей поверхностью своей кожной оболочки оно пыталось уловить и ощутить внешние объекты, от которых исходили давление и тепло, которые распространяли частицы, волны и фотоны, не переставая бомбардировать его наружную мембрану.

Но научение и адаптация происходят не вдруг, этот процесс занял долгий период. Делая в ходе этой борьбы очередную вылазку из яйца, существо несло с собой что-то из оставшегося от прежних визитов во внешний мир: его хрупкое, податливое тело легко запечатлевало следы предшествующего адаптивного опыта. В результате его осторожных, сплошь из проб и ошибок, попыток освоиться и вступить в контакт с внешним миром ткани его тела частично вытянулись, частично отвердели, сформировались в органы и образовали связывающие и поддерживающие структуры.

Постепенно, не сразу, на место внутренней чувствительности пришла способность ощущать вещи за пределами собственного тела: существо сделалось, что называется, «сознательным». Осоз-

навать наружный мир было не очень приятно, но для создания, долгое время мечтавшего лишь о полном телесном комфорте и покое, который как можно реже нарушался бы неприятными спазмами, напряжениями и избыточной стимуляцией, это было замечательно практичное достижение.

Сознание было его способностью воспринимать окружающий мир. Совершив этот великий подвиг, наше существо не успокоилось на лаврах: чтобы содержать бизнес удовольствий в такой ненадежной обстановке, нужно быть немного агрессивным. Бессмысленно сидеть где-то, пассивно ожидая, когда на смену одним чувственным впечатлениям придут другие, гораздо продуктивнее выйти на их поиски и начать охоту за ними. Так возникает новая способность: способность к вниманию. Нет ничего особенно приятного в том, чтобы поддерживать повышенную бдительность, однако по прошествии времени результатом будет, скорее, удовольствие, чем неудовольствие.

Но приучая себя быть внимательным к повадкам этого мира, существо узнало, что все эти получаемые им энергичные ощущения оставляют в нем след: промелькнувшее новое чувство как бы отпечатывалось на его податливой ткани. Оно запоминало и мимоходом воспринятые вещи, и то, что было обнаружено им при внимательном поиске. Теперь оно обладало памятью, еще одной удивительной активностью. Память незаметно наполнялась следами вещей, попадавших в сферу его внимания, и желая распознать внешний объект, оно могло сопоставить его с хранящимся в памяти следами более ранних восприятий. Оно различало старые и новые ощущения и, пользуясь навыками активного поиска, запоминания и сравнения, научилось каталогизировать множество внешних объектов, решая насколько они подходят и куда относятся. До сих пор его беспокоило лишь то, было ли чувство приятным или неприятным, сейчас же у него открылась способность выносить суждение, позволяющее заключить, действительно ли какое-то новое восприятие согласуется с созданной им картинкой в памяти. Несмотря на то, что «приятное-неприятное» по-прежнему оставалось для него конечным критерием, оно ясно видело, что двигаться в соответствии с этой его существующей на глубоком уровне направленностью можно только всякий раз

решая относительно предметов окружающего мира вопрос об их «истинности-ложности».

Без сомнения это вынужденное-из-яйца создание теперь занималось делом: это второстепенное занятие – общение с миром – позволяло не без удовольствия предаваться истинному, главному делу. Итак, оно ударилось в деятельность. На данном этапе оно могло легко использовать свои энергии, когда надо было отделаться от неприятных внутренних напряжений; оно могло направить свои энергии наружу и умело *оказывать влияние* на этот чуждый ему мир, который научилось деятельно воспринимать, осмысливать и таким образом решать, какие поступки будут подходящими с точки зрения того, что оно помнило и знало об этом мире.

Получалось, что в одно и то же время в работу были запущены две системы деятельности: старая, приносящая удовольствие деятельность служила стимулом и мотивацией вторичной деятельности, которая представляла собой сознательное манипулирование предметами во внешнем мире. Однако долгожданный успех обернулся для существа появлением у него несомненно странной особенности: поскольку образование сознания, внимания, памяти, способностей к вынесению умозаключений и агрессивным действиям было вызвано странными свойствами окружающего мира, и поскольку эти функции были специально предназначены исключительно для взаимодействия с этим миром, подразумевалось, что существо не проявляло сознательности, внимания, способностей к размышлению, вспоминанию или принятию решений в том, что касалось первичных видов активности, как обычно протекавших внутри его телесной структуры. С точки зрения самой истории и действительных причин их возникновения сознание и сопутствующие ему функции были направлены строго вовне, сознанию доступно было все, за исключением потребностей и процессов первичного уровня, на защиту и усиление которых было нацелено его развитие. Механизм сознания – ориентированное вовне агрессивное движение вглубь мировой среды – был предназначен единственно для того, чтобы разрешить задачу выживания первоначальной сущности этого организма. Так как развитие этих сознательных умений и телесных структур произошло вследствие разворота по направлению к среде, они никоим образом не могли



быть сосредоточены на едва заметных внутренних потребностях составлявших скрытые мотивы, стоявшие за их развитием: давая ориентировку во внешнем, опуская внутреннее, эти структуры и функции были слепым инструментом, опосредующим взаимодействие между внутренним существом с его вечной потребностью в мире и наслаждении и наружной средой, всегда грозящей смятением и болью.

Здесь изложено в его простейшей форме понимание природы человека Зигмундом Фрейдом. В чистом виде оно является соматическим пониманием, рассматривая человека как автономный, наделенный потребностями организм, который эволюционировал, ведя борьбу с окружающей средой и приспособляясь к ней с тех пор как стала разматываться нить биологической истории. Человек одна из сом, которым удалось выжить. Он великолепнейшая из сом, поскольку его знание среды и приспособленность к ее элементам высоки настолько, что он приобрел непревзойденные агрессивные таланты в управлении и манипулировании средой.

Несмотря на все великолепие, человек также несчастнейшая из сом: по той причине, что величественный рост его способностей к сознательному наступательному действию заставил его покорять мир, не зная, почему он вынужден это делать, так что его завоевание кажется пустым и бессмысленным. В высшей точке технологического преобразования земли он вдруг странно застыл, желая знать в чем его смысл, в чем причина всего. И лучшие из людей стремятся дать сознательные, рациональные объяснения причины, и слова кажутся пустым звуком. Человек старается понять и объяснить *себя* в тех же категориях, пользуясь которыми прекрасно научился понимать и объяснять мир, и каким-то образом объяснение никогда не касается скрытой тайны, трепещущей у него внутри. Как если бы все его сознательные, рациональные навыки были только слепым орудием чего-то. Как если бы Хайдеггер был совершенно прав, утверждая, что человечество «забывчиво» по отношению к неким основополагающим и непосредственным аспектам бытия.

Но человек не просто великолепная и несчастная сома; он и в высшей степени счастливая сома, поскольку будучи вынужденным слепо разрушать и трансформировать свою ужасающую сре-

ду, он создал новую среду, утратившую биологическую угрозу; теперь у него нет другого выбора, кроме как заново адаптироваться к этим совершенно отличным средовым условиям. Человек это несчастная сома, растратившая свой тысячелетиями развивавшийся изумительным ум на среду, исполненную опасностей, и в настоящее время, завершив создание мягкой среды, он сохранит жизнь и сумеет адаптироваться только если лишится, в широком смысле, своего рассудка.

Увидеть в человеке прекрасную, несчастную и счастливую сому – в этом заключалось фрейдовское эволюционно-революционное достижение, плотно сомкнувшееся с дарвиновскими взглядами и принесшее с собой такое потрясение существующих представлений, которое лишь в последнее время начали должным образом оценивать и принимать.

Фрейда, как большей частью и других соматических ученых и философов, недостаточно хорошо понимали даже его широко известные комментаторы. Все эти загадочные рассуждения о бессознательном подавлении, катексисе<sup>7</sup>, либидо, ид, эго и суперэго – реакция большинства сводилась к тому, что все это кажется каким-то нереальным и нечеловеческим. Это именно так, и в этом кроется основная причина недопонимания. Фрейд в своих работах не адресует к субъекту человеческого существа по имени Мэри, Майк или Вендель; в них приводятся замечания о строении и развитии биологического организма. Они вообще не касаются чего-либо с человеческой точки зрения «личного» и по этой причине мы не можем прямо отождествить себя с описываемым им набором соматических механизмов.

Начнем с того, что Фрейд не был психологом; он был физиологом, занимающимся лабораторными исследованиями, который в силу финансовых обстоятельств кончил тем, что стал практикующим нейрофизиологом. Он был врачом, лечившим людей с неврологическими расстройствами, но привнесшим в свою практику мысль, перед тем основательно отшлифованную реальной действительностью, безразличное отношение, необходимое для физиологических изы-

---

<sup>7</sup> катексис – энергетический заряд, которым обладает аффективное влечение

сканий. Благодаря этой особой подготовке ему было также достаточно хорошо известно об очевидном присутствии эволюционных факторов в процессах структурирования и функционирования тел животных. Несмотря на то, что его, предпочитавшего работу в области физиологических исследований, нужда в деньгах однажды выгнала из лаборатории и привела в неврологическую палату, он знал, что рассматривать людей, которых он лечил, как нейрофизиологические организмы является его научным долгом. Очевидно, во всяком случае для меня, что оценивая пациента Фрейд полностью игнорировал отдельные свойства личности индивида, устремляя свой пронизательный взгляд на определенным образом структурированный «безличный» организм, который отвечал за происходящее. Поэтому подробно рассказывая о «Травме яйца» я пользовался не относящимися к человеку безличными выражениями; тот, кто воспринимает этот итог моих размышлений как историю клетки, живого организма, не-человеческого существа, тот мыслит так же, как мыслил Фрейд. Следовательно, Фрейд оперировал не личностными, не человеческими, а соматическими категориями: и по мере усвоения соматического образа мыслей открывается как удивительно прозрачны многие из фрейдовских идей о том, что мы все – человеческие сомы – собой представляем.

У Фрейда был термин для обозначения этого отношения, а также метода проникновения в соматические глубины человеческой личности: он называл это психоанализом. Наука, на которую в конечном счете опиралась аналитическая работа, была определена как метапсихология – т.е. изучение сформированных соматических структур и процессов, стоящих за индивидуальным человеческим поведением. В различной степени все соматические мыслители, о которых пойдет речь в нашем обсуждении, обладали таким глубинным, пронзительно ясным пониманием человеческой природы и вместо того, чтобы использовать несущий некоторую негативную нагрузку термин метапсихология, лучше было бы воспользоваться более позитивным описательным понятием и говорить о ней как о соматологии. Соматология требует как раз такого

метода восприятия других человеческих существ и самовосприятия. Именно этот метод пытались развивать феноменологии и среди философов его самым, пожалуй, успешным образом применил Гуссерль.

Программа фрейдовских исследований в области соматологии человека обозначилась уже к 1895 году в его *Проекте*<sup>8</sup>; следующие двадцать с лишним лет понадобились ему на то, чтобы изучить такие феномены, как сновидение, сексуальное развитие в норме и патологии, подавление в его различных соматических и поведенческих проявлениях, а также в целом осветить с точки зрения психоанализа человеческую культуру (равно ее первобытные и прогрессивные нормы). К 1917 году этим исследованиям впервые начинает подводиться итог – в позитивном соматологическом ключе – в работе «Формулировка двух принципов умственной жизни», вероятно, самой краткой и блестящей статье, когда-либо написанной Фрейдом. Затем – в начале 20-х – он продолжил попытку построить всеобъемлющую соматологию человеческого существа в [работах] *По ту сторону принципа удовольствия* и, немного позднее, *Я и Оно* – в первой книге предпринята попытка проникнуть в основы человеческой биологии и дать формулировку природы самой жизни как она пробуждается из неорганических процессов (Райх также видел это своей задачей), во второй – Фрейд постарался суммировать свои хорошо продуманные к тому времени представления о многогранной структуре человеческой сомы и происходящих внутри нее процессах.

Человеческое существо, в понимании Фрейда, было древним и сложным организмом, развитие основной и изначальной сущности которого и умения приспособливаться, принимая вызовы окружающей среды, осуществлялось путем формирования вторичных структур и процессов в качестве средств, которыми можно было бы успешно справляться с этим миром. Изначальное ядро человека составляла действующая в теле система энергетических паттернов, внутри которой стихийно возникали приливы и отливы, поочередно *ощущаемые* как здоровье и нездоровье, как не-

---

<sup>8</sup> Проект – теоретическое исследование Фрейда, известное под названием «Проект научной психологии»; работа увидела свет только в 1954 году

приятное нарастание интенсивности стимулов и счастливое разрешение от избыточной стимуляции, как напряжение и разрядка или – в наиболее характерной формулировке – как удовольствие и неудовольствие. Эта первоначальная сома была вначале слепой и беспомощной, *еще не осознающей*, лишь *чувствующей* себя, когда тело самопроизвольно освобождалось от возникающей время от времени гиперконцентрации энергетических стимулов в его тканях.

Но для того, чтобы выжить в земных условиях, этот беззащитный, дремлющий внутри организм был вынужден всеми доступными ему способами реагировать на любой контакт своей наружной поверхности с таящими для него опасность волнами энергии. Соответственно, наружная оболочка первой начинала приспосабливаться к требованиям мира, она становилась все более и более чувствительной к бомбардирующим ее энергиям различных видов. Развитие этой чувствительности и было постепенным развитием *органов чувств*. Для Фрейда, также как для Мерло-Понти, соматически мыслящего философа, осознавать означает воспринимать; сознание есть соматическая воспринимающая активность, затрагивающая всю систему органов чувственного восприятия. Каждый миллиметр нашей телесной поверхности участвует в воспринимающей деятельности, таким образом, каждая частица нашей телесной поверхности сознательна и всегда «внимательна» к стимуляции.

По этой причине те, кому чужд соматический способ мышления, не в состоянии понять Фрейда, когда он говорит о «психике» и «психических процессах» так, словно на самом деле имеет в виду то, что мы традиционно называем «телом» и «телесными процессами». Вы, как сома, непрерывно воспринимаете, ваше сделавшееся чувствительным тело с головы до пят участвует в получении и регистрации данных об окружающем мире. Поэтому вы продолжаете воспринимать даже когда спите; вы можете усвоить во сне основы языка, потому что хотя вы в это время не «сознательны», ваш (по терминологии Фрейда) психический аппарата «бессознательно воспринимает». Колокол звонит пока вы спите, и ваше соматическое существо – блаженно предающееся давнему занятию: переживанию во сне приятных и неприятных вещей «как если бы

они были реальными» – без малейших колебаний включает воспринимаемый вами колокольный звон в реальность сновидения. Даже при отсутствии вторичной деятельности «сознания» звук колокола слышится и гладко вписывается в контекст текущего внутреннего опыта.

Можно к тому же забыть о главенствующей роли «само-сознающего ума», который несет только вспомогательную функцию, и попытаться настроить себя на «примат восприятия», дающий как следствие соматическое самопонимание. Тогда вы обнаруживаете, что говоря о «бессознательном» Фрейд подразумевает первичное, изначальное телесное ядро, всегда скрывающееся в сердце нашей сомы, которое в ходе эволюции заслонили вторичные структуры и процессы, осуществляющие практическую деятельность сознательного восприятия внешнего мира, начинающегося сразу за мембраной, огораживающей вместилище наших костей и мускулов.

То, что Фрейд называл «психоанализом», было, следовательно, изучением взаимосвязей между этим первичным ядром сомы и вторичной оболочкой из практических функций, развитых и адаптированных целостной человеческой сомой к непосредственному окружению, в котором она жила.

Непосредственное окружение человеческой сомы в самом раннем возрасте – это мать, няня, отец и тот семейный круг, которому представлена юная, нежная сома. На этой ранней стадии доставшиеся молодой соме по наследству вторичные практические и защитные функции пока еще не имеют возможности проявиться и созреть – их появление относится к позднему периоду эволюционной истории человеческой сомы, поэтому в ходе ее индивидуальной истории они развиваются последними: отсюда, всеобщий закон биологии – онтогенез (индивидуальное развитие) кратко повторяет филогенез (эволюционное развитие видов).

Итак, поскольку ее вторичные защитные свойства пока еще недоразвиты и находятся в латентном состоянии, младенческая сома беспомощно лежит на виду у своего семейного окружения и древнее ядро ее первичных телесных процессов оказывается откровенно выставленным на всеобщее обозрение: это крохотное создание пульсирует в ритме чередующихся телесных сокращений и расслаблений, беззастенчиво демонстрирующих его неудовольствие по

поводу ощущаемых им в теле напряжений и, напротив, удовольствии от телесного покоя и удовлетворения.

Перед нами новорожденная сома, новаяявленное человеческое существо: взгляните на него, и вы увидите собственное исконно соматическое начало, которое никогда не иссякнет и не перестанет господствовать над вашим соматическим бытием, оно лишь прячется под покровом развившихся позднее соматических способностей: осознавать, быть внимательным, помнить, выносить суждения, практически действовать, думать, пользоваться языком и т.д. Такова простая и в конечном счете довольно очевидная картина, данная нам Фрейдом. Если описанное им возмущает нас или оно нам недостаточно понятно, причина не только в том, что в ходе созревания наших функций мы забываем свою подлинную бессознательную суть, но и в том, что традиционная культура, сформировавшая наше действующее агрессивное сознание, в принципе отказывается принимать во внимание концепцию человека, в чем-то выходящую за рамки его «вторичного» практического аспекта. Традиционное культурное определение человека искусственно; это вытесняемая из сознания ложь, которую робкий развивающийся человек держал про себя по той весьма прозаической причине, что первоначальной эволюционной задачей его было наступление на среду, приобретение контроля над ней, умения манипулировать ею и подчинять своим интересам. Но однажды человек все же решил проблему порабощения угрожающей земной среды, ему больше не нужно будет прятаться от самого себя и подавлять воспоминание об изначальной древней сущности, трепет которой он всегда ощущал внутри и которая порождала в нем волны практической активности, направленной во внешний мир.

Если Дарвин открыл нам возможность понять себя в терминах соматической истории, которая привела нас к нашему нынешнему положению, Фрейд дает нам представление о том особом соматическом человеческом существе, что эволюционировало, и о том, как истинная природа нашей двух-частной сомы в отношениях с человеческой средой постоянно подвергается их искажающему ее развитие нездоровому влиянию.

С эволюционной и соматической точки зрения ситуация, открывшаяся Фрейду, была такова: история и строение человеческой

сомы свидетельствуют о том, что в идеальном случае начальная внутренняя организация сомы будет оставаться здоровой и полноценной в ходе своего развития до тех пор, пока направленные во вне телесные системы более позднего происхождения беспрепятственно совершенствуются и достигают действительной способности защищать и обслуживать настоятельные и неутолимые нужды природного человеческого организма. С биологических позиций это своего рода синхронное дополнительное развитие, которому, по-видимому, предопределено произойти; если оно произошло, человек, тем самым достигший уровня зрелости, будет здоровым, адаптивным и – самое главное – у него появится устойчивая способность получать удовлетворение и испытывать состояние внутреннего комфорта в ежедневных столкновениях с человеческим миром. На то, что такое счастливое, благополучное человеческое существование возможно, ясно указывает развитая соматическая структура человека, но не менее очевидно, что такое внутреннее благополучие достигается исключительно редко и Фрейд именно представление о развитой внешней-и-внутренней соме позволило прийти к пониманию психопатологии (или в нашей терминологии соматопатологии) человека.

Главное, что заметил Фрейд – «психическое» (т.е. соматическое) заболевание обуславливается *не* недостаточностью человеческой сомы (за исключением, разумеется, имеющих у индивидуума настоящих органических повреждений), а неадекватностью окружения, в котором человек рос; в особенности это касается самого раннего развития – до четырех, пяти лет, несколько меньшее значение имеет следующий период – с пяти лет до начала пубертата. Во всяком случае, Фрейд видел множество потенциальных опасностей и препятствий, которые таит в себе период от рождения до наступления пубертатного возраста даже для самых благополучных людей, однако не вызывает сомнения и то, что человек, на его взгляд, может вырасти нормальным и здоровым, если средовые условия должным образом организованы. Впоследствии ученик Фрейда, Вильгельм Райх, был еще более настойчив в обвинениях по адресу раннего семейного и культурного окружения ребенка. Если обратиться к традиционным понятиям, достаточно сказать, что новорожденная человеческая сома виделась Фрейдю «безгреш-



ной» и «неиспорченной». Если подойти к проблеме с совершенно нетрадиционной точки зрения, довольно отметить, что греховное и развращающее влияние несет в себе традиционная культура.

Я не хочу сбивать читателя с толку, вводя его в лабиринты фрейдовского анализа, имеющего дело с несметным числом факторов, которые могут отклоняться у человека от нормы в раннем детстве, порождая «умственные» расстройства. Оставаясь в русле обсуждаемой нами проблемы, достаточно подчеркнуть следующее: поскольку подлинная сома служит главным мотивационным и энергетическим источником вторичных процессов, происходящих в жизни человека, то если в результате событий первых лет жизни ребенка прерывается должное состояние удовлетворенности истинной сомы или этими событиями порождаются вторичные сознательные структуры, нарушающие эту необходимую удовлетворенность, человек как целое становится больным, несчастным и слабо-адаптированным к непредвиденным обстоятельствам, случающимся в его человеческом окружении. Предположения, возникающие в трехмесячном возрасте наглядно демонстрируют каким образом «нарушается чувство необходимой удовлетворенности внутренней сомой». Допустим, ребенок оказался во власти смутного представления, что его любимая мать, как и он сам, когда-то была обладательницей пениса, а затем, по какой-то причине лишившись его, истекла кровью из промежности – это будет точным примером «создания вторичных сознательных структур, разрушающих это состояние необходимой внутренней удовлетворенности». Как только соматические пути удовлетворения изначальной человеческой сущности отклоняются от цели, искривляются или блокируются, течение внутренних энергий человека и их проявления в сознательном активном поведении принимают искаженную форму и становятся неэффективными, и самим человеком *ощущаются* в виде непрекращающегося *органического напряжения*, тревоги и тоски. Это психопатология Фрейда в ее наипростейшей формулировке. Проблема состоит в том, что соматические препятствия, нарушающие контакт внутренней сомы с образованиями наружного слоя, принимают многообразные *формы* – это часть лабиринта, открывающегося во фрейдовском исследовании. Различные стадии развития, которым соответствует по времени воз-

никновение препятствующих здоровому функционированию блоков и отклонений – другая запутанная область изысканий Фрейда, относящихся к тем вечно меняющимся, никогда не претендующим на завершенность теориям и представлениям, которые способны поставить в тупик даже самого искушенного из читателей, если бы он отважился попробовать привести все фрейдовские представления к общему знаменателю.

Колоссальное наследие, заключенное в произведения Фрейда, оставленных им в дар двадцатому столетию, составляет не только техника психоанализа, но и его эволюционный соматический подход к человеческому существу. Фрейдовский психотерапевтический метод сейчас напоминает попытку добраться до эмоционального расстройства тихходным лошадным транспортом – терапия была более чем длительной, чересчур ограниченной в применении и слишком часто сопровождалась рецидивами. Но сохранившее и поныне свою значимость фрейдовское наследие заключается в комплексном соматическом подходе, который он внес в наше понимание природы и динамики здорового и болезненного человеческого развития – не «психического» здоровья или нездоровья, а просто человеческих, и не «психосоматических», а просто соматических здоровья и болезни человека. Неверно, что медицина не является соматической дисциплиной, скорее медицина рассматривает соматическое в довольно грубой форме: ей не хватает смелости вырасти во всестороннюю науку о человеке, которая давала бы представление о том, как развивающаяся человеческая сома может реагировать здоровьем или болезнью на каждый аспект окружающей ее среды, как на *реальные* физические и социальные факторы, так и на то, что пациент *воспринимает* как реальные физические и социальные факторы. Всем наделенным интуицией врачам пора догадаться или с уверенностью понять, что существование такой всеобъемлющей медицины не только возможно, она уже обозначилась на горизонте в ожидании прихода людей, обладающих необычайно широкими (в таких особенно нуждается американская медицина) и тех, кто отличался бы мужеством и стойкостью (поскольку традиции западной медицины глубоко уходят корнями в традиции культуры, которые сейчас ставятся под сомнение и не-

избежно вступят в борьбу с духом и буквой всякого изменения в медицинской науке).

Я отдаю себе отчет, что многие молодые врачи, особенно в Европе, предчувствуют и предвкушают предстоящее преобразование в медицине. Им известно, что люди все еще умирают «от разбитых сердец» и от «жареных угрей на свежем масле», т.е. как от совершенно реальных человеческих взаимодействий, так и от далеких от реальности, но относящихся к числу их «верований» взаимодействий физических. Только соматологической медицине доступно истолкование этих случаев в одном контексте с тем богатым материалом о различных структурах и функциях человеческого организма, которым мы уже располагаем.

В конце концов, дело не в недостатке данных; назрела необходимость в медицине всесторонней и создание такой всеохватывающей программы означало бы, что мы можем жить в обществе, в котором медицина обладала бы преимуществами профилактической, творческой дисциплины, начинающей заботиться о человеке еще до его рождения и сопровождающей его послеродовое развитие, выгодно отличаясь тем самым от общераспространенной абсурдной системы терминальной медицины, где огромное количество сил и средств сосредоточено, главным образом, на лечении и спасении человека уже заболевшего. Такого рода революционное изменение влечет за собой крутую ломку структуры медицинского знания, пересмотр профессиональной и традиционной роли врача; его темпы приблизительно соответствуют постепенным эволюционно-революционным преобразованиям конца двадцатого столетия. В таком обществе и с такой медициной мы сможем узнать, действительно ли у человека всегда обязательно и неизбежно будут возникать болезни. Для этого мы должны поставить вопрос: «Зачем людям болеть?» Если Фрейд был прав, предполагая, что человеческая сома, родившаяся здоровой, как таковая не может быть причиной болезни, если верно мое предположение, что введение технологического контроля и умелое обращение с нашей физической средой искоренят физические, химические и биологические факторы, ответственные за возникновение заболеваний, если, наконец, я не ошибаюсь, считая, что работающие в настоящее время эволюционно-революционные процессы, возможно, приведут к

тому, что социальные, экономические и политические структуры перестанут быть «психологическими» факторами по неизвестной причине обуславливающие болезнь – при этих трех (не невозможных) условиях мы в конце концов должны выяснить, непременно ли человеку нужно болеть (в любом соматическом смысле) или болезнь и ее запоздалое исцеление на скорую руку были просто несчастными последствиями старой человеческой культуры, порожденной жизнью. Это лишь один из многих вопросов, которые будут иметь удовольствие решать люди двадцать первого века. И если ответ будет положительным, наиболее вероятно, что они зададутся следующим неизбежным вопросом: «В таком случае, обязательно ли людям умирать?»

Зигмунду Фрейду в большей мере принадлежит заслуга превратить такие «мечты» в те реальные возможности, над которыми люди могут задуматься и задумываются, строя свои планы: это он коренным образом изменил наше представление о человеческой смене и, следовательно, открыл дорогу радикальным преобразованиям во всех отраслях медицины. С точки зрения нашей угасающей культуры двадцать первое столетие станет веком, в котором все будет возможно, не только то, о чем мы осмеливаемся мечтать, но и многое из того, чего мы *не в состоянии* даже вообразить. Даже само воображение может стать абсолютно иным – и тут Фрейд был бы глубоко удовлетворен. Он был бы счастлив знать, что пришедшие вслед за ним поколения либо наконец разучились предаваться мечтам, либо, что было бы еще лучше, что они грезят лишь сладкими, всегда исполняющимися грезами ребенка: это означало бы, что люди научились становиться взрослыми, не теряя детской честности и невинности, и продолжая оставаться наделенными особой древней мудростью детьми, какими все мы были с самого начала и какими и сейчас остаемся в своих сердцах.

Фрейд показал нам, что мы нечто гораздо большее, чем наш сознательный ум – агрессивная, дробная часть нашего существа. Он был абсолютно прав: мы есть много и много большее. И мы теперь знаем, что мы нечто гораздо большее, потому что сейчас становимся такими: мы становимся целостными и прекрасными сомами, прежде подавленными и ожидающими превращения в наших горячих мечтах.

### 3. Биология поведения: Лоренц и этологи

В окрестностях Альтенберга, где прелестные равнины и ущелья окаймляют беспокойный Дунай и жадно впитывают воды его ежегодных паводков, в сердце старой Европы расположился неожиданно дикий уголок. Заводи, болота, заросли кустарника и ивовый лес расходятся в стороны от широкой, бурной реки, их постепенно сменяют пологие холмы и виноградники, посреди которых изредка высится на скале угрюмый и живописный средневековый замок.

Если вы когда-нибудь пролетали над этим уединенным краем в центральной части Нижней Австрии, возможно, вы подумали о том, что натуралисту это место отлично подошло бы для проведения исследований. А если бы однажды на троицын день, когда нежная полевая зелень тянется к весеннему солнцу, вам довелось бы бросить взгляд на один из окрестных лугов, ему открылось бы зрелище, которое не только показалось бы вам загадочным, но наверное привело бы вас в легкое недоумение. В поле крупный осанистый мужчина с густой бородой, то ковыляя вперевалку, то приседая в траве на корточки, описывал широкие восьмерки, приговаривая вполголоса: «Кря, ги-ги-ги-гиг! Кря, ги-ги-ги-гиг!»

Одно из двух: это или безумец, или – что очень сродни ему – соматический ученый. В данном случае оказалось последнее. Представительный бородатый субъект, кричающий и двигающийся вперевалку, был этологом Конрадом Лоренцем, а то, чего вам было не видно – прячущимся в луговой траве выводком недавно вылупившихся птенцов дикой утки малларда, которые энергично и озабоченно попевали за этологом, в то время как тот ковылял и ползал по полю, разговаривая с ними на старинном и не лишенном прелести утином языке. И если вы сообразили, что утята принимают передвигающегося раскачивающейся походкой человека за свою мать, и хуже того, сам этот человек воспринимает себя их матерью, вы могли ощутить отсутствие разницы между сумасшедшим и соматическим ученым: оба довольно схожи.

Конрад Лоренц был занят лабораторной демонстрацией – или, если хотите, полевым исследованием. Вы застали его в процессе подтверждения одного замечательного факта. Он знал, что птенцы

некоторых видов гусей и уток, только что вылупившиеся из яйца, «запечатлевают» первый же попавшийся им на глаза движущийся объект и выбирают этого человека или этот предмет своим родителем. Лоренц уже не первый год был «матерью» бесчисленных уток и гусей, однако птенцы малларда, как он заметил, появившись на свет, не «запечатлевали» его, они убежали и затаивались в укромном уголке. Какие же факторы позволяли другим гусям и уткам запечатлеть объект с первого взгляда, но мешали действовать таким же образом малларду? Задавшись целью выяснить это, Лоренц посадил на яйца малларда домашнюю фермерскую утку (на вид сильно отличающуюся от своих диких сородичей); когда яйца были высижены, вылупившиеся утята тотчас запечатлели обыкновенную утку и следовали за ней, несмотря на то, что их «мать» имела явно отличные окраску и внешние формы.

Что же за обстоятельство было упущено? Какими чарами обладала фермерская утка и, в данном случае, не обладал Лоренц? Лоренц предположил, что дело в призывном крике, издаваемом уткой. Ему было известно, что домашняя утка ведет свое происхождение от дикого малларда и несмотря на то, что ее физические признаки стали заметно иными, чем у ее предка, особый звук маллардова кряканья остался неизменным. Итак, Лоренц практиковался в утином языке и ожидал следующего выводка утят. Он терпеливо караулил этот момент, чтобы оказаться рядом, когда они вылупятся, и воспроизвел им призывный крик малларда: «Кря, ги-ги-ги-гиг!» И в самом деле, крошечные малларды тут же прибежали к своей «маме».

Таким образом Лоренц привнес еще одно восхитительное открытие в замечательную науку этологию. Он определил, что другие утки и гуси запечатлевают мгновенно обретенную «мать» визуально, в то время как маллард делает это на слух. Утки этого вида с рождения «знают» звук голоса матери: он обладает для них привлекательностью и ни один другой звук не может запустить у них жесткий механизм импринтинга. Его действия, которые мы наблюдали в поле, призваны были подтвердить тайну существования особого рода запечатления у малларда; для этого он изменял свою зрительно воспринимаемую высоту и проверял, что произойдет, если прекратить крякать. К своему несчастью, Лоренц убедился,

что если он вставал во весь рост, утята «теряли» его зрительный образ и обеспокоенно вытягивали свои шейки, жалобным писком взывая о помощи. На его беду, утята «теряли» свою «мать» и в том случае, если кряканье не было непрерывным. Вот почему австрийский этолог перекатывался по траве и не переставая крякал.

Конрад Лоренц не был первым этологом и, я полагаю, он определенно не последний, но он был выразителем своей науки, которую называет «биологией поведения». Множеством этологов скрупулезно накапливались волнующие и заслуживающие пристального внимания факты, не менее весомые, чем те, что были выявлены Лоренцем, однако именно Лоренц, надо отдать ему должное, неустанно систематизировал результаты собственных и чужих исследований, вырабатывая обобщенные теоретические положения, внутренне согласованные, последовательные и выраженные легким, понятным языком. Кроме того, Лоренц выступает в роли рупора идей этологии еще и потому, что в своих работах он щедро цитирует всех прочих этологов, в том числе и своих критиков, относясь к ним как к коллегам – ученым, объединенным общей задачей. Также как Дарвина называют отцом естественного отбора и эволюционной науки, поскольку он синтезировал в теорию ряд фактов, которые до него связывались между собой (хотя заслугу этого «открытия» могли бы разделить с ним Алфред Рассел Уоллес и другие), по той же причине Лоренц считается основоположником этологии.

Этология как наука является, в совершенно точном смысле, недостающим звеном между дарвиновским учением об эволюции видов и фрейдовской наукой о нейрофизиологическом развитии человеческого организма; как сравнительная наука о поведении животных и их неизменных врожденных реакциях, этология связывает нейрофизиологические прозрения Фрейда относительно человека как животного вида с эволюционными взглядами Дарвина на происхождение телесных структур у всех видов животных, включая человека. Выражаясь немного иначе, выявленный и подтвержденный этологами факт наследования всеми видами животных не только неизменных телесных структур, специфичных для вида, но также видоспецифичных и постоянных моторных реакций свидетельствует о прямой связи устойчивых нейрофизиоло-

гических явлений, которые Фрейд наблюдал в человеческой коме, с устойчивыми паттернами телесной структуры, развивавшимися, по наблюдениям Дарвина, у различных представителей животного мира.

Мы уже видели пример поведения, являющегося образцом «устойчивого врожденного моторного реагирования», которое очевидно становится возможным благодаря особому сочетанию нейрофизиологических составляющих, свойственных от рождения всем членам определенного вида. Утята малларда не «обучаются» распознавать призывный крик своего вида, скорее, звук этого сигнала, услышанный новорожденными утятами, высвобождает у них врожденную модель поведения, генетически закодированную в особых нейрофизиологических структурах каждого малларда: устойчивую врожденную модель запечатления первого или ближайшего объекта, издающего клич малларда.

Утята не учатся такому поведению – поведению, имеющему неоспоримую ценность для выживания, так как малыши-малларды в своей родной среде запечатлевают сидящую на гнезде мать-утку и устремляются под ее покровительственное крыло; они не нуждаются в обучении, поскольку *были* «выучены» бесчисленными поколениями маллардов, сохранивших свою начинающуюся жизнь, реализуя эту форму поведения. Утята энергично расчищают себе дорогу из своей скорлупы и, необсохшие и заброшенные, ждут; но стоит этим крохотным комочкам перьев услышать чудесное, существующее с незапамятных времен «Кря, ги-ги-ги-гиг!», они вскидывают головы, вытягивают свои тонкие мокрые шейки и дрожащими голосами выводят ответный сигнал: свое первое приветствие миру, наполненному такими чарующими и родными звуками.

Они готовились к подобным вещам, столь существенным для их выживания, ничуть не больше, чем человеческий младенец готовится взять в рот сосок материнской груди, находя для него идеальное положение и с первой же попытки принимаясь сосать находящееся там (он не знает этого) молоко, успешно координируя сложные взаимоисключающие действия глотания и дыхания, чтобы не поперхнуться. Выполнить эти действия с первого же раза – кажется поведением в высшей степени «разумным» с точки зре-



ния выживания для новорожденного, еще ничего не знающего об окружающем его мире. Однако такие устойчивые поведенческие программы являются общим для всех животных, т.к. у сменяющих друг друга поколений всех видов животных анатомия и нейрофизиология вследствие естественного отбора все в большей мере приходили в соответствие с их общей средой.

Причина сенсационного интереса к этологии, особенно в американском обществе, заключается в том, что занимаясь сравнительным исследованием поведения животных в его фиксированных формах, эта наука имеет дело с громадным количеством типов животных. Чем больше описано различных вариантов поведения у животных (в особенности у хордовых) и чем богаче список видоспецифичных сходств и различий в их поведении, тем больше света это проливает на наше понимание того, почему животное или человек поступает определенным образом и какие особенности, если говорить честно, отличают его от других животных.

Это производит на американцев сильное впечатление, поскольку американские поведенческие психологи убеждали их, что им давно и более или менее хорошо известна основная истина относительно поведения животных. Истина, обнаруженная приблизительно в 1920 году, состояла в поражающем воображении открытии, что норвежская крыса это царь зверей. Если учесть, что число различных видов в животном мире почти равняется 1,25 миллиона, остается только удивляться тем мыслительным процессам, которые привели психологов Соединенных Штатов к этому заключению. Может быть было бы несправедливо предположить, что все они вдруг решили: «Если вы видели одно животное – вы видели их всех», – и поэтому продолжают замечать вокруг только тех позвоночных, которые легче всего поддаются разведению и приручению. Возможно также, мы оказались бы слишком строги, допустив, что им *a priori* была известна вся информация о сравнительном поведении животных или удалось предугадать эти данные неким полумистическим образом, вследствие чего теперь они могут сосредоточить свои эксперименты на крысах, чтобы прояснить ряд других вопросов. Однако в общем и целом оба предположения беспощадная правда. Для американской психологии было характерно настаивать на «научности» своей деятельности

и тому была очень важная причина: в ее основе лежало не столько научное исследование, сколько опирающаяся на догму технология. «Доктринами», сэкономившими усилия по созданию базовой научной мысли, явились теоретические положения позитивизма и бихевиоризма, относящиеся к девятнадцатому столетию. «Технология», разработке которой посвятили себя американские психологи, была направлена не на понимание поведения животных, а на выяснение того, какие действия доступны животным и при каких условиях; в более широком смысле, информация, полученная в их исследованиях, представляла техническую ценность для определения и точного описания условий, при которых от человека или какого-либо животного ожидалось выполнение или невыполнение некоторого действия.

Говоря вкратце, причина, по которой наука, называемая американцами «психологией» достигла впечатляющего размаха и получила поддержку со стороны правительства и промышленных предприятий, чрезвычайно проста: обеспечиваемые ею сведения можно было использовать для модификации человеческих существ, какие бы цели при этом ни преследовались правительством или промышленностью. По их собственным словам, наши психологи занимаются «управлением и манипулированием поведением». Вот именно; и исследования, проводившиеся на человеке, оплачены нашими общественными институтами, которые, таким образом, намерены управлять и манипулировать человеческим поведением, формируя мышление человека и, вообще, используя в своих интересах любую точку простоя в его [действиях].

Я осознаю со всей остротой, что положение дел, касающееся такого рода прибыльной эксплуатации, затрагивает не всех психологов (особенно в сфере образовательной психологии); это лишь общее положение вещей. Многие из них были людьми с 20-х годов выступавшими против этих дезертирских настроений и осуждавшими бегство от пациента, отход от недогматического занятия *scientia*<sup>9</sup> (процессом познания) и перенесение усилий в совершенно отличную область *ingenium*<sup>10</sup> (действующих автоматов) и *tech-*

---

<sup>9</sup> *scientia* (лат.) – знание, наука

<sup>10</sup> *ingenium* (лат.) – врожденные качества, свойства

не<sup>11</sup>(умения действовать): но их протесты вызвали в ответ лишь профессиональное пренебрежение и гонения.

Я также осознаю, что среди современных бихевиорально ориентированных ученых существует тенденция к быстро растущей революционизации психологического общества. Представители гуманистической психологии, такие как Абрахам Маслоу и Сидней Джуард, имели совершенно отчетливое представление о той бессердечной эксплуатации, что скрывается за человеческой инженерией, поэтому Джуард обращался к новым поколениям психологов с призывом посвятить себя новой, более зрелой психологии, которая была бы наукой не только о человеке, но и для человека. Приверженцы неомарксистской политической мысли, такие как Герберт Маркус или Кеннет Меджил, человек, принадлежащий значительно более молодому поколению, настаивают, что использование исследований, проводимых университетами, правительствами и различными отраслями промышленности в целях эксплуатации человека, определенно является следствием деятельности социально-экономических структур – составляющих отмирающей культурной традиции; и для них, как для неомарксистов, очевидно существование подобных традиционных институтов внутри как советского лагеря, так капиталистического блока наций. Людям более молодых поколений во всех этих технологически продвинутых обществах ясна природа осуществляемых правительствами и промышленными предприятиями пропаганды, контроля над обучением и образом мыслей и формирования человеческой мотивации, направленных против индивидуальных интересов обычного населения, которые, по их уверениям, они представляют и которым служат.

В самых общих чертах, этот так называемый истеблишмент и его ставшие слепой привычкой традиции в настоящее время попали под огонь перво-мутантов, принадлежащих технологическим нациям Востока и Запада. И залпы в сторону таких «истеблишментов» это только их первые робкие маневры. Эволюция-революция в организованных технологических сообществах еще недалеко ушла от стартовой отметки. Неуклонно растущие и обновляющие-

---

<sup>11</sup> *techne* (лат.) – уловка, хитрость

ся группировки мятежников исключительно трезвы в оценке своего общества: они видят, что нет нужды использовать агрессивные технологические достижения человека против него самого, напротив, они могут быть более реально использованы для людей, живущих в таком обществе, не только потому, что именно благодаря технологии среда стала более мягкой, но еще и потому, что при этом высвободилось достаточное количество энергии, чтобы каждая личность могла позволить себе бóльшую свободу мысли и поведения, будучи членом более демократичного общества с расширенными возможностями контроля со стороны отдельных индивидуумов.

В целом, поскольку фундаментальной потребностью, стоящей за развитием технологии, было покорение независимой от человека среды и господство над ней в целях предоставления человеку защиты и извлечения им определенных выгод, постольку на сегодняшний день не осталось причин использовать технологию в качестве средства, позволяющего подавлять и контролировать человеческие потребности, для обслуживания которых она предназначена. В том, чтобы научиться следовать этой трафаретной истине, заключался основной смысл политического регулирования технологических наций двадцатого столетия на протяжении всех их безрезультатных войн.

Эта расширяющаяся цепочка наблюдений, которая, начавшись соображениями, касающимися американской психологии, неожиданно привела к общим замечаниями о политической жизни нашего столетия, является типичным примером поступательного движения мысли у тех, кто рассуждает в эволюционно-революционных категориях; и я должен сдерживать свое желание предостеречь читателя от подобных выкладок, по крайней мере, пока мы не перейдем к третьему разделу этого руководства по соматическому мышлению. Такие всеохватывающие рассуждения характерны вот по какой причине: те, кто начал думать на языке приближающейся мутантной культуры, одновременно стали рассматривать традиционную культуру с известной дистанции и увидели ее как целое, все многочисленные элементы которого видимым образом соединены один с другим и образуют единообразные паттерны. Осоз-

навая, как каждый элемент связан со всеми остальными, поневоле торопишься высказаться относительно этих связей.

Наука этология, с другой стороны, подобна освежающему бризу, берущему начало вне нашей традиционной культуры; пожалуй, это подлинная наука о соматическом поведении, его скрупулезный анализ, сама методология которого покоится в подвижном контексте мутации и эволюции. Этот бриз кажется таким свежим и потому, что он возвышает человека до его аутентичности, умалив его перед забытой и презираемой им семьей, царством животных. Занятие этологией напоминает возвращение домой после долгого и трудного путешествия. Только находясь среди семейства сородичей можно узнать, кто ты такой.

Лоренц, так же как Дарвин и Фрейд, видел во всех живых существах сложные, развивающиеся организмы, накапливающие и отдающие энергию специфическим способом, соответствующим их виду. Десятилетиями вопрос стоял следующим образом: «Как органическая энергия разряжается столь многочисленными способами? Дело ли тут в разнице путей, в различных видах энергии или в чем-то другом?» Дарвин на этот счет имел лишь общую механистическую теорию. Фрейд, со своей стороны, терзался этим вопросом всю жизнь и спорил об этом со своими последователями, преимущественно с Юнгом. Вначале Фрейд высказал догадку, что вся энергия по своей природе либидинальна, однако позже, к 20-м годам, он начал подозревать, что все не так просто, и постулировал существование «танатоса», особой организации энергии, в которой было минимум биологического и имевшей в большей степени физический характер.

Однако наибольшее значение вопросу о том, как осуществляется в поведении энергетическая разрядка организма, придавали Лоренц и с ним небольшая группа этологов. По их мнению, четыремя основными влечениями организма являются влечения к бегству, агрессии, приему пищи и спариванию, субъективно (т.е. с точки зрения переживания этих побуждений животным) выразившиеся в чувстве страха, гнева, голода и желания.

Для этологов, следовательно, энергетические влечения – не тема туманных дискуссий, а предмет изучения, изучения того, что Лоренц называет «большой четверкой», представляющей собой че-

тыре первичных влечения всех животных. Вслед за Дарвином, который в работе *Выражение эмоций у человека и животных* приходит к выводу, что когда человек рассержен, напуган или влюблен, эти «эмоции» находят физиологическое «выражение» в очень точных и характерных движениях лица, плеч, рук и всего тела, этологами было подтверждено существование этих фиксированных способов экспрессивного поведения в животном мире и освещен механизм их действия.

Они заметили, что каждое из этих четырех влечений изредка проявляется в чистом виде, например, испытывая предельный ужас во время бегства, тело животного приводится в движение тем единственным побуждением к бегству, которому оно полностью подчинено. Однако в общем случае при различных формах поведения влечения, относящиеся к большой четверке, работают вместе или порознь во всевозможных сочетаниях. Эти различающиеся комбинации влечений представляют собой «вторичные» или «ритуализированные влечения», которые образуют различные виды устойчивых моторных паттернов поведения, наследуемых всеми видами животных, и которые служат различительными характеристиками видов. Этологи дали двойное подтверждение сказанному Дарвином: они обнаружили, что устойчивые паттерны поведения у каждого вида животных с такой точностью соответствуют их виду, что даже не глядя на животное, можно со всей определенностью идентифицировать его, зная как оно ведет себя в разных ситуациях.

Способ, которым выражаются вовне эти «вторичные» сочетания основных влечений (к бегству, агрессии, принятию пищи и совокуплению) крайне интересен. К примеру, самец рыбы колюшки, достигнув зрелости, покидает родовую территорию, чтобы установить собственную. Его новые владения сосредоточены вокруг «гнезда», вырытого им в песке или в грязи и покрытого листьями или мхом. Он устроился и готовится к делу. Двигаясь от центра к периферии, он разыскивает пищу, всегда возвращаясь к основному пункту своей территории. В его владения в поисках пищи часто заплывают другие самцы колюшки; это автоматически вызывает у самца, защищающего свой дом, прилив агрессии, он выбрасывает плавник, так что тот принимает угрожающие размеры, розовеет

от гнева и устремляется прямо на захватчика, атакуя и тесня его. Чем ближе нападающий к гнезду, тем более неистовый гнев это вызывает, и такой захватчик, как правило, признает этот гнев, сам автоматически воспроизводит телесные признаки страха и покорности и незамедлительно ретируется с чужой территории.

Но если рассерженный колюшка продолжает погоню и допускает ошибку, продолжая преследовать врага на *его* территории, происходит неожиданная перестановка: преследуемый самец останавливается, внезапно заливаается краской гнева, расправляет плавник и разворачивается к своему преследователю, который так же неожиданно бледнеет, расслабляет свой тугой плавник и спасается бегством в родную гавань.

Однако если два самца колюшки примерно одного размера встречаются на ничейной территории, эта жестко сбалансированная ситуация порождает особо равновесную комбинацию влечений: по поведенческим и внешним признакам обе рыбы ясно демонстрируют желание атаковать и не менее определенное желание отступить. Они оказались пойманными между двумя влечениями, каждое из которых уравнивает другое. Сохраняя лицо, они могут в конце концов предоставить течению снести себя подальше от соперника, а иногда накопленная ими энергия находит выражение в «замещающем влечении», то есть, предпочитая это нападение или бегству, рыбы могут вдруг, приняв вертикальное положение, опуститься на дно и начать небрежно ковырять носом песок или ил, будто в поисках подходящего места для гнезда. О такой замещающей мотивации мы вспоминаем, глядя на двух мальчишек, стоящих друг перед другом, изготовившись к драке, но побаивающихся начать, ударив первыми; вместо этого они нагибают головы, пристально уставившись в землю и нервно шаркая ногой по траве.

Однако еще более увлекательная комбинация влечений складывается, когда в роли интервента выступает не самец, а самка. С видом полной невинности самка колюшки заруливает во владения молодого холостяка. Поскольку она является захватчиком, агрессивное поведение у самца запускается автоматически, тот соответственно вспыхивает, выбрасывает плавник и атакует самку. Но поскольку она также является особью женского пола, приводится

в действие и другое влечение, поэтому как бы свирепо он ее ни атаковал, его намерение быстро улетучивается и он стремительно проносится мимо, создав великолепный мощный толчок воды, так что она может воочию убедиться в том, какая он сильная и храбрая рыба.

Таким образом, его агрессивные побуждения и влечение к спариванию запрограммированы генетически проявляться совместно, когда средовая ситуация складывается так, что самка вторгается на его территорию. И самец повторяет свои попытки ухаживания снова и снова.

Самке колюшки, в свою очередь, достаются другие поведенческие проявления вторичных влечений. Когда, храбрый и мужественный, самец устремляется к ней, она демонстрирует внешние признаки испуга: бледнеет перед атакующими и пускается наутек; но отступает самка, конечно, не слишком далеко. Самец совершает возле нее свои внушительные броски, толкая самку образующейся при этом мощнейшей волной, она же то отплывает на некоторое расстояние, то замирает: возможно, она испытывает перед ним страх, но она не из *тех, кто* боится. И так, она останавливается в ожидании очередной нежной атаки бесстрашного самца и ее поведение под действием уравнивающих друг друга побуждений к бегству и спариванию приобретает черты так называемой «застенчивости». Иногда самец гоняется за ней по всему водоему, а она делает вид, что будет уплывать всю жизнь; однако обогнав его чересчур далеко, она всегда останавливается и ждет. Но с другой стороны, если самка довольно больших размеров, а самец маленький, у него невыразительный плавник и слабая толкающая волна, можно с уверенностью сказать, что она превратится в агрессора. И небеса не знают фурии, подобно самке рыбы колюшки, презирающей своего ухажера.

Приведенные примеры действия вторичных влечений характерны, конечно, не только для колюшки, и не только для рыб, это, скорее, общеизвестные этологические феномены, наблюдая и изучая которые, ни один человек не может отделаться от своеобразного отождествления себя с животными, о которых идет речь. И факт такой идентификации основывается на том, что люди тоже являются животными и в этом качестве они переживают сходные



паттерны вторичных влечений. Не трудно понять, почему этологи относятся к числу тех, кто любит животных: это проявление любви к себе. Дети, которым в значительной мере свойственна нарциссическая самовлюбленность, от природы всегда прекрасные этологи; без малейших усилий они обнаруживают себя в кошках и собаках, овцах и лошадях, что дается им гораздо проще, чем когда они становятся цивилизованными взрослыми людьми, у которых те же паттерны влечений (или, как говорилось в предыдущей главе, «первоначальное ядро») скрыты за жестким тормозящим и подавляющим воздействием. Чем сильнее подавлен человек, тем более непостижимым и отталкивающим кажется ему поведение ребенка. И маленький ребенок в свою очередь очень отчетливо понимает, что он любит своих родителей, но они не друзья ему, как кот, собака или плюшевые звери.

Несмотря на то, что защита территории и ухаживание у колюшки является обобщенным примером и имеют соответствия среди множества других видов животных, каждый вид, обладая особенным строением тела и обитая в своей специфической среде, реализует эти устойчивые паттерны влечений по-своему, что и составляет содержание этологических исследований. Точно так же, как различаются между собой, несмотря на общее сходство, скелеты животных – от птиц до приматов, – определенные проявления вторичных влечений, распространенные среди сотен видов, существуют у них в различающейся, но сходной форме. Но также как в морфологии, где описывается как сильно утконос отличается по телесной структуре от морского ежа, в этологии приобретенное и филогенетически унаследованное поведение муравья разительно отличается от таковых у летучей мыши.

Этологические исследования, поскольку они связаны с формами поведения, специфичными для каждого вида животных, сосредоточены на эволюционных процессах: этологией изучаются те фиксированные моторные паттерны, которые передаются генетически через нейрофизиологию видов, а не выученное поведение. На протяжении последних нескольких столетий, большей частью проходивших под эгидой научной деятельности, ученые, исследовавшие проблемы поведения, равно как и философы, исходили из предположения, что поведение животных (включая человека) яв-

ляется продуктом научения, происходящего в процессе переживания опыта адаптации к среде. Однако это совсем не так: некоторые способы поведения приобретаются научением, другие врождены и в большинстве своем поведенческие навыки являются следствием постепенного проявления врожденной «светокопии»<sup>12</sup> под воздействием специфических характеристик окружающей животное среды.

Существование филогенетически наследуемых поведенческих паттернов не нуждается в подробной аргументации. Люди и все остальные животные рождаются с ними; они входят в сокровищницу ценной для выживания информации, приобретенной самими каждым вида об их среде. Если живой организм обнаруживает наличие у него определенной информации о среде, вопрос заключается лишь в том, пришел ли он к обладанию этой информации онтогенетически (т.е. благодаря опыту, приобретенному после индивидуального рождения) или филогенетически (т.е. имея генетическую «светокопию» этой информации, содержащуюся в нейрофизиологической организации всех представителей его вида). Так же несложен и метод, с помощью которого можно ответить на этот вопрос: вырастить животное, исключив для него всякий доступ к означенной информации, и затем произвести эксперимент, чтобы выяснить, владеет ли оно информацией, которую не имело возможности приобрести из опыта взаимодействия со средой. Этим методом этологами были выделены и изучены множество устойчивых поведенческих форм, а также множество видов закодированной информации, готовой к применению в определенной средовой ситуации еще до того, как произошло какое бы то ни было научение.

Примеры филогенетически приобретенных информации и поведения почти нескончаемы. Отдельной иллюстрацией мог бы послужить открытый К. Хофманом особого рода вычислительный

---

<sup>12</sup> светокopирование – способ копирования документов, основанный на свойстве химических соединений, входящих в состав специальной бумаги, разрушаться под действием света, сохраняясь там, куда свет не попал (скрытое изображение); для получения видимого изображения светокopию обрабатывают в особом растворе.

механизм у скворца, дающий ему возможность ориентироваться, устанавливая румбы по солнцу – причем скворцу до этих пор не позволялось видеть солнце. Следующим примером являются безошибочные, хирургически точные действия богомола, атакующего и схватывающего свою добычу. Еще один пример – неизменное поведение селезня во время ухаживания, вызывающее в ответ специфическое поведение у утки, исключительно принадлежащей его виду. Или реакция бегства у дикого гуся, видящего силуэт определенных размеров, характерным образом перемещающийся на фоне неба. Или «сбивание в стаю» у гусей, собирающихся напасть на оробевшую лису, когда та подкрадывается к кромке воды.

Еще более удивительны филогенетически приобретенные способности муравьев, придерживающихся своего курса к дому и от него, определяя направление по солнцу. Или тот способ, которым самец паука-скакуна, воспитанный в полном неведении относительно более крупной и свирепой самки, «узнает», относится ли она к его виду, и точно «знает» какие движения ему надлежит совершить, исполняя соблазняющий танец, которые, окажись они ошибочными, привели бы к тому, что он был бы тут же сожран самкой; однако несмотря на отсутствие средового научения он не допускает ошибок. Так же как молодой стриж, выросший в приглушенном освещении, которое не давало ему возможности научиться фокусировать взгляд, и будучи заключенным в ограниченном пространстве, где он не мог ни расправить крылья, ни взмахнуть ими, чтобы испытать их в действии, выпущенный на волю, сумеет тотчас же оценить расстояния до объектов, продемонстрирует владение тонкими полетными характеристиками, необходимыми для преодоления сопротивления воздуха, восходящих воздушных потоков и т.п., *сможет* опознать и схватить добычу и совершить прекрасную посадку в идеально подходящем для этого месте.

Восхитительный пример запрограммированного заранее «светокопирования» среды приводят нам Бремер и Швассман, описывая каким образом известная рыба-луна (*Centrarchidae*) ориентируется в своих передвижениях с помощью солнца. Рыбу-луну находят только в Северной полушарии и известно, что она ориентируется по движению солнца. Если рыбы этой породы выращены в искусственном освещении, а затем выпущены в свободное

плавание, они непосредственно знают, как определить свое местоположение. Но если их вывезти в Южное полушарие и поместить в воду под открытым солнцем, они обнаруживают перевернутую ориентацию: в соответствии с показаниями их компаса солнцу «следовало бы» двигаться слева направо, но находясь в Южном полушарии, они ориентированы так, что для них оно движется справа налево. Комплекс полученной ими филогенетическим путем информации был рассчитан на средовые условия Северного, а не Южного полушария.

Эти и многие другие этологические исследования со всей очевидностью доказывают, что нет животного, которое приходило бы в этот мир подобным пустой скорлупе, подобно *tabula rasa* ожидающим соответствующего опыта, чтобы вписать на нее свой урок. Действительно, ни одно новорожденное животное не является «молодым», это бесконечно старое создание с длительной историей, столь же древней, как само биологическое время, если не более. Каждый человек, каждое животное рождается в этом земном окружении, вооруженное соматической мудростью, зашифрованной нейрофизиологическим кодом в его живом теле. Особые комбинации влечений, генетически установленные для каждого вида, представляют собой нерастворимый осадок действующих поведенческих паттернов, благодаря которым данный отдельный вид выжил и процветает в окружающих его средовых условиях определенного типа. В этих генетических светокопиях может быть заложена информация об очень специфических вещах, таких как, например, неимоверно точные действия богомола и шершня, убивающих жертву; в других случаях это лишь общая реакция – например, зрительно-моторный ответ на определенный силуэт, форму, цветное пятно или характер движения. Несомненно, все животные также обязательно изучают (т.е. осваивают) свою среду; они вступают во взаимодействие с характерными условиями, которые должны преодолеть, чтобы выжить, и приобретаемый таким образом опыт увеличивает эффективность их соматически-обоснованных устойчивых моторных реакций. Те, кто лучше адаптирован, будут иметь больше шансов на выживание и эти хорошо адаптированные сомы будут множиться в потомстве, которое будет лучше соответствовать своей среде по сравнению с

потомством других животных, тех, которые были хуже адаптированы. Таким образом, все животные виды несут в себе структурированное прошлое, они постоянно приводят свои поведенческие структуры в соответствие с особенностями существующей на настоящий момент среды и следовательно в свою очередь генетически передают эти структуры прошлого и настоящего поколениям будущего, которые затем сами подхватят этот процесс. У преуспевающих видов эти наследуемые структуры становятся все более и более «пластичными», более употребимыми в целях адаптации и средового научения. Неограниченная способность к обучению у человека является филогенетическим наследством и его «пластичность» подтверждает тезис, гласящий, что чем сложнее становится что-либо, тем оно менее специализированно: оно становится более широко приспособляемым. В этом пункте Эрнст Кассирер и Маршалл Мак-Люэн поспешили бы согласиться с Лоренцем.

Этология, таким образом, учит нас тому, что ни одно существо не бывает ничем не заполненным, ни одна сома не является пустой оболочкой, которая должна наполниться информацией о среде. Скорее, каждая сома представляет собой структурированный нейрофизиологический организм, готовый вступить во взаимодействие со средой и далее совершенствовать и адаптировать свое поведение. Фиксированные моторные паттерны не ждут стимула, исходящего от среды; животное не может быть уподоблено машине, ожидающей, чтобы мир нажал на ее пусковую кнопку. Фиксированные моторные паттерны *ищут* стимула, который привел бы их в действие, и если стимул отсутствует, внутренний высвобождающий механизм запустит «реакцию» без стимула. Домашние перекормленные собаки и кошки, которым нет нужды охотиться за пищей, тем не менее знакомы с этим понятием, поскольку есть внутренние механизмы высвобождения [побуждений], которые заставляют их красться, гнать, хватать, кусать и трепать до смерти реальное или воображаемое животное. Их вынуждает делать это не голод – их первичное возбуждение, – а вторичное филогенетическое стремление охотиться, которое, будучи влечением, самовысвобождается даже в отсутствие стимула, запускавшего охотничье поведение у их собачьих и кошачьих предков.

У Лоренца был ручной скворец, воспитывавшийся в полной изоляции от других птиц, который никогда прежде не ловил мух и по понятным причинам не видел, как это делают другие пернатые. Его при этом довольно хорошо кормили. Однажды Лоренц застал маленького проказника покинувшим клетку; он, загнув голову, поглядывал на высокий потолок и видно было, что он что-то высматривает. Затем он вдруг взлетел к потолку, что-то клюнул, вернулся на свою жердочку, еще одним движением добил жертву, проглотил ее и наконец удовлетворенно встряхнулся, как это делают некоторые птицы, когда им достался лакомый кусочек. Лоренц сходил за стремянкой и взобрался к потолку, посмотреть: мух там не было. Скворец повторял свои действия снова и снова, но вокруг не было ни одной мухи. Голоден он был или нет, у скворца пришла в действие вторичная мотивация, побуждающая его охотиться, схватывать, убивать, глотать и отряхиваться; существующее внутри такого устойчивого моторного паттерна напряжение по существу приводит к тому, что происходит внутреннее высвобождение; усилия и соответствующие данному паттерну движения совершаются в действительности, даже не подкрепленные наличием жертвы. Этот эпизод лежит в основе некоторых выводов относительно этиологии человеческих галлюцинаций, которые психиатрия не может обойти вниманием.

Лоренц, как и Фрейд (и Пиаже), понимал, что все живые тела имеют тенденцию стремиться к равновесию телесной энергии, гомеостазу, при котором сома в целом функционирует свободно и эффективно, а течение энергетического потока устойчиво. Если такое устойчивое распределение энергии нарушается, животное испытывает рост внутреннего напряжения. Фрейд называл это напряженное состояние состоянием «неудовольствия». Органическое напряжение автоматически ведет к тому, что организм начинает вести себя в соответствии с запрограммированными заранее моделями нейрофизиологических событий, и провоцирует внешнее поведение, помогающее освободиться от этого напряженного состояния. Если говорить обыденным языком, животное «чувствует желание или необходимость в чем-либо и действует ради их удовлетворения». В терминологии Фрейда, животное переживает чрезмерное напряжение энергии в какой-то части организма и вы-

зывает разрядку этого неприятного энергетического скопления, чтобы вернуть себе ощущение удовольствия, сопровождающее органическое равновесие и покой.

Желание и его удовлетворение, неудовольствие и удовольствие, дисбаланс и гомеостаз: вот три способа говорить об одних и тех же вещах, причем говорить о них на соматическом языке, описывающем поведение всех представителей животного мира.

Мы с вами являемся существами животного мира. Мы с вами по какой-то причине непрестанно гонимы желаниями, поднимающимися у нас изнутри и не зависящими от нашего «сознательного» выбора. И вы, и я вынуждены действовать ради удовольствия и насыщения этих потребностей; мы должны придать своей битве со средой определенные формы, чтобы удовлетворять эти желания требуемым ими способом. И когда они удовлетворены, вы и я – как и все славные животные – ощущаем свободу, счастье и покой, которые, правда, будут временными. По мере того, как наша сома в свойственном ей ритме пульсирует во времени, а окружающий мир, меняясь, бросает нас в новые ситуации и сталкивает с незнакомыми стимулами, мы переживаем все новые волнения и настроения, а также перегруппировки напряжения, и вынуждены вновь пускаться в деятельность и без конца искать дальнейшего удовлетворения. Не существует конечного счастья – оно всегда изменчиво, но и конечного несчастья не существует – оно изменчиво тоже. Жизнь и есть это вечно возобновляющееся движение маятника между ожидаемыми удовлетворениями, которое убаюкивает нас и притупляет остроту наших желаний. Но с каждым взмахом маятника в процесс привносятся точные коррективы: мы немного больше узнаем о той грызущей неудовлетворенности, которая движет нами, и о том, что мы можем предпринять, чтобы заставить наш мир приносить удовольствие. Наконец, если мы – здоровые сомы, мы учимся и адаптируемся; если мы сомы нездоровые, мы не принимаем во внимание ни наши внутренние императивы, ни многочисленные возможности, существующие в мире, и не приспособливаемся к ним: старинный дар жизни становится тяжкой ношей и мы едва влачим наше существование.

Мы с вами сомы, великолепные сомы древнего и совершенного вида. Мы несем бесконечные богатство и мудрость, к которым

пока не пробудились. Этология учит нас, что наше сознание это только часть нашего соматического бытия, причем та, которая, к несчастью, не подозревает о массиве сложного опыта, которому она обязана своим происхождением. У других животных совсем отсутствуют эти понятийно-речевые возможности существа сознательного; они являются нерасчлененными сомами, но сомами, живущими теми же базовыми влечениями и потребностями, которые испытываем и мы. Тем не менее другие сомы – в своей нерасчлененности – управляют своими маятникообразными соматическими циклами с гораздо большей уверенностью, в гораздо меньшей степени переживая при этом неловкость или печаль.

Великий и предостаточно бранимый Назарянин, которого не перестают распинать его собственные ученики, высказал две глубокие в этологическом и соматическом понимании истины: «Царство Божие внутри вас» и «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Читайте вместо «Бог» – «сома», а вместо «дети» (хотя это и не обязательно) – «животные», и вполне вероятно, вы получите прекрасную проповедь, чтобы повести нас в грядущий век.



## 4. Ментальная эмбриология: Пиаже

Жан Пиаже – человек бесстрастный: он шел своей дорогой, во всем поступая точно в соответствии со своими желаниями и удовлетворяя их так, как находил нужным. Такие люди всегда вызывают неприязнь, поскольку большинство настаивает, что все делается именно так, как *они* себе затвердили. И, естественно, психологический истеблишмент десятилетиями упрекал Пиаже в небрежности при проведении экспериментов, у которых нет достаточно ясного описания, контролируемой процедуры и точных данных, и результаты которых заведомо не поддаются проверке. Кроме того, он слишком много теоретизирует – верный признак ереси. Для слушателей аспирантуры по психологии Пиаже – истинная находка: они могут сравнить свои небольшие сжатые методички с его свободными беспорядочными процедурами и это наполняет их гордостью и заставляет чувствовать себя взрослыми.

Но как почтенный старый гризли, Жан Пиаже, следуя именно этой беспорядочной манере, приходит к пятидесятой годовщине своих исследований слишком поглощенный своими мыслями, чтобы замечать тьяканье шавок на заднем плане. Проблема в том, что Пиаже – революционер; более того, он гений наблюдения и раскрытия человеческих тайн – двойное преступление. Работа Фрейда подвергалась такому же осуждению; и это сходство в их судьбе не случайность: Пиаже стоит рядом с Фрейдом как вторая по величине фигура революции в науке о человеке.

На общепринятом языке Пиаже звался представителем психологии развития; сам о себе он говорит как о «ментальном эмбриологе» – одном из тех, кто изучает пути развития и созревания человеческого интеллекта до его взрослого состояния.

Его работа является прямым дополнением работы Фрейда: тогда как Фрейд исследовал относящиеся к изначальным процессам 90 процентов человеческого айсберга, которые погружены в воду, Пиаже поставил своей задачей изучение верхних, выступающих 10 процентов айсберга, которые включают в себя развившиеся позднее «вторичные процессы» – сознание и понятийное мышление. Затрагивая человеческое восприятие лишь частично, он в первую

очередь интересовался развитием интеллекта, этого чрезвычайно действенного устройства, которое мы используем, чтобы понять смысл окружающего и приобрести над ним активный контроль, необходимый для нашего выживания и совершенствования.

Жан Пиаже является соматическим ученым и не нужно удивляться что, как и у Дарвина, Фрейда и Лоренца, интересы его лежат в области биологии. Частью самой ранней экспериментальной работы, выполненной Фрейдом, было определение местоположения половых желез у самца угря. Что касается Пиаже, его первая работа проводилась с моллюсками и даже спустя несколько десятков лет после начала его исследований в области ментальной эмбриологии он публикует статьи по малакологии<sup>13</sup>.

Родившийся в Швейцарии, в ее французской части, Пиаже получил докторскую степень по естественным наукам в 1918 г., когда ему было двадцать два, в Университете Невшателя. Спустя короткое время он в Париже – проводит исследование со школьниками в знаменитых лабораториях Алфреда Бине, создателя интеллектуальных тестов. В течение двух лет Пиаже работал с детьми, изучая их ответы на различные типы тестовых вопросов. Однако воображение его занимала не классификация детских способностей при ответах на эти вопросы, а, скорее, неспособность детей в определенном возрасте ответить на некоторые простые вопросы, которые кажутся понятными ребенку чуть более старшего возраста, но совершенно сбивают с толку младшего ребенка. Пиаже было очевидно, что вещи, которые взрослые люди полагают автоматически «понятными» каждому, в том числе и детям, не являются в принципе «понятными». Действительно, умение признавать простые «истины» относительно пространства, времени, количества, движения, скорости и даже умение давать самые «понятные», элементарные объяснения это не природная способность, которой человеческое дитя обладает с самого начала, а навыки, которые достигаются ребенком не сразу, проходя ряд этапов развития. К тридцати годам Пиаже стал известен своими остроумными исследованиями, дающими новое осмысление способа видения и понимания детьми их мира. Он продолжает их, совершенствуя, рас-

---

<sup>13</sup> малакология – раздел зоологии, изучающий моллюсков.

ширяя и теоретически разрабатывая свои представления об этих этапах развития.

Как до него Дарвин, Пиаже проводил наблюдения за собственными детьми и эти ранние находки были захватывающими. Его дочь, Жаклин, примерно в восьмимесячном возрасте, увидев свою игрушку – утку, протягивала руку и брала ее; однако стоило утке завалиться за складку одеяла на ее постели, она переставала тянуться за игрушкой, несмотря на то, что та была в пределах досягаемости, хотя вне поля зрения. Пиаже давал ей в руки утку, позволял трижды ее потрогать и затем, пока она на нее смотрела, снова ронял за складку одеяла; Жаклин не пыталась достать игрушку, поскольку для нее в ее восемь месяцев игрушечная утка переставала существовать, как только исчезала из поля зрения – ее просто *не было*.

Но сообразительность Жаклин росла. К десяти с половиной месяцам она продолжает следить за своей игрушкой, даже когда та выходит за пределы видимости; однако в ее манере слежения есть нечто любопытное. Пиаже брал игрушку и – когда она на нее смотрела – клал под матрас в ее кровати с левой стороны. Маленькая Жаклин «интеллигентно» протягивала руку и доставала спрятанную слева игрушку. Но потом – по-прежнему сопровождаемый ее взглядом – он перекладывал игрушку под матрас с правой стороны и наблюдал, что она станет делать. В ответ на это Жаклин, наклонившись вперед, тянулась под *левую* сторону матраса, где игрушка была спрятана вначале. Раз за разом Пиаже делал вид, что прячет игрушку справа под матрасом, но вне зависимости от того, сколько раз она видела, как он это делает, Жаклин продолжала искать ее слева. Очевидно она считала, что найденная с левой стороны в первый раз, игрушка будет находиться там всегда, независимо от того, где еще ее прятали. И из этого становится ясным, что восприятие и интеллект маленького человека не столь «понятны», как нам это казалось.

Мы еще вернемся к этим тонким и позволяющим по-новому взглянуть на вещи экспериментам Жана Пиаже, однако я думаю вам также будет небезынтересно узнать, *как* Пиаже при собственной ему невозмутимости расценивает человеческие существа и развитие их интеллекта – этих верхних 10 процентов чело-

веческого айсберга. Он мыслит чисто соматически. Абсолютно так же как Фрейд, Пиаже рассматривает человека не как «личность», а как биологический организм, явившийся продуктом эволюционного отбора и продолжающий изменяться, развиваться и адаптироваться к своей среде. Пиаже отдает себе отчет, что в наиболее фундаментальном биологическом смысле он не может сделать ни одного утверждения относительно базовой природы человеческого организма, которое не относилось бы в равной мере ко всем остальным живым организмам. Подобно всем ученым соматического направления, он знает, что единственный путь к пониманию животного, называемого человеком – это поставить его рядом со всеми остальными представителями животного мира; только такое прямое и четкое сопоставление даст нам возможность когда-либо выяснить, какими действительными отличиями обладает человеческий вид, а также что общего между человеком и другими видами животных.

Двигаясь от моллюсков к человеку, Пиаже не покинул биологию ради того, что мы считаем психологией; он остался биологом. Есть заданные биологические процессы, которые действительны для организма всех животных, моллюски ли это, люди или норвежские мыши (в таком уравнивании всех животных американская психология находится на верном пути); однако способ, посредством которого каждый данный вид, обладая общими функциями, развивается как вид, разнится от одного вида к другому (не признавая этот последний биологический факт, американская психология обособилась, оставив поле поведенческих исследований за этологией).

Что же это за «одинаковые» биологические процессы, которые человеческие сомы делят со всеми остальными сомами? Пиаже они видятся как характерная органическая структурная организация и органические функции, которые способствуют активной адаптации организма – человеческого или любого другого – к его среде обитания. Исследования Пиаже основываются на строгих эволюционных и биологических представлениях о человеческом существе и эта прочная база определяет столь широкое влияние его работы.

Подобно всем остальным относящимся к живому феноменам, интеллект имеет определенную *организацию* и наделен определенными *функциями*; он имеет также непрерывно меняющееся *содержание*, но последнее, поскольку оно подвижно, представляет для Пиаже менее непосредственный интерес. С момента рождения постоянной функцией человеческого интеллекта является адаптация к окружающему миру. Но адаптация – направленный в ту и в другую сторону процесс обмена между соматической организацией человека и структурой окружающего мира. Новорожденный начинает заниматься адаптацией к миру, имея хрупкую детскую телесную организацию, которую он наследует; он берет эту начальную структуру и через предполагающий взаимные уступки процесс адаптации постепенно меняет, регулирует, растит, расширяет и обогащает эту первоначальную соматическую организацию. Со временем он приобретает опыт сосания, доставания и захвата рукой, визуального обнаружения и слежения за предметами: это процесс его адаптации к миру.

Однако поскольку занятие адаптацией представляет собой обмен, это улица с двухсторонним движением. Иногда развивающийся человек вынужден «уступать» окружающим предметам и *приспособляться* к ним: младенцу не удастся пососать или согнуть твердое пластмассовое кольцо, свисающее над его кроваткой; он должен уступить ему и познакомиться (т.е. адаптироваться) с его жесткостью и гладкими округлыми очертаниями. В другое время человек в процессе своего развития заставляет окружающие предметы «уступить» ему, он *уподобляет*<sup>14</sup> их себе и своей телесной структуре: младенец придает форму соске и располагает ее во рту в соответствии с существующей у него врожденной моторной моделью сосания, и как только молоко или другое питательное вещество достигает его желудка, химическая структура пищи разрушается в его теле желудочными соками, которые заставляют

---

<sup>14</sup> Зангл. тексте книги используются глаголы *accommodate* и *assimilate*; согласно психологическим воззрениям Пиаже, процесс развития понимается как взаимосвязь аккомодации и ассимиляции: при ассимиляции организм как бы накладывает на среду свои схемы поведения, при аккомодации перестраивает эти схемы соответственно особенностям среды

пищу уступить потребностям его телесной организации и быть усвоенной ею.

Итак, следовательно, это рабочие термины Пиаже: организация и адаптация (аккомодация или ассимиляция), и этими понятиями объясняется не только развитие всех живых организмов, они к тому же служат для объяснения развития человеческого интеллекта. Пятидесяти лет экспериментальной работы потребовали стадии развития, преодолевая которые организованная структура человеческого интеллекта росла, изменялась и адаптировалась к окружению путем постоянного взаимодействия аккомодации и ассимиляции.

Первая организованная структура интеллекта, с которой имеет дело только что родившийся младенец, это сосание: младенец вначале способен узнавать свой мир, только когда он сосет этот мир. Поэтому он непрерывно сосет соски, пальцы, простыни, одеяла, пустышки, игрушки, пластмассовые кольца; он узнает, что одни предметы годны для сосания и съедобны, другие годны, но несъедобны; он узнает и то, что некоторые вещи хорошо сосутся, они мягко поддаются, создавая полный комфорт для губ, десен и языка (он ассимилирует их), другие тоже сосутся, но они жестче, они неподатливы и поэтому ему приходится приспособливать губы, десны и язык к их упрямым формам. То, что делает ребенок, называется обучением: сообразно его сосательной организации он адаптируется к различным объектам из своего мира. Он постепенно классифицирует эти объекты на «съедобные и несъедобные», «мягкие и твердые», «принимающие и не принимающие форму рта». Ребенок начинает с данной ему минимальной биологической организации, которую использует для адаптации к миру; он осмысливает мир, пользуясь единственным организованным средством, смысл которого ему доступен: своим врожденным устойчивым моторным паттерном сосания.

Однако по мере того, как тело младенца становится более зрелым, в нем пробуждаются новые организационные структуры и таким образом он приобретает новые способы адаптации к миру. Он учится трогать, ощупывать и брать в руку предметы. К его таланту «сосания» теперь присоединился проявившийся позднее талант «хватания»; к примеру, это пластмассовое кольцо, свисающее

над кроватью – оно не только сосется определенным образом, как несъедобный предмет, оно еще обладает гладкой поверхностью, жесткостью, сопротивлением и самопроизвольно покачивается, выскакивая иногда из руки. Как это описывает Пиаже, «схема хватания» накладывается на «схему сосания», давая две координаты, два способа, которыми ребенок фиксирует предметы. В конце концов к ним присоединяется «схема зрения» и младенец узнает, что кольцо не только определенным образом сосется и берется рукой, но и как-то выглядит: имеет визуальную форму и особый цвет. У ребенка есть теперь три способа идентификации предметов и его талант идентификации приобретает большие практическую и эффективность, становится более приспособленным к его ближайшему окружению. Одним словом, он становится более сообразительным.

Таков прямой биологический подход, которого Пиаже и его коллеги придерживались в отношении развития человеческого интеллекта. На этой ранней, начальной стадии его трудно квалифицировать как интеллект; тем не менее это именно интеллект: примитивный и настолько незаменимый, что без него было бы невозможно построение все более и более сложной системы сенсомоторных координат и развивающихся позднее, в юности, понятийного и речевого мышления. У детей происходит нечто подобное истории с Хелен Келлер<sup>15</sup>: вибрации человеческих слов не имели для нее никакого значения, пока не связались с уже проявившимися у нее сенсомоторными способностями; однако как только соединение произошло, случилась удивительная вещь: многозначный мир понятий как бы вдруг выскочил повсюду вокруг, чтобы Хелен Келлер завладела им и полюбила его.

Развитие человеческого интеллекта с годами стало рассматриваться Пиаже и его сотрудниками по Институту Жана-Жака Руссо в Женеве как процесс, распространяющийся на три совершенно отдельных периода. Первым наступает период развития сенсомоторного интеллекта; это тот промежуток времени с момента

---

<sup>15</sup> Хелен Адамс Келлер (1880–1968) – амер. слепоглухонемая; овладела звуковой речью, стала педагогом и литератором; олицетворяет мужество и упорство в преодолении трудностей; героиня пьесы У. Гибсона «Сотворившая чудо» (1959).

рождения почти до двухлетнего возраста, который мы только что частично обсудили. Следующий период распространяется на возраст от двух приблизительно до одиннадцати лет, когда ребенок с очаровательной непоследовательностью начинает учиться понимать, оценивать и описывать свой мир. К одиннадцати годам, с началом пубертата, он вступает в заключительную фазу, которая, как правило, заканчивается около пятнадцати лет: это период «формальных операций», в течение которого подрастающий человек способен эффективно мыслить не только о вещах, которые он видит, но может думать и абстрактно – о том, чего он не видит или о том, что может случиться. Этот завершающий период совершенствования интеллекта может продлиться бесконечно долго, лучший пример чему – Жан Пиаже, чьи исследования все еще продолжаются в его семидесятилетнем возрасте<sup>16</sup>.

Уже невозможно отделаться от того факта, что когда человек с амбициями Жана Пиаже получает институт и поддержку коллег и ему в течение пятидесяти лет позволяет экспериментировать и выстраивать теории, получаемый в результате материал выходит ошеломляющим. То же можно сказать об итоговой концепции Пиаже о развитии познавательной способности и интеллекта человека и его основном проекте по, как он выражался, «генетической эпистемологии», которые в равной степени значительны и нет смысла описывать их в двух словах. В отношении неизбежной сложности его работы он выдерживает еще одно сравнение с экстраординарной личностью Фрейда. В свете этого хотелось бы в самых общих чертах набросать его методологию и привести его основные выводы, касающиеся «психологии развития», дав попутно несколько примеров.

Следовало бы однако сделать одно дополнительное замечание относительно теории человеческого познания Пиаже и связано оно с тем, что он рассматривает как постоянное биологическое стремление к достижению «равновесия» в ходе поступательного развития человеческого интеллекта. Пиаже подходит к пониманию того, что при развитии человеческого интеллекта от одного

---

<sup>16</sup> «Восстание тел» опубликовано в Нью-Йорке в 1970 году, за десять лет до смерти Жана Пиаже



этапа к другому наступление этих достаточно ясно выраженных стадий приходится на те промежутки времени, когда функции аккомодации и ассимиляции находятся в балансе, когда человек достигает счастливого равновесия, «уступая» среде ровно настолько, насколько он вынуждает среду «уступать» ему. Для человека в его непрерывном общении с окружающим миром это состояние баланса оптимально. Оно заслуживает упоминания, поскольку убежденность Пиаже в том, что человеческий интеллект (верхние 10 процентов соматического айсберга) стремится свои функции, прямо соответствует тому, на чем настаивал Фрейд: что «первичные процессы» (нижние, неосознаваемые 90 процентов соматического айсберга) с тем же упорством пытаются удержать состояние устойчивого гомеостаза энергии, которое соответствует спокойному – оптимальному – состоянию удовольствия. И конечно, если мы вспомним, что и Лоренц заявлял, что тела всех животных имеют тенденцию поддерживать гомеостаз, а фиксированные моторные паттерны запускаются, когда в теле животного существуют дисбаланс и напряжение – если мы вспомним об этом, перед нами окажется впечатляющее трио глашатаев соматического, чью взаимодополняемость невозможно обойти вниманием: все сомы стремятся к оптимальному гомеостатичному состоянию и когда оно отсутствует, сома вынуждена прибегнуть к адаптивной деятельности, функция которой – достижение гомеостатического баланса.

Пиаже продемонстрировал нам, подтвердив это экспериментами, не менее захватывающими, чем у его коллег, этологов, что то, что мы, взрослые люди, считаем «самим собой разумеющимся вовне, в мире», в принципе не является самоочевидным; что способ, которым мы видим и осознаем наш мир является приобретением, результатом медленного развития; и что все мы, будучи детьми, воспринимали и осознавали мир совершенно – поразительно – отличным образом. На каком-то этапе мир предстает перед нами в одном качестве, на более поздних стадиях он *становится* другим миром и в так называемом взрослом периоде мы имеем дело с какой-то еще его разновидностью; поэтому, если встает вопрос: «Какая же это, в конце концов, из разновидностей мира?» – обнаруживается потрясающий ответ: «Какой в конечном итоге снаружи мир – зависит от стадии развития восприятия и

познавательной деятельности, которой достигли люди по отношению к своему миру». Такой ответ подразумевает следующее головокружительное умозаключение: если человеческие существа и их познавательные структуры, мутируя, превращаются во что-то новое, известный им мир также мутирует в нечто новое. Этот дополнительный вывод содержит в себе конечный поворот соматической мысли, прорыв за пределы наивного «объективного» мышления, характеризующего нашу традиционную культуру. Пиаже, в общем, игнорировал труднодоступную для тестирования деятельность восприятия и сосредоточил все свое внимание на интеллектуальном познании, легче поддающемся лабораторной процедуре. Единственной работой, где сходным образом рассматриваются способы восприятия «того, что существует», является мое исследование *Иное: опыт сущностной проекции*, книга, которая была закончена непосредственно перед тем, как я приступил к этой настоящей работе.

Я очень ясно помню, когда я был совсем маленьким, мой друг, Бубба Дэвис, и я нашли в поле за моим домом электрический выключатель, большой металлический выключатель – того типа, у которого рукоятка двигается взад и вперед, отключая центральный ток, подходящий к дому. В то же утро мы сели в тени и принялись опробовать наши новые возможности: мы использовали выключатель для того, чтобы включать и выключать ветер. Иногда ветер немного медлил подчиняться нашему выключателю, но в конце концов он прекращался и тогда мы щелкали рычажком и ждали, что он подует снова. Нам было в то время около пяти или шести и наше понимание причины ветра было типичным для этого возраста.

Пиаже тщательно изучил стадии развития детского понимания причинности. Первая стадия – магическая: ветер движется, потому что движемся мы. За ней следует стадия «искусственности»: Бог или люди (например, два маленьких мальчика с чудесными выключателями) вызывают ветер и движение облаков. Приблизительно к семи годам наступает третья стадия понимания, когда мы знаем, что облака каким-то образом перемещаются сами, но на самом деле не знаем почему – может быть солнце или облака действуют вместе. Однако к восьми годам развивается четвертая стадия

понимания и мы приходим к мысли, что ветер должен ускорять движение облаков, но в то же время мы уверены, что облака сами производят ветер, который их подталкивает – своего рода самообусловленность. Примерно к девятилетнему возрасту большинство детей способны думать о ветре, как об одном отдельном явлении, а об облаках, которые толкает ветер, – как о другом. Это простой пример развития интеллекта человеческого ребенка в отношении понимания причинности; упомянутые возрастные рамки не являются фиксированными – всегда имеются отклонения, – однако неизменна последовательная смена стадий и дети продвигаются от стадии к стадии, пока не достигают наконец «правильного», свойственного взрослым понимания причинности.

Еще более интересным является постепенное развитие человеческой способности к пониманию количественных отношений. Пиаже брал шар из глины и просил ребенка сделать еще один шар точно такого же размера. Когда он был готов, Пиаже откладывал один из глиняных шаров, а другой расплющивал в блин. Он спрашивал ребенка, состоит ли расплющенный шар из такого же количества глины, что и круглый, и дети разного возраста неизменно говорили, что в плоском куске *меньше* глины. С другой стороны, в том случае, если затем он берет глину и раскатывает ее наподобие длинной колбаски, ребенок отвечает, что в колбаске *больше* глины, чем в шаре. Это означает, что на ранних стадиях нашего понимания мира у нас отсутствует твердое представление о сохранении вещества. Даже когда ребенок участвует в эксперименте и все видит своими глазами, он не способен относиться к количеству вещества как к чему-то постоянному.

Пиаже провел тот же эксперимент на понимание количества по-другому. Он показывает ребенку чашечные весы, кладет на лотки два одинаковых глиняных шара и показывает ребенку, что они имеют равный вес: весы уравновешены. Потом он берет один из глиняных шаров, меняет его форму и спрашивает у ребенка туда или сюда склонятся весы, если положить на них колбаску или блин; и дети утверждали, что глина, имеющая форму колбаски, окажется тяжелее, а блин – легче!

Эти же эксперименты на сохранение количества еще одного – третьего – вида должны выполняться с постоянными объемами.

Пиаже берет два идентичных стакана с одинаковым количеством воды и опускает в них два одинаковых глиняных шара; в обоих стаканах вода поднимается на один и тот же уровень. Однако он снова меняет форму одного из кусков глины и снова ребенок предсказывает, что вода поднимется выше, когда глина имеет форму колбаски и окажется ниже, чем в другом стакане, если кусок блинообразной формы.

Полученные в этих экспериментах данные, касающиеся сохранения вещества, веса и объема, подтверждают не только наличие у западноевропейских детей постепенно развивающихся стадий (фаз равновесия) в понимании описанных трех аспектов количества, но и – что самое удивительное – то, что маленький человек начинает «правильно» понимать их не одновременно. Он улавливает идею сохранения вещества около восьми-десяти лет; затем, от десяти до двенадцати, он знакомится с сохранением веса; и наконец в двенадцатилетнем возрасте или чуть раньше у него прививается представление о сохранении объема.

Кроме того Пиаже попытался выделить этапы развития способности ребенка мыслить логически и получил некоторые весьма неожиданные результаты. Чтобы иметь возможность наблюдать, как ребенок младшего возраста рассуждает, когда пытается классифицировать различные объекты, Пиаже давал малышу два красных и два синих пластмассовых квадратика и пяти синих кружков. У ребенка есть, казалось бы, два пути классификации этих объектов: 1) на красные и синие (в число синих входят и кружки, и квадраты) или 2) на квадратные (красные и синие) и круглые. Когда младших детей в этой ситуации спрашивают: «Являются ли *все* синие фигуры кругами?» – они обычно дают «правильный», логичный ответ: «Нет». Пока все хорошо. Но затем, когда им задают совершенно «понятный» вопрос: «Все ли кружки синие?» – несмотря на то, что из круглых объектов перед ними находятся только синие, они, как правило, отвечают: «Нет, не все кружки синие, потому что есть еще синие квадраты». Приведенный пример «нелогичной» классификации у детей младшего возраста прекрасно демонстрирует как то, что человек «думает» может противоречить тому, что он «видит» прямо перед собой.

Сходные результаты были получены Пиаже при исследовании детского понимания движения, скорости, времени и пространства. Например, как это бывает у младших детей, если с одного края стола на другой движутся два игрушечных поезда, один по прямой колее, а другой по рельсам, имеющим постоянную кривизну, они всегда думают, что оба поезда покрывают *одинаковое расстояние*, хотя по изогнутым рельсам поезд проходит вдвое большую дистанцию. Для ребенка точкой, относительно которой производится сравнение, служит конечный пункт: то, что случается между начальной и конечной точками, просто не может входить в его расчеты. То же с пониманием времени у ребенка: какая вещь больше, та и старше; если чья-то девятилетняя сестра выше одиннадцатилетней, значит старше так из сестер, которой девять лет.

Некоторые основные примеры того, как мы медленно овладеваем пониманием пространственных отношений, которое не дано нам от рождения каким-то априорным образом, получены в экспериментах, проведенных в конце пятидесятых. Детям показывали прозрачную бутылку с подкрашенной водой и просили нарисовать на картинке, как поведут себя бутылка и вода, если наклонить бутылку. Дети изображали на рисунке бутылку под наклоном, в которой уровень воды был к ней ровно под прямым углом, словно вода замерзла. Или: на горлышко бутылки подвешивалась веревка с грузом и ребенка просили нарисовать, как будет располагаться внутри эта веревка, если бутылка наклонится. Дети опять изображали, что веревка наклонилась вместе с бутылкой, как если бы они не могли привести в соответствие свои представления о пространстве и гравитации. Тому был еще один хороший пример: когда детям давался мягкий пластиковый макет горы и их просили взять несколько палочек и воткнуть их так, чтобы они стояли прямо и устойчиво, младшие дети каждый раз старательно втыкали палочку перпендикулярно поверхности горы в этом месте – лишь на самой верхушке палочка стояла вертикально.

Экспериментальные подтверждения развития этих разнообразных аспектов человеческого интеллекта, по-видимому, неисчерпаемы; они проходят по страницам более чем двадцати пяти книг и более ста пятидесяти статей, опубликованных за годы работы Пиаже и его одаренных сотрудников в Женеве. В некоторых случаях

осуществить их так же легко, как положить рядом две одинаковые палочки и спросить ребенка, одной ли они длины. Он скажет: «Да». Тогда верхний конец одной из палочек выдвигается немного вперед и в сторону по отношению к другой и ребенку задается тот же вопрос. Теперь он говорит, что палочка, которая впереди, «длиннее». Вслед за этим экспериментатор смещает другую палочку, так что верхние края обеих выравниваются. Вопрос: «Одной они длины или нет?» Ответ ребенка: «Нет, они *обе* длиннее».

Другие эксперименты более сложны и включают в себя удивительно остроумные действия, предназначенные для того, чтобы добиться усиления в определенных аспектах способности ребенка к пониманию. Но в целом все эти эксперименты не оставляют сомнений в том, что наше восприятие и понимание мира не даются нам автоматически, а формируются лишь постепенно, проходя ряд стадий развития, совершенно отчетливо различимых для подготовленного наблюдателя. Пиаже представил убедительные доказательства в пользу интерпретации этого процесса в строго эволюционных биологических терминах, как пути, следуя которым, человеческая сома, отталкиваясь от той организации, что была ею унаследована, в ходе адаптивного взаимодействия с окружающим миром, шаг за шагом выстраивает новые, по иному организованные способности, которые на последующих этапах достигают устойчивого, сбалансированного уровня аккомодации и ассимиляции в отношении среды.

Как уже отмечалось, нам сейчас известно не только то, что так называемый «реальный мир» – это не обязательно «внешнее» в том конечном смысле, в каком мы понимаем его существование, но и то, что этот «реальный мир», познаваемый нами, является результатом развития восприятия и интеллекта.

Но где пределы развития человеческого восприятия и разума? Если мы признаём, что в этот самый момент вы, я и вся наша раса вовлечены в мутационное изменение, в процесс эволюции нашего соматического существа, эволюции, которая привела нас к нашему нынешнему положению и продолжающей толкать нас за его пределы – признавая это, мы вынуждены признать, что те организованные структуры восприятия и мышления, которые исследовались Пиаже, не являются окончательно закрепившимися и неподвиж-

ными; они изменчивы. И мы, как изменчивые соматические структуры, знали и воспринимали с каждым следующим поколением людей несколько иной мир.

И поскольку мы достигли пункта нашей истории, когда завершение создания абсолютно новой среды заставляет нас радикально ускорить темпы мутации, перед нами в недалеком будущем, вне сомнения, вырисовывается полностью отличный мир. Вывод кажется необычным: не только биология человека подвергается эволюционному изменению, такую же мутацию претерпевает – нас ставит перед необходимостью согласиться с этим монументальная работа, проделанная Пиаже – и «реальный физический мир», в котором мы живем. Поскольку органический мир развивается, вместе с ним шаг за шагом развивается мир неорганический. Неожиданный итог: новый человек там, на горизонте – не один, он ведет за собой новый мир.

Такие выводы – исключительно достижение ученых соматического направления, они могут быть целиком приняты лишь в рамках соматического мышления, развивающегося и подверженного изменению по своей природе. Без путеводной деятельности Жана Пиаже мы находили бы такую манеру думать гораздо более затруднительной и было бы неизмеримо сложнее понять, что с нами происходит в технологических сообществах земли. Со своей стороны, я испытываю к Пиаже лишь благодарность за его спокойствие и за то, что он никогда не оглядывался на твякающих собачонок из увядшего, отживающего леса, который он пересекал, когда терпеливо брел в поисках другой и более цветущей среды.

## 5. По мере снятия вашей мышечной брони: Райх

Чтение Вильгельма Райха теми, чьей профессией является психиатрия, напоминает чтение *Фанни Хилл* в Южном Баптистском женском колледже: ему предаются под сенью луны, оно зачаровывает, но при свете дня об этом очаровании не принято говорить в кругу равных. Параллель между книгами Райха и порнографией – не такая уж нелепость, поскольку это в общем-то правда, что все волнующие человека и вызывающее одновременно трепет очарования и ужасный стыд, представляет собой нечто, имеющее жизненно важное значение для него самого, не говоря уже о других.

Механизм общественной морали и подавления в целом всегда был самым действенным изобретением для защиты человеческого общества от существующих в мире, вызывающих у людей ужас опасностей. Однако если общество добивается успеха в преодолении опасностей, с которыми оно сталкивается, не остается больше ничего, что вызывало бы страх, и, таким образом, принципы подавления теряют свою адекватность – прежде всего для подрастающего поколения, так как ему неведом истинный страх, внушаемый реальными опасностями, пережитый старшими людьми. Для младших членов подвергающегося изменению общества, которых не преследует рой воспоминаний, закрепленных в их культурной традиции, не существует риска испугаться, встретившись с опасностью, поэтому некоторые моральные законы по отношению к их поведению оказываются практически неуместными.

Это означает, что за каждым отдельным моральным ограничением в истории человечества первоначально стояла признанная угроза, которой следовало остерегаться и от которой нужно было защищаться; и по мере упразднения каждой такой угрозы, соответствующий ей поведенческий принцип становился неактуальным для тех, кто не был с ней знаком. Поэтому теперь, когда свобода передвижения достигнута, а создание коммуникации и расселение доведены до конца, вместе с созданием контрацептивных пилюль, и эти технологические преимущества широко используются, к изъятию из нашего общества оказывается близка не только тради-



ционная западная сексуальная мораль, но и ее основной продукт, порнография. Кому нужен моральный кодекс, когда опасности побеждены? И кто испытывает необходимость в порнографических заменителях, когда может безопасно пережить реальный опыт?

Сейчас Вильгельма Райха, по-видимому, читают при свете луны по двум очень веским причинам и обе они действительно важны: с одной стороны, он крайне «непрофессионален» в своей исследовательской работе и при построении теории (комплимент №1) и, с другой стороны, он настаивал, придавая этому даже большее значение, чем Фрейд, на важнейшей роли в жизни людей генитальной сексуальности и оргазма.

«Непрофессиональный» аспект теоретической и практической работы Райха – это его восхитительно безрассудное стремление не просто объяснить человеческую сому, но разгадать вселенную, которую он рассматривал как океан космической энергии. Конечно, стать человеком Ренессанса в науке в двадцатом веке невозможно, немногим меняет дело попытка сделаться им почти без всякого содействия и располагая относительно несложным лабораторным оборудованием. Но будучи человеком необыкновенным, Райх не из тех, кого может удержать такое препятствие, как явная невозможность; увлеченный тем, что уже было открыто им в соматических науках, он чувствовал, что было бы глупостью не взломать границы мира сом и не посмотреть, нельзя ли вдобавок проделать то же со всеми физическими науками. И учитывая ограничения, которыми он был связан в своей работе, он, без сомнения, предпринял чертовски удачную попытку. Ни один смело мыслящий ученый, читая об экспериментах Райха и его теоретических построениях относительно оргонной энергии и ее функций, не может не испытывать поочередно то ужаса, то воодушевления, сталкиваясь с тем, что порой выглядит диким нонсенсом, но, с другой стороны, может оказаться странной правдой. Однако близким к Фрейду психиатрам и психотерапевтам хорошо знакома, понятна (и, я надеюсь, ими прощена) деятельность Райха в той области, которую, начиная с 20-х годов, разрабатывал его старший коллега Фрейд: оба они сквозь структуру органической материи пытались разглядеть поддерживающую ее структуру неорганической материи, с тем чтобы проникнуть в их общие тайны. Цель выдающаяся

– но тогда почему бы человеку полностью уверенному в своих возможностях не направить свои усилия на ее достижение?

Я больше не буду касаться данного аспекта работы Райха. Вы можете сами прочитать об этих более поздних его взлетах и решить, кем же он в конце концов стал – Леонардо да Винчи или Дон Кихотом, – в любом случае, он остается великим и незабываемым мечтателем, тем, кто достал до звезд и показал нам, что бояться покуситься на невозможное – недостойно человека.

Однако здесь я хочу рассказать о ранних, соматических исследованиях Вильгельма Райха, тех разоблачительных его работах, в которых были расширены, точно определены и, если угодно, приведены к *соматическому основанию* интуитивные проникновения Фрейда, развитые значительно глубже, чем у этого великого мастера основополагающих открытий.

Также как Зигмунд Фрейд и другие соматические ученые, Райх рассматривал человеческое существо как организм в основе своей подобный всем прочим живым организмам, телесная структура и нейрофизиологическая организация которых совершенствовались в ходе практической адаптации к земной среде в минувшие эпохи органической истории. Подобно Фрейду, он видел энергетический источник человеческой сомы в изначальной, ведущей соматической организации людей (т.е. в бессознательных первичных процессах). Наконец, как и Фрейд, он понимал, что причина функционального нездоровья человеческой сомы (невротического или психотического) заключается в блокировке или отклонении этих первичных энергетических паттернов от обычного русла, обеспечивающего их свободный выход вовне и эффективную реализацию в поведении, практически соответствующем окружающим условиям.

Соматические находки, которые Райх присовокупил к приведенным здесь базовым фрейдовским представлениям, сосредоточены вокруг полученных им данных о существующей у людей «мышечной броне». Открытие об образовании мышечной брони важно тем, что оно позволило переоценить достаточно общие замечания Фрейда, касающиеся процессов «подавления» (или, в более ранней терминологии, «сопротивления»), и представить эти имеющие для человека решающее значение явления как доступные

наблюдению, поддающиеся объяснению события, происходящие в теле каждого человеческого существа.

После Фрейда психоаналитикам было известно, что блокировки, имеющие место у невротических пациентов представляют собой определенного рода нейрофизиологические события, но «подавление» не имело четкой локализации в человеческой коме; оно было где-то «там» и как-то работало. Вставал естественный вопрос: «Что происходит в человеческом организме, когда имеет место подавление?» И именно Райх дал на него неожиданный ответ: люди подавляют сами себя посредством сокращения мышц, которое, если оно длится в течение долгого периода жизни человека, становится привычным и постепенно переходит под контроль автономной нервной системы. Как только этот переход произошел, мышечные сокращения становятся спастическими<sup>17</sup>, т.е. мышцы остаются сокращенными постоянно, а сам человек абсолютно не догадывается об их судорожном состоянии, поскольку он вообще не «осознает» усилий, прилагаемых для упомянутого сокращения мышц – за него эту работу делает автономная нервная система, выполняющая ее «бессознательно», так же как когда она участвует в перекачивании крови, переваривании пищи, поддержании дыхания и осуществляет тысячу других функций.

То, что лежит на поверхности, всегда замечается в последнюю очередь, и детективами, и учеными. Насколько было очевидно, органами человеческого тела, служащими для подавления и сдерживания энергетического потока, а также для управления им, являются переплетенные группы мышц, которыми окружены от макушки до кончиков пальцев ног наши тела и которые связывают их в единое целое. Один только Дарвин предоставил своим соматическим последователям ответ на этот вопрос: ему известно, что средством *выражения* во внешнем поведении нервной энергии человеческих эмоций несомненно являются сложные мускульные движения. Эмоция – это ни что иное, как «движение наружу» нервной энергии, инициирующее высвобождение разнообразных врожденных нейромускулярных паттернов. Не осознавая всей его важности, Дарвин даже дает описание процесса мышечного пода-

---

<sup>17</sup> спастический (мед.) – судорожный.

вления, когда обращает наше внимание, что люди, которые испытывают недовольство другим человеком (скажем, мать, уязвленная своим непослушным ребенком), иногда настолько поддаются обаянию личности, вызвавшей их неодобрение, что едва удерживают улыбку; но вспомнив, что *намеревались показать свое недовольство*, они вступают в борьбу с автоматически возникающим внутренним импульсом, стремясь остановить уголки губ, готовых улыбнуться, за счет направленного в противоположную сторону мышечного усилия, заставляющего края рта преувеличенно изогнуться *книзу* в необычной гримасе. Представьте себе любого малыша, сидевшего в школе за следующей партой, который вдруг подумал о чем-то, вызвавшем у него бурное веселье, и сражающегося с этим взрывом запрещенного смеха, престранно кривя рот – и вы поймете несложный механизм подавления, действующий в человеческой соме. Вспомните все те случаи, когда вы проделывали то же сами: сдерживающее, противодействующее напряжение мышц, которое вы ощущали, соответствует осознанию механизма подавления: «вытеснения» естественной реакции вашей сомы на ситуацию и провоцируемой страхом борьбы с ней при помощи противоположной мышечной реакции.

Это настолько очевидно, что однажды мы приходим к признанию самоочевидности соматического поведения, мы осознаем, что каждый из нас воочию видел результаты подавления всей нашей жизни (и, возможно, ощущает их внутри себя). Если простое сокращение мышц, выражающее осуждение, препятствовало рвущемуся наружу чувству одобрения в течение продолжительного времени, неодобрительное «выражение» приобретает спастическую основу и становится постоянным. У огромного множества несчастных американских детей, например, воспитанных семьями и общественной средой, где глубоко и сурово порицалось легкомыслие, спастические последствия этого неодобрительного отношения проявляются, в основном, когда они становятся взрослыми людьми: достаточно одного взгляда на эти жесткие, бесстрастные, напряженные брови и щеки и особенно на этот выпрямленный в линейку, отталкивающий рот, с каждым годом все больше опускающийся по краям, чтобы распознать соматические последствия подавления. Сидней Джуард, превосходный соматический пси-

холод и далеко не первоклассный партнер по гандболу, дал этому спастическому состоянию в целом неблагочестивое наименование «пресвитерианский рот». Он оставляет вам возможность подставить ваше собственное определение.

Однако, благодаря Райху, нам понятно, что обладатель, например, «пресвитерианского рта» не *осознает* этого; поскольку мышечное сокращение становится спастическим, он не отдает себе отчета в том, что «вызывает его сознательно», и уверен, что это «естественное» положение его рта. Но печальная особенность подавления состоит в том, что соответствующее ему спастическое и, следовательно, бессознательное сокращение лицевой мускулатуры этого человека *ощущалось* им постоянно, с тех пор как он начал взаимодействовать со своим миром. Такой человек чувствует мышечное неодобрение по отношению к людям и вещам, принадлежащим его миру, как свой «природный» эмоциональный стиль; этот стиль «ощущается как естественный», потому что *он* (сознательные, хорошо воспитанные 10 процентов соматического айсберга) не создает его. Совершенно верно, «он» не создает этот стиль: за «него» это делают автономные процессы, происходящие в его коме.

Лицевое подавление (т.е. спастическое контр-мускулярное сокращение) хорошо заметно, именно поэтому за него ухватился Дарвин. Это настолько распространенное явление, а странные лицевые искажения так долго воспринимались нами как «наружность, которую ему (или ей) посчастливилось иметь», что в наших глазах лицо любого человека выглядит исключительно как *данная* ему внешность, а не как что-то *приобретенное*. Как вскользь заметил, миновав сорокалетний рубеж, Альберт Камю: после сорока каждый ответственен за свое лицо. Тем не менее в жизни отсчет времени нередко начинается значительно раньше, а ответственность, как правило, лежит на семье и общественном окружении. Мне приходилось видеть лица детей, далеко еще не юношеского возраста, выражение которых напоминало преждевременную отливку греческой трагической маски.

Однако этот наглядный – и обычно менее выраженный – симптом подавления с помощью лицевых мышц является феноменом, принимаемым во внимание даже теми, кто будучи абсолютно не-

вежественным в соматической науке и психоаналитической традиции, имеет правильное представление о том, что такое подавление – и, возможно, улавливает, что всегда *ощущал* его, глядя на других, не «осознавая» этого в приведенных здесь выражениях. Дарвин открыл нам возможность увидеть очевидное, Фрейд предложил способ интерпретации этого общего для всех людей явления, а этологи и Вильгельм Райх вдохнули в него жизнь и сделали чем-то самим собой разумеющимся для нас, найдя нейромускулярной экспрессии и подавлению подтверждения у людей и животных. Крутой и удачливый состоятельный бизнесмен, которого вы вчера видели выходящим из такси, не обязательно от рождения был наделен задиристо выпяченной нижней челюстью и жесткой, агрессивно «мужественной» челюстной мускулатурой, напоминающей канаты; возможно, маленьким мальчиком он пережил такое чувство утраты или ему чего-то так не хватало в детстве, что сдерживать плач и противостоять мышечному чувству поражения и капитуляции он мог единственным способом: стремясь справиться с ними при помощи контр-сокращений, которые заставляли его выглядеть и чувствовать себя раздражительным и агрессивным. Иногда мальчики борются со слезами так долго, что им на смену приходят более мягкие автономные процессы, и тогда малышу не нужно *стараться* преодолевать огорчение, прикрывая его гневом. Конечно, «мужественное» выражение лица это лишь незначительный симптом зажатости разочарованного ребенка. В других частях его тела тем временем поверхностное дыхание и немного ускоренное сердцебиение делают неизбежными коронарные нарушения последующих лет, в желудке свирепствуют едкие кислоты, которые сегодня вечером испортят ему обед, а напряжение мышц, окружающих анус, приводит к выпячиванию геморроидальных шишек, начавших его беспокоить. Двигаясь этим путем, американская нация и западная культура способны произвести такое множество разочарованных детей, что впоследствии массами болезненных и страдающих агрессивных деловых лидеров создается гибельный миф об «американской мужественности», тогда как сами они слепо мчатся навстречу преждевременной смерти: в глазах стальной блеск, плечи расправлены, челюсти сведены, а

грудь и таз стиснуты напряженными под действием подавления мышцами.

Телесные механизмы подавления не были открыты Вильгельмом Райхом, и довольно об этом; им выделены зоны тела, являющиеся сферами практического действия этих контр-реакций. Человеческое тело виделось ему как сома, организованная в семь сегментов мышечных групп: тазовый, брюшной, диафрагмальный, грудной, шейный, ротовой и глазной – в каждом из которых развился комплекс мускулатуры, сокращающейся и расслабляющейся в различных комбинациях в соответствии с движениями энергии внутри сегмента. Сегменты эти, конечно, частично перекрываются и работают совместно; все вместе взятые – от промежности до макушки – они образуют, по Райху, центральное тело человека. Руки и ноги являются вторичными придатками, предназначенными для захвата и перемещения центральной сомы.

Итак, сотрите из вашего сознания образ человеческого существа с руками и ногами; вообразите себе продолговатую, округлую телесную форму, вытянутую вдоль спинного хребта, по которой проходят линии коммуникации, ведущие к внутренним органам, различным рецепторам и группам мышц, и которая объединяет эти функции на всем продолжении их действия еще и через комплексный переключающий и побудительный центр ствола мозга. Или, если вам это легче, представьте себе амебу, инфузорию-туфельку или, еще лучше, кольчатого червя и вы получите простой, вполне биологический образ, который использовал применительно к человеческому существу Райх. Словом, представьте *организм*, как это делал Фрейд, – организм, структура которого и заложенные в его программе функции служат свидетельством необъятной истории соматической адаптации к требованиям мировой среды.

Таким образом, сома «человек» в основе своей сходна со всеми прочими животными сомами, однако имеет специфические отличия в формах адаптации, осуществляемых ее видом. Эта сома, в настоящее время достигшая невероятных высот и большой сложности, обладающая множеством усовершенствований, вытягивающимися руками и двигающимися ногами, должна рассматриваться *прежде всего*, настаивал Райх, как организм: Райх, как и Фрейд, был сосредоточен строго на изначальных «первичных» процессах,

лежащих у истока и в сердцевине эволюционной истории человека как организма.

Положите рядом с амебой частицу пищи и это одноклеточное двинется в ее направлении, растянувшись, раскроется, окружит и поглотит ее. Но прикоснитесь к этой амебе кончиком иглы и ее поверхность сожмется, отступит внутрь, избегая опасности, появившейся в среде. Человек в сердцевине своего органического существа подобен такому одноклеточному организму: первичными движениями его нервной энергии и тканей являются *растягивающее расширение, обращенное вовне, и направленное к центру стягивающее сжатие*. Райх расценивал эту пульсацию жизни – диастолические и систолические движения – в качестве основных «физиологических» и, вместе с тем, основных «психологических» функций, т.е. говорить о первых автоматически значило включать в рассмотрение вторые, поскольку, будучи соматическим ученым, Райх понимал, что не может провести их безусловного различения относительно сом.

Человеческая сома, следовательно, это организм, который в ходе жизни бесчисленных поколений формировал ткани своего тела, группируя их на мембраны, нервные волокна, сухожилия, мышцы и кости, образующие действующие в теле пути перемещения импульсов расширения и сокращения, выполняющих задачу стимулирования организма к адаптации и выживанию в окружающей среде. И сейчас эта развитая, сложноорганизованная сома, какой являемся мы с вами, живет в том же изначальном ритме пульсаций, туда и обратно пробегающих по сформированным органам при биении сердца, дыхательных движениях диафрагмы, перистальтических сокращениях и расслаблениях, идущих вдоль пищеварительного тракта и осуществлении бесчисленного множества других, более чем очевидных функций. Многие из этих развившихся в соме процессов и структур – обычных и неотъемлемых жизненных функций – являются автономными и укоренены в эволюционных глубинах центральной нервной системы. Райх заканчивает описание данного вопроса указанием на то, что две базисные и функционально противоположные подсистемы автоном-



ной нервной системы – парасимпатическая (краниосакральная)<sup>18</sup> и симпатическая (тораколюмбарная)<sup>19</sup> моторные системы – являются, что касается каждой из них в отдельности, двумя основными соматическими артериями, по которым осуществляется движение энергии расширения и сжатия.

Завершив этот краткий обзор соматических представлений Райха о человеке, мы можем сделать отступление и заглянуть в клинику Вильгельма Райха, чтобы понаблюдать, как он лечит пациента, и постараться понять, почему он видит пациента и обращается с ним именно так, а не иначе. Прежде всего, Райху, в отличие от Фрейда, не нужна была кушетка, потому что – в противоположность своим старшим коллегам – он пришел к выводу, что *смотреть* на больного важнее, чем *слушать* его. Смотреть на пациента значит изучать его тело, то, как оно выражает себя в действии; таким образом, терапия Райха была в самой своей основе соматической.

Вот мужчина, который обращается к Райху. Он в отчаянии; он не знает, надолго ли у него хватит сил продолжать этот путь. Все и вся, кажется, давит на него; он словно пожизненный заключенный: хочет бежать, но этому мешает нестерпимый гнет мира, который он видит вокруг. Этот человек беспомощен. Он не способен высвободиться из связывающих его тесных пут. Он пробует один, другой способ, однако каким-то образом, независимо от того, что он предпринимает, всегда кончается тем, что мир вновь начинает ощущаться им как тюрьма и источник давления. Даже событий детства, которые Райх просит его припомнить, не остается в нем: в их поисках он обшаривает память, но они как бы куда-то отодвигаются, оставаясь заблокированными усилием их обнаружить.

Райх же наблюдает за мужчиной. Он видит ярко блестящие глаза, кажущиеся даже влажными. В области рта обозначилась беглая, скупая улыбка, а также несомненные признаки подчеркнутого пренебрежения и наигранного удивления. Эти незначительные симптомы почти ни о чем не говорят. Однако ниже уровня головы, покачиванием которой человек сопровождает высказываемые им

---

<sup>18</sup> краниосакральный – черепно-крестцовый

<sup>19</sup> тораколюмбарный – пояснично-грудной

мысли, происходят скрытые события, не имеющие ничего общего с его словами. Его плечи важно откинута назад в позе, в каком-то смысле выражающей самообладание, которая сквозь линии его одежды выглядит довольно элегантно и «аристократично». Проявляя самообладание, он, буквально, словно удерживает что-то, имеющееся у него внутри. Несколько менее заметное свидетельство этому обнаруживается на уровне грудной клетки: когда человек говорит, его грудь кажется жесткой и под складками рубашки не ощущается каких-либо сильных движений диафрагмы. Дыхание невидимо – легкие, короткие дуновения воздуха, быстрые маленькие глотки, не вызывающие даже колебания ноздрей. Диафрагма тоже производит впечатление стянутой, подчиненной избыточному контролю, отчего дыхание становится менее глубоким. Ниже, в тазовом сегменте, когда человек сидит, скрестив ноги, основание живота создает лишь слабую, ограниченную нагрузку на полость таза: мускулатура ягодиц и нижней части брюшной полости удерживается в напряжении, чтобы сохранять «благовоспитанную» позу.

Внимательно наблюдая за ним, Райх просит этого господина минуту помолчать и глубоко дышать. Человек выпрямляет скрещенные ноги и начинает вдыхать и выдыхать вслед за врачом. Райх прислушивается к звуку насильственного выдоха и следит, как сжимается движущаяся вверх диафрагма. Затем кладет на это место руку, в то время как пациент продолжает глубоко дышать: на выдохе, вместо того, чтобы расслабиться и дать воздуху выйти из легких, диафрагма остается судорожно сжатой – контролируется и сдерживается даже выдох. Пациента просят, когда он выдыхает, расслабить диафрагму. Он говорит, что хочет и старается полностью ее расслабить, но мускулатура диафрагмы остается в спастическом состоянии. Это действие не во власти пациента, оно находится под контролем автономной нервной системы, ее симпатической функции, что, по-видимому, относится также к положению таза и плеч.

Затем врач обращается к пациенту с необычным «психоаналитическим» требованием: «Положите палец под гортань и надавите на это место, пока не почувствуете, что хотите остановиться». Райх, предвидя такую возможность, просил, чтобы пациент не

завтракал перед их встречей. Человек кладет палец под гортань, замирает в нерешительности и – ободряемый врачом – вдавливают его настолько глубоко, насколько может, после чего вдруг резко сгибается вперед, разражаясь сухой рвотой, хватая воздух ртом, снова давится рвотой, отдувается, тяжело дышит, и испытывает новый позыв к рвоте. У него не просто «сухая рвота», эти приступы сильнее и продолжительнее: скорее это судорога – внезапно начинающееся и прекращающееся перенасыщение находящейся в спастическом состоянии диафрагмы энергетическими импульсами, которые резко стягивают мускулатуру в узел, а затем распускают ее до полного расслабления. Диафрагма сжимается и расширяется, пациент захватывает и выталкивает большие порции воздуха, у него краснеет лицо, блестят глаза, зрачки слегка расширены, плечи, грудь и тазовая область беспокойно движутся, пробуя принять самые неожиданные положения.

Пациент захлестнут удивительным соматическим превращением: этот человек не знаком с ощущением расслабленной диафрагмы; он не мог знать, что это такое, и поэтому Райх заставил его вызывать у себя еще одну автоматически контролируемую моторную реакцию (импровизированный рефлекс), которой отвергаются все прочие автономные явления в спастически сжатой диафрагме. Пациент сидит перед Райхом, глубоко и свободно дыша, с недоуменным выражением на лице, с новообретенной расслабленностью в позе и утверждает, что никогда не чувствовал себя так хорошо. Он ощущает себя по-другому и – как ни странно – теперь ему абсолютно отчетливо вспоминается то, что Райх спрашивал о его жизни в семье – в самом деле, он всегда знал об этом, всегда ясно помнил случившееся, однако, кажется, только сейчас эти воспоминания вспыхнули в его сознании.

Этот от начала до конца вымышленный и – в дидактических целях – карикатурно обрисованный эпизод, призванный осветить видение Райхом пациента и путей его лечения, – ни что иное как попытка дать наглядное представление о том, каковы соматическое восприятие, соматическое понимание и соматическая терапия в действии.

Райх рисует нам нас самих, как существа, чьи жизненные энергии колеблются между расширением и сокращением их телесного

аппарата. Расширение – это течение соматической энергии наружу, которое сопровождается чувством удовольствия: ему соответствуют чувственность, открытость и расслабленность. Сокращение – это стягивание соматической энергии вовнутрь, которое неприятно: ему соответствуют тревожность, ощущение преграды и сдавленности. Телесное чувство расширения – это чувство принятия открытости по отношению к окружающему миру; ощущение сжатия соответствует чувству напряженности, занятию оборонительной позиции против мира, которого боишься. Пропорционально наличию в мире, в котором он живет, истинных или предполагаемых опасностей, которых нужно остерегаться, человек обязательно защищает себя при помощи нейромоторной реакции сокращения; в зависимости от длительности или интенсивности этого сокращения, оно может в конце концов стать спастическим или бессознательным. Это подавление, функциональный источник невротических и психотических состояний. Однако настолько насколько мир, в котором живет человеческое существо, свободен от настоящих или предполагаемых опасностей, настолько же его реакция на эту среду будет гибкой и открытой, наполненной изливающимся вовне чувственным счастьем расширения.

Понятие стянутой «мышечной брони» – это блестящее открытие, разоблачающее природу подавленной личности и дающее понимание того, как она иной раз тревожится и страдает, не способная помочь себе собственными «сознательными» усилиями. И благодаря данному Райхом описанию различных образцов мышечной брони, мы приобретаем представление о тех многочисленных средствах, которые используются человеческой сомой в борьбе против многообразных энергетических паттернов, порожденных пугающими мыслями о действительных или ожидаемых угрожающих ситуациях. В различных сегментах тела имеет место свой отличный рисунок контр-сокращения мышц, соответствующий контролируемому и подавляемому чувству. Знание этого рисунка составляет практическую основу райхианской терапии.

Райх, как уже отмечалось, основной акцент делал на сексуальности и телесных напряжениях, а также на достижении релаксированного, характеризующегося расширением, здорового соматического состояния. При генитальных половых отношениях компле-

ментарные мужские и женские органы своим взаимным касанием и возникающим при этом трением создают определенную концентрацию соматической энергии, постепенно распространяющейся от гениталий и других эрогенных зон, пока эта заряженная энергия не заполнит все тело. В совокуплении наступает момент, когда движения партнеров уже не являются произвольными, им на смену приходит оргастический рефлекс, заключающий любовников в свои соматические объятия и преобразующий прибывающую энергию в конвульсивные движения мускулатуры всего тела, по которому она направляется вперед и вниз, разряжаясь через гениталии. После чего тело становится полностью свободным и расслабленным, кровеносные сосуды расширяются, сердце и дыхательный ритм успокаиваются и замедляются.

Но это идеальный оргазм, такой, каким он должен быть в норме, в соответствии с программой, заложенной в древней, животной соме человека. Не все люди достигают полного оргазма и, следовательно, полной, здоровой разрядки – по мнению Райха, на это, пожалуй, способны вообще очень немногие люди Запада. Но при отсутствии этой занимающей ведущее место энергетической разрядки, даваемой полным оргазмом, люди, с его точки зрения, не могут быть в полной мере здоровыми, их автоматически начинают беспокоить напряжение, тревога и болезнь – либо достигающая острой степени невротическая тревога, либо обычное раздражительное беспокойство горожан среднего класса, которые осознают, что что-то не так, но не в состоянии прямо указать, что именно.

Вильгельм Райх – фигура, без сомнения, немного пугающая. Его готовность идти на риск, вызывая судороги у душевнобольных, не давала покоя многим психиатрам, поскольку невозможно с уверенностью сказать, что может случиться, когда они происходят. Решительно настаивая на необходимости оргазма для здоровья, он, кажется, упускал из виду множество способов, которыми спокойная повседневная чувственность может вытеснить те же энергетические напряжения и позволяет добиться продолжительного гомеостаза, для чего не обязательно такое напряжение скапливать с единственной целью – пережить возбуждающий порыв оргазма.

Есть многое, чего мы не знаем; однако Вильгельм Райх рассеял нашу неуверенность, выстроив структуру, соединяющую познан-

ное с не вполне познанным. Это структура, относящаяся к тому, что еще не познано до конца, но *оставляет ощущение* истинности. И ждет, пока зарождающиеся сегодня поколения восполнят пробел и, возможно, изменят его структурные очертания. Структура эта не завершена и предстает взорам нашей традиционной культуры осмеянной и поруганной: однако она была создана не для этой культуры; она создавалась специально ради еще не родившихся детей, которые пока, невидимые, дремлют в ожидании в терпеливом древнем яйце.

Однажды вылупившись на свет, они, я подозреваю, найдут, что райховская соматическая структура кажется им очень родной.

## 6. Суммируя сказанное: промежуточное обобщение

Революционные прозрения соматических ученых имеют ничуть не меньшее значение, чем решающие открытия естествоиспытателей. Оба научные направления идут рука об руку, взаимно дополняя друг друга. Центром внимания естественных наук является среда, окружающая человека, объяснить которую и управлять которой они призваны; соматические науки сосредоточены на человеке внутри его среды, их задача – понять человека и дать ему контроль над средой. Эти две научные дисциплины сделали возможным освобождение человека от тирании прошлого: в одном случае, от деспотической власти прежней земной среды, в другом – от деспотизма прежнего человека. Если бы мы не располагали достижениями естественных наук, которые в технологическом обществе достигли апогея, соматический подход и внушаемые им надежды на человеческую трансформацию едва ли могли бы считаться уместными. В то же время, если бы соматическими науками не были бы открыты возможности освобождения человеческой общности, которое осуществлялось бы людьми и для людей, изучение человеческой среды и ее контролирование естественнонаучной отраслью лишено было бы человеческого смысла или какого-либо конечного оправдания. Исторически, естественными науками был заложен фундамент и создана возможность освобождения человеческой сомы в будущем веке.

Дарвин, Фрейд, Лоренц, Пиаже и Райх – это далеко не все соматические ученые; но этими людьми, благодаря их открытиям, установлены эволюционно-революционные вехи, ставшие неотъемлемыми для нашего понимания того, каким образом мы, как человеческие существа, сделались тем, что мы есть, и теперь становимся в чем-то иными, чем были до сих пор. Интересы этих пятерых ученых имели отличные точки приложения, вследствие чего все многообразие их научных воззрений невозможно свести в единую картину; однако главные направления сделанных ими открытий и развития их идей приблизительно идентичны и прин-

ципиальная взаимодополняемость результатов работы всех этих исследователей позволяет составить комплексное представление о природе человеческой сомы. В конце второй части этого раздела оно будет подытожено более подробно, а пока мы можем, я полагаю, удовлетвориться беглым обзором основных достижений соматических ученых.

В фундаменте соматической науки лежит понимание следующего факта: если мы претендуем на знание того, что мы, как люди, собой представляем, мы обязаны окружающую нас среду принимать во внимание несколько не в меньшей степени, чем самого человека. Не имеет смысла изучать человека или среду в отдельности, не учитывая их постоянного взаимодействия и происходящего между ними обмена: кем бы ни был человек, он является совокупным продуктом своего обоюдного обмена с миром. Длительный на протяжении жизни миллионов поколений адаптивный взаимообмен означает, что человек постепенно становится настолько же похожим на свой мир, насколько он похож на себя самого.

И в то же время, говоря об обмене в рамках диалектики описанного процесса, мы говорим об изменениях и мутациях имевших место в ходе соматической истории нашего вида и продолжающихся поныне. Люди это живой результат чрезвычайно долгого периода нескончаемой адаптации к среде; и как живые создания, мы с вами не перестаем адаптироваться и в настоящий момент.

Вполне согласуется с двумя вышеназванными идеями положение о том, что будучи живым продуктом истории происходящего между сомой и средой обмена, люди являются очень древними сомами; это существа, чьи тела представляют собой сложную генетическую инкарнацию бесчисленных приспособлений, приобретенных их прасомами в земных условиях. Длительная двусторонняя связь сомы со средой живет внутри каждого из нас в виде безмолвной «бессознательной памяти» о том, как все предшествующие нам сомы достигли успеха в выживании и приспособительной деятельности и сделали возможным наше вхождение в эту среду. Когда мы рождаемся, мы уже состоим в определенных отношениях с нашей земной средой, уже «знаем» и предчувству-



ем ее, предвидя то, как она может себя повести по отношению к нам. Мы рождаемся на свет с готовой соматической программой ожиданий и это значит, что мы *уже* вовлечены в двусторонний обмен с миром и являемся составной частью почти органического механизма взаимодействия сомы со средой. Как современные представители вида «человек», вы и я, изначально, полны древней соматической мудрости, затрагивающей происходящее в этом мире, которая является генетическим наследием прошлого успеха, прежних приспособлений для выживания, мудрости, которая олицетворяет цепочку соматических побед, своим деятельным, но неявным присутствием в нас воспроизводящую длинные коридоры биологического времени.

Положения, изложенные в трех последних абзацах, представляют собой три фундаментальные и перекрывающие друг друга идеи, приносимые названными исследователями в изучение не только человеческой сомы, но и – совершенно определенно – всех живых существ. На этом очень глубоком уровне нет необходимости говорить о вербально-образном сознании человека, поскольку и люди, и остальные живые сомы дожили до своего нынешнего видового статуса, не пользуясь сознанием: белки и мыши, черви и слоны обладают теми же базисными адаптационными возможностями и той же мудростью, что и мы с вами. Сомы «разумно» приспособлены и выжили по прошествии миллионов лет не потому, что были сознательными, а потому, что были адаптивны. Сознательные возможности человека это лишь еще один адаптационный механизм, развившийся у этого вида сом, для того чтобы они могли уцелеть. Это не неотъемлемое средство, а скорее искусный способ выживания. Причем эволюция и адаптация сознания никоим образом не завершены, с точки зрения биологической истории это всего лишь начало его развития.

Поэтому, когда соматические ученые обращаются к соме под названием «человек», они просто распространяют на свойства этого вида свои фундаментальные представления о сомах. Подобно всем другим существам, люди приходят в окружающий их мир, наделенные механизмом генетического наследования характерной для них телесной и нейрофизиологической струк-

туры и специфическим набором сенсомоторных и нейромускулярных поведенческих паттернов. Вместе с тем, люди рождаются в человеческом обществе, имеющем собственные как вербальные, так и материальные структуры и паттерны, которые являются готовыми программами не столько соматической, сколько человеческой «мудрости». Первоочередной задачей, следовательно, является приспособление соматически заданного к среде не только земного, но и человеческого происхождения. Бёлки находятся в более выгодном положении: им нужно адаптироваться лишь к первой.

Тогда как исследования Дарвина призваны были показать, что люди – и все прочие виды – являются продуктом предшествующей адаптации к среде, остальные четверо ученых внесли значительную ясность в характер этой картины в том, что касается соматической природы людей и того, каким образом их телесные энергии запрограммированы бороться со средой.

Фрейд считал, что энергии человека канализируются первоначально через механизм потребности в удовольствии, не обслуживающий практическую деятельность, и, во вторую очередь, через не связанную с получением удовольствия, но практическую структуру агрессивного сознательного мышления, которое сфокусировано на среде и может принести человеку по крайней мере «отсроченное удовлетворение».

С точки зрения Лоренца и этологов, в «большую четверку» влечений человека (и всех животных) входят влечения к приему пищи, спариванию, бегству и агрессии.

Пиаже рассматривает человеческую адаптацию, просто-напросто, как аккомодацию к среде или ассимиляцию среды.

У Райха, для того чтобы обозначить базовое чередование сокращения и расширения, есть множество понятий, например, систола/диастола, тревога/удовольствие.

В сумме представления соматических ученых выглядят следующим образом:

Фрейд	Переживание удовольствия (Не имеющий отношения к обеспечению практической деятельности, автономный физиологический процесс: активность, приносящая непосредственное чувственное удовлетворение.)	Переживание неудовольствия (Нацеленная на практический результат, агрессивная сознательная деятельность: работа, необходимая для получения отсроченного удовольствия.)
Лоренц	Принятие пищи / Спаривание Голод / Желание	Бегство / Агрессия Страх / Гнев
Пиаже	Аккомодация	Ассимиляция
Райх	Расширение Удовольствие Диастола Парасимпатическая нервная система Краниосакральная система	Сокращение Тревога Систола Симпатическая нервная система Тораколумбарная система

При таком комплексном рассмотрении человеческой сомы приносящие удовольствие энергетические побуждения, связанные с расширением, такие как голод и желание, понимаются как моторные паттерны, которые канализируются одним отделом человеческой центральной нервной системы. К энергетическим побуждениям, вызывающим сжатие и ощущаемым как неприятные, которые соответствуют страху и агрессии центральной нервной системы, оппозиционными первому.

Сходство взглядов этих исследователей необычайно, именно поэтому получившаяся в результате их сопоставления общая картина человеческой сомы производит столь поразительное впечатление. Руководствуясь в своей работе различными интересами и используя различные методы исследования, каждый из них в итоге описывает человеческое существо принципиально тождественным образом. Всем этим ученым функционирование человека видится, по сути, как подчиненное двум паттернам энергетических влечений, берущим начало в глубоком прошлом, и независимо от того, обращаемся ли мы к психоанализу, сравнительному поведению, биологии развития, нейрофизиологии или просто к субъ-

ективному опыту – все источники, с которыми мы соотносимся, взаимно подтверждают друг друга, подкрепляя общие положения огромным разнообразием научно признанных данных.

Имея перед собой это совокупное мнение соматических ученых, мы видим, что человек не такая уж непостижимая тайна, какой нам нравится себя считать, что в основании нашей конструкции и того способа, которым функционирует каждый из нас, кроется простота, явственно проступающая сквозь сложность нашего поведения. Присутствие пульса жизни, диастолического и систолического движения энергии, проявляющей себя вовне и устремляющейся вовнутрь в процессе защитного сжатия, нашло разностороннее подтверждение в работах этих исследователей и всех их многочисленных коллег.

Наша склонность атаковать предметы, вызывающие у нас страх, и тот напряженный, быстрый поиск, который осуществляется нашим бодрствующим сознанием, являясь развившимся у человека практическим средством, обслуживающим защитную потребность контролировать опасную среду – это два дополнительные момента, характеризующие человека как существо, у которого постепенно сформировались нейрофизиологические структуры, позволившие ему выжить в необузданной и ужасной земной среде. И тот же самый действующий в сознании человека мотив страха-агрессии, соответствующий систолическому движению, побуждает человеческую расу в порядке адаптации создавать технологическое общество, благодаря которому земля становится покорной и подвластной контролю человека, который умело управляет ею.

Люди на протяжении всей своей истории добиваются того, что они туманно называют счастьем или покоем, оберегая каждое его мгновение, и этим только еще и еще раз утверждают свое существование та мотивационная составляющая, которая нацелена на достижение открытой, дающей ощущение расширения чувственности и которая является не столько с напряжением осуществляемой ассимиляцией предметов и явлений внешнего мира, сколько, напротив, доставляющей удовольствие аккомодацией и самоотдачей, сопровождающейся релаксированным, свободным выражаемым отказом от всякого ограничения и страха.

В начальный период истории человечества потребности в адаптации к враждебной, представляющей угрозу земле обусловили необходимость доминирования ассимилятивных, ответственных за наступление на среду мотивов страха-агрессии; постепенно для поддержания этих адаптационных потребностей, развились нейрофизиологическая структура и возможности внешней чувствительности бодрствующего сознания.

И тогда, следуя этим ранним и важнейшим с точки зрения выживания человечества потребностям, другие, менее востребованные источники влечений, соответствующих расширению и приятной, релаксированной аккомодации к миру, были неизбежным образом подавлены, поставлены под контроль, дискредитированы и отодвинуты на задний план – иначе мы бы не выжили вовсе. Одна из первичных функций сомы превзошла по значимости другую. И конечным, выстраданным следствием этого было постепенное создание мягкой среды, хотя в то же самое время вышедшая из равновесия человеческая сома продолжала испытывать страдание, дорого заплатив за то, чего мы в конце концов достигли.

Для того чтобы уцелеть, мы были вынуждены забыть второй основополагающий аспект нашего бытия, ту его составляющую, которая оказалась скрытой, непостижимой и запретной. Одна сторона человеческого существа – темная, бессознательная часть сомы, которая рассматривалась как источник «безнравственности», разложения и иррациональности – была объявлена опасной. Человеческой соме в течение длительного времени пришлось платить тяжелую дань: нужно было отказаться от одной половины своего существа с тем, чтобы целое – хотя и претерпевающее раздробленность вследствие болезненного дисбаланса – могло, по крайней мере, выжить. Люди, которые страдали сильнее других и, тем самым, принесли наибольшую жертву покорению наводящей ужас земли – именно эти члены технологических сообществ – в первую очередь способны постичь общественный смысл того, что значит жить, приспособившись к миру вокруг, укрощенному и лишённому всех опасностей, исключая лишь те, которые традиционно изобретаются самими людьми: увечья, наносимые сомами во время войны, и порчу среды ее загрязнением.

Близится время, когда мы будем вознаграждены. В конце концов – по истечении жизни стольких поколений, когда мы уже поверили, что этому не будет конца и что нездоровая, лишенная равновесия жизнь и есть то, что дано человеку навечно – в конце концов, мы, зевая, пробуждаемся от затянувшегося тревожного кошмара, очутившись на другом свете. Эта новая реальность – наше *собственное* творение: укрощенный мир, возвращающий нам сейчас отражение нашего неистового желания выжить.

И мы в *самом деле* выжили. Этот этап битвы завершен. Единственный вопрос заключается в том, как мы будем жить дальше. Благодаря нашей новой среде мы имеем возможность увидеть себя в преображенном свете и получаем искомый ответ: «Мы больше не нуждаемся в болезни; теперь мы должны стать целостными и гармоничными, мы должны обойти землю, будучи, наконец, полноценными людьми, какими мы заслужили право стать».

## ЧАСТЬ II: СОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛОСОФЫ

### 1. Кант, или первые уроки выворачивания мира наизнанку

Историки, описывая Иммануила Канта, неизменно изображают его консервативным, методичным во всем человеком, немного домоседом, который, завершив свои служебные дела в Кёнигсбергском университете, точно отшельник, запирался в своих апартаментах, покидаемых им только ради обычной ежедневной прогулки, начинавшейся всегда ровно в четыре. Падкие на такие детали, они представляют Канта милым и простоватым и, сами того не ведая, фактически пытаются подрезать крылья существу замечательному и возвышенному. Историкам, как всем выскочкам от связанных с критикой профессий, часто трудно вынести соприкосновение с обнаженным фактом человеческой славы, поэтому они немного подправляют тут, чуть прибавляют там, приводя все в «надлежащий вид», и в результате человек окончательно уподобляется большинству других людей, а присущие ему добродетели уравниваются его пороками.

Все это ерунда. Не бывает человека, похожего на других, и нет такого гения, который напоминал бы простофилю. Созданное Кантом, так же как его молодым современником Гёте, безусловно, представляет собой веху в человеческих свершениях; чуждые напыщенности и сентиментальной слащавости немецкой бюргерской культуры, эти двое относятся к тем немногим, благодаря кому вообще возможно говорить о подлинной культуре Германии.

«Маленький человек», каким он выглядит согласно версии, преподносимой нам историками, был не просто гигантом, он дерзкий революционер. Иммануил Кант не отличался скромностью: своим современникам он заявлял, что совершил вторую «революцию Коперника», и так оно и было. «Простодушный» Кант запустил руку в мешок философских идей, ухватился за днище и дернул, вытряхнув наружу множество драгоценных древних реликвий и

головоломок, предоставляя нам взглянуть на содержимое мешка совершенно другими глазами.

Вся работа, проделанная Фрейдом, Лоренцем и Пиаже, была, включая необходимые коррективы, утверждением и завершением начатых Кантом в конце восемнадцатого века революционных преобразований. Кант – руководствуясь лишь собственной несокрушимой аргументацией и стойким стремлением разгадать кажущуюся неразрешимой тайну человеческого познания – показал, что видимое в мире не является всецело данным нам через чувства; действительный источник большей части того, что мы воспринимаем «извне», не находится «вовне», он, скорее, кроется внутри того естественного *способа*, которым мы понимаем и трактуем наш чувственный опыт. Как это описывает Кант, чувственные впечатления дают нам сырое содержание того, что мы в «мире» видим, а наш собственно человеческий способ переживания сенсорных событий создает *форму* и организацию, которые мы в этом мире усматриваем.

До того, как Кантом была создана *Критика чистого разума*, люди полагали, что реальный мир, каждое утро приветствующий их пробуждение – это что-то целиком внеположенное им самим, что он является тем, чем является в их или еще в чьих-либо глазах. До тех пор, пока Кант не произвел свой «коперников поворот», люди верили, что это отдельно существующий реальный мир входит в их человеческий опыт подобно тому, как свет вливается сквозь линзу фотоаппарата в темноту его внутренней полости; как фотокамера, человек только *принимает* картинку, а мир, раскрывающийся каждому из нас в нашем опыте, является лишь *данным* людям, полностью не-человеческим продуктом, по отношению к которому они выступают как пассивные элементы.

Несомненно, таким образом это выглядит для любого из нас: кажется очевидным, что мир, который мы видим, находится «извне», прочно и суверенно утверждая свою независимую самость – не важно, нравится он нам или нет, видим мы его или нет, существуем мы или нет. Таков от начала времен «естественный» способ, которым мы думаем об этом, простой и непосредственный образ мыслей относительно нашего опыта переживания мира. Англичане, которые всегда питали огромный философский интерес к оче-



видному, привели это наивное рассуждение в законченный вид: начало положил в семнадцатом веке Томас Гоббс, позднее, благодаря необыкновенной наблюдательности Джона Локка, а затем Дэвида Юма, посвятивших себя детальной разработке этого вопроса, «естественное» представление о восприятии достигло кульминации. Пока, сменяя друг друга, эти трое исследователей вели свои научные разработки, никакой существенной трансформации философской мысли не произошло (следуя за английской кухней, она оставалась умеренной и практичной), однако у Юма мы наблюдаем важное изменение позиции. В сущности Юм пришел к выводу, что единственной философией восприятия может быть философия мяса-с-картошкой, и тем не менее, в качестве средства удовлетворения человеческой жажды истины такой подход кажется пустым и бессмысленным.

Юм рафинировал наивное представление о восприятии до той степени, в которой оно вызывало скуку и скептицизм, тем самым подготовив радикально новую попытку понять человеческое восприятие мира. Тот факт, что многие философы, вопреки Канту, продолжали и до сих пор продолжают брести дорогами Юма, служит удивительным свидетельством особой склонности к безысходной тоске, питаемой многими из них.

Итак, Юм приготовил подмости для кантовской революции, революции в нашем понимании того, как мы воспринимаем мир. Тщательно отточенные доводы Канта призваны были показать, что базовые структурные законы, действие которых мы наблюдаем в мире и которые можем изучать, формулировать и предсказывать с научных позиций, не «даны» нам в чувственном восприятии, а являются имеющими характер закона способами, которыми мы с необходимостью *должны* воспринимать, структурирующими согласно определенному принципу «данный» нам чувственный опыт. Тогда то, что мы переживаем как «наш мир», является результатом аккомодации сенсорных входных данных и тех способов, существующих в виде врожденных программ, которыми человеческие существа принимают и структурируют эту входную информацию.

Из нашей сегодняшней перспективы, когда мы располагаем знаниями, предоставляемыми соматической наукой – в особенно-

сти, работами Жана Пиаже – то, на что указывает Кант, кажется очевидным. Но в то время – а для тех, кто несведущ в соматическом отношении, и поныне – далеко не самым собой разумеющимся представлялось мнение о том, что люди являются активными участниками процесса бессознательного, автоматического структурирования мира, который «в непосредственном восприятии выглядит находящимся снаружи, отдельным от нас». Коперник из Кёнигсберга сообщил нашему мышлению категориально новую форму: теперь невозможно было думать об окружающем, как о «мире, существующем вовне, независимо от меня»; напротив, этот мир был неотъемлемым и неоспоримым образом «мой», «человеческий». Кант уловил затруднения скептического мировоззрения, ясно показанные у Юма, и раскрыл смысл мировоззренческого тупика, в котором оказалась решительно загнанная туда Юмом английская философия.

Преображение происходит, кажется, даже слишком гладко: усилиями Юма его философия оказалась «пойманной в мешок», и Канту оставалось лишь вывернуть мешок наизнанку, чтобы на неясные вопросы, касающиеся человеческого восприятия мира, пролился новый свет. Канту это удалось, несмотря на то, что он не располагал подтверждающими соматическими данными, полученными в течение двадцатого столетия. Несмотря на то, что он не мог опираться на понятие органической эволюции, согласно которому в пределах человеческой нейрофизиологической организации постепенно развиваются сенсомоторные структуры, дающие возможность направлять, ограничивать и контролировать то, что мы переживаем и узнаем в окружающем мире. Поскольку он выстраивал свою философскую концепцию, не имея этих позднейших свидетельств и не располагая этими позднейшими представлениями, многие его предположения относительно существующих *a priori* структур, определяющих человеческое существование и понимание, были ошибочны. Жан Пиаже, к примеру, выяснил со всей определенностью, что – в числе прочего – человеческое понимание пространства и времени не наследуется ребенком как целое, оно развивается лишь постепенно, по мере того как ребенок трогает руками окружающие его предметы и активно взаимодействует

с ними. То же относится к много обсуждавшемуся представлению о причинности.

Но отдельные характерные для Канта ошибки – ничто в свете его открытия и революционных преобразований, совершенных им в нашем понимании себя и познаваемого нами на опыте окружающего мира. До Канта был только *мир*: беспредельный, всемогущий и величественно даривший свой свет малым и ничтожным людям-фотокамерам, таким зависимым и таким пустым внутри. После Канта маленький черный ящик уже не был пуст, и не было больше беспомощной зависимости: камера стала живой, наполненной и изобиловала еще не до конца исследованными структурами, процессами и возможностями. Иммануилом Кантом была открыта *человеческая сома*.

Кто мог бы удержаться от улыбки, отдавая должное справедливости следующего замечания: первый Коперник разрушил веру человека в то, что он и его земля являются центром всего мироздания, и предоставил его ощущению собственной незначительности на фоне широкомасштабного круговращения светил и планет; второй Коперник спас человека от гнетущей власти безликого космоса и открыл ему новый центр: его самогó. И притязания высших божественных сущностей из-за пределов вселенной, и исходящий от действующих внутри этой вселенной законов вызов перестали занимать человеческий дух в его стремлении к приключениям; новым приключениям человека стал человек.

## 2. Кьеркегор, или как привести свой народ в землю обетованную, не умея обрести ее самому

Множество людей полагают, что с годами Сёрен Кьеркегор стал проявлять признаки нарастающего безумия. Довольно забавно, что при этом многие настроенные противоположным образом теологи-католицисты считают, что Кьеркегор демонстрирует все больше доказательств своего обращения в Римскую католическую веру. Для меня составило бы огромный интерес увидеть сторонников обоих мнений собравшимися вместе и сравнить их линии аргументации.

Правда заключается в том, что на закате жизни презрение Кьеркегора к существующей в Дании официальной Христианской церкви вылилось в шквал памфлетов, содержащих нападки на христианский мир, которые, кажется, свидетельствуют об утрате всякой сдержанности; но так же было и с Ницше. Оба они, по-видимому, переходят обычные границы, когда – среди многих прочих вещей – подвергают штурму христианскую культуру западного мира. Однако, если бескомпромиссное выступление с обвинениями против Христианской церкви некогда можно было принять за симптом сумасшествия, теперь – столетием позже – подобным признаком умопомешательства показалась бы безоговорочная поддержка того же учреждения.

Но если поставить вопрос прямо, этот удивительный сероглазый мудрец из Копенгагена *был* немного помешанным, так же, как Ницше в последние десять лет своей жизни – что можно утверждать определенно. Вся ирония в том, что у обоих безумие было вызванном одной и той же причиной: любовью. Карл Ясперс приложил много усилий, чтобы диагностировать болезнь Ницше, и пришел к выводу, что зимой 1889 года, когда Ницше плакал на улицах Турино, им овладел парез: добрые маленькие спирохеты, возбудители венерической инфекции, в конце концов разрушили один из самых проницательных умов в истории человечества. Ницше уничтожила Венера. С Кьеркегором было иначе: любовь не

убила его, а лишь заставила страдать; именно через этот любовный недуг Кьеркегора мы имеем возможность коснуться скрытой силы этого в других отношениях непостижимого человека.

У Ницше – как всегда – нашлось *словечко* на этот счет: «Что меня не разрушает, то делает меня здоровее». Здесь и заключена ирония сходства этих двух судеб.

У противника христианства Ницше и христианина Кьеркегора почти неправдоподобно огромное число общих черт; они разбирались в моей более ранней работе *Чувствительные экзистенциалисты*. Оба были «ненормальными» и в полной мере осознавали это. Оба были (Ницше выражает это подходящим словом) *unzeitgemäßig*<sup>20</sup>: шли не в ногу, были не в ладу со своим временем – оба это знают, принимают и терпят, адресуясь к виду человеческих существ, еще не рожденных, но которые, как им известно, вскоре явятся. Еще раз пользуясь выражением Ницше, оба осуждены были родиться посмертно.

Положим, Кьеркегор и Ницше были двумя великими перво-мутантами девятнадцатого столетия. Рождение их было случайностью. Обоим ясно, что они биологически осуждены быть не в ногу со временем и могут писать исключительно ради будущего. Кьеркегор возвращается к этому снова и снова: он не нормальный человек, предназначенный для нормальной жизни, он «исключение». Ницше также неоднократно говорит об этом, называя себя «свободным духом» и предшественником «Сверхчеловека». И так как и тот, и другой были перво-мутантами, их странная жизнь остается для нас столь же неизмеримо важной, сколь и их экстраординарные литературные произведения.

Оба они любили. Ницше охотно лишился бы уха, чтобы обладать Козимой Вагнер или Лу Саломэ (я сам отдал бы оба уха ради Лу, одной из самых обворожительных женщин, живших на склоне столетия). Для Кьеркегора такой женщиной была Регина Ольсен, приятная, чрезвычайно женственная особа, принадлежащая к среднему классу. Регина была своего рода олицетворением мечты каждого мужчины, зачитавшегося пасторальной идиллией об одиноком пастухе, набрешем вдруг на кроткую, заливающуюся кра-

---

<sup>20</sup> *unzeitgemäßig* (нем.) – несвоевременный.

ской смущения прекрасную собирательницу цветов в уединенном доле. Кьеркегор нашел Регину на узких улочках Копенгагена: полюбил ее, ухаживал за ней, сделал ей предложение, был помолвлен и бросил ее. Почему? Потому что он был «исключением» среди тех, кто мог бы жить «нормальной» жизнью, женившись на хорошенькой девушке из среднего класса и став отцом семейства.

В этом главная причина. Ей способствовало то обстоятельство, что Кьеркегор не был обеспечен идеальным семейным тылом. Ему приходилось довольно трудно с суровым отцом, который, будучи теологом-дилетантом, реализовывал выношенное им сознание виновности в бесконечных религиозных беседах с сыном. Но трудности в значительной степени сгладились, когда сын усвоил, что ветхозаветная озабоченность отца своей виновностью была не только теоретической, но и практической: Кьеркегор чудом избежал судьбы внебрачного ребенка; женщина, которая произвела его на свет и впоследствии стала его признанной матерью, была горничной. Подобные матери не из тех, что создают предрасположенность к браку и обзаведению семьей. Как не способствовала этому, в конечном итоге, и идея о том, что ему предназначено умереть, не достигнув среднего возраста, которую внушал ему отец.

Все эти странности нуждаются в упоминании с тем, чтобы мы могли понять, почему Кьеркегор счел себя обреченным быть исключением из обычных норм жизни людей и выводил из этой исключительности особую роль и особую силу воздействия, которыми он был наделен как философ.

Для того, следовательно, чтобы оправдать своеобразную семейную историю и предопределенную ему *Unzeitgemässheit*<sup>21</sup>, Кьеркегор признал, что идиллия буржуазного брака с достигнувшей брачного возраста Регина относится к числу невозможных для него вещей – однако и на исходе дней он не переставала тосковать об этом. Страдание, которым пронизаны все его произведения, сводилось к следующему: холостяк по убеждению, он был утонченным сластолюбцем по милости биологического рока. Следствием неизбежного в результате чувственного воздержания в литературном творчестве явился ряд поразительных исследований со-

---

<sup>21</sup> *Unzeitgemässheit* – несвоевременность.

матического опыта, вплоть до описания такового у дона Жуана и Христа, идеальные возможности которых Кьеркегор включил в единую картину человеческого бытия.

Я полагаю, Сёрен Кьеркегор был перво-мутантом, в собственном теле различавшим возможность сбалансированного, всецело осуществленного соматического существования, которую, однако, условия свойственные христианскому обществу первой половины девятнадцатого века, не позволяли себе реализовать. И он становится самым необычным исключением из общего правила, переживая эту возможность единственным доступным способом: пройдя невероятно сложный литературный путь, на котором он поочередно становится множеством разных личностей и исследует весь диапазон соматических возможностей. Все имена, все роли, бесчисленные ситуации и переживания, с которыми Кьеркегор идентифицировал себя, являются ярким свидетельством того, что он определял как свой рок: быть величайшим соматическим актером всех времен – намеренно точно проигрывать внутри себя все образы, насколько позволяло сделать это знание им (и способность описать в мельчайших деталях) каждого настроения, мотивировки и поведенческих подробностей какой-то личностной роли. Рок, семейная история и неблагоприятная окружающая обстановка, вынудившие его страдать от такого необычного жизненного занятия, обернулись в нашу пользу, поскольку он не только проигрывал в себе эти роли, но и пережил трудные переходные моменты, когда старая личностная роль, уступив, трансформировалась в новую: диалектика изменения, мутации и человеческого развития. Он испытал и изучил все соматические возможности человека и, кроме того, брался описывать их нам в самых живых деталях, что указывает на Сёрена Кьеркегора как на первого гуманистического психолога в истории человечества.

Или как на первого экзистенциального философа и феноменолога. В 1840-х и 50-х годах разница между соматическим ученым и соматическим философом была невелика. Но теперь, когда мы находимся в исторической позиции, из которой можем оценить, что произошло в течение последних ста с лишним лет, ясно, что такие течения, как экзистенциализм, феноменология и гуманистическая психология, могут быть поняты только как стержневые ветви осо-

бого направления развития: а именно, развития соматологии – как теоретической и технической дисциплины. Имея сейчас эту более полную историческую картину, мы можем судить о том, почему Кьеркегор, а также близкий ему во многих отношениях Ницше, не попадали под однозначное определение – «философов», либо «психологов», – несмотря на то, что их революционный вклад в обе эти дисциплины неисчерпаем.

Как я уже подчеркивал, и сам Кьеркегор, как личность, и его литературные тексты – явление сложное и уникальное; дав начальное представление о том необычном и «исключительном» роде деятельности, который он себе наметил, я не хочу погружать читателя в лабиринт произведений Кьеркегора, а лишь хочу определить наилучшим и конкретным образом особый вклад, внесенный им в соматическую мысль. Собрание своеобразных работ этого датского гения это магический театр с множеством комнат, по которым, встречаясь с различными происходящими там явлениями, читатель может путешествовать по своему желанию. Здесь моя задача – показать (настолько сжато, насколько это возможно), что это был за театр.

Это был театр человека: человека напрягающегося, ликующего, неряшливого или полного страданий, как он жил в этом мире, которого не мог ни избежать, ни преодолеть. Это был материал экзистенциальных драм, переложенный для нас Кьеркегором, дополненный «завтрашними» критическими статьями и комментариями. Пьесы и персонажи были одновременно и радостными, и грустными; репертуар в целом – в конечном итоге, ни комедийным, ни трагическим. Он отражал, скорее, существующее: действительный и возможный образ действий человеческих существ. Все люди виделись этому идеальному драматургу как существа, подчиняющиеся диалектике взаимодействия человека со средой, которое под неумолимым и безжалостным воздействием времени, вносящим искажения в этот процесс, преобразующим и реорганизуящим его, претерпевало одно видоизменение за другим, причем иногда действие большей частью происходило в среде, а иногда концентрировалось в человеческой соме. «Тут нет ничего действительного нового», – говорил Кьеркегор о своих драмах – «старая



история о человеке, рассказанная еще раз, возможно с большей искренностью».

Скромность Сёрена Кьеркегора была явно напускной: его изложение старой истории о человеке не только, вероятно, одно из лучших, оно в своем роде единственное, поскольку он увидел в этих диалектических историях нечто большее, чем тягу к непрерывной войне между нами и нашим миром, он различил их скрытый подтекст, имеющий решающее значение, который должен был увязываться с тонкими проявлениями болезни и здоровья, никем не замечавшимися по ходу драмы человеческой жизни.

Проводя театральную аналогию, следовало бы отметить, что в то время жил и другой обладавший самой широкой известностью драматург, интересы которого лежали в области исторической драмы. Его звали Георг Вильгельм Гегель; это был единственный из смертных, когда-либо – образно говоря – имевший успех, танцующий классический балет и выглядя при этом увальнем. Гегель также был необычным драматургом, но свои человеческие типы он рассматривал в существенно более стандартных понятиях: как в значительной мере безвольные пешки в исторической драме, ходом которой контролируется каждое их движение и судьба. Подобно трагическим образам софокловой драмы или комическим характерам мольеровских фарсов, его драматические персонажи были странно пусты и беспомощными личностями, достаточно случайными по отношению к реальной исторической ситуации, в водовороте которой они находились и которая увлекала их к развязке. Гегель был в большой моде.

Однако Кьеркегор, также как Карл Маркс, бывший его современником, усматривал явную ошибочность в том, что Гегелю представлялась драма человеческой истории. Ни тот, ни другой не отрицали ведущей роли исторического поступательного развития диалектического взаимодействия между человеком и средой, однако оба обладали достаточной восприимчивостью, чтобы понять, что человек ни пуст, ни пассивен в этом противостоянии.

Описываемой Кьеркегором характеристикой человеческой драмы – и ее уже упоминавшимся скрытым, но имеющим решающее значение подтекстом – является тот факт, что люди имеют неисчислимы возможности для роста, изменения и развития, заклю-

ченные у них внутри, и, кроме того, эти скрытые внутренние возможности могут реализоваться более ярко и полно, – настолько, насколько индивид сумел освободиться от гнета среды.

Способов, которыми человек может сосуществовать со средой, согласно описанию Кьеркегора, было три: во-первых, человек мог жить в «эстетической» (т.е. сенсорной) зависимости от среды, позволяя происходящим в мире событиям определять повороты своей жизни; во-вторых, можно было жить, будучи «этически» приспособленным к среде, позиция, в которой еще сохраняется зависимость от среды, но лишь с собственной точки зрения, тогда как на деле человек выносит миру приговор и агрессивно изменяет его в приемлемом для себя направлении; и, в-третьих, можно жить в состоянии «религиозной» адаптации к миру, позиция, в которой человек уже не ощущает свою среду как нечто, вызывающее хоть малейшие тревогу и страх. На этой последней стадии человек, постепенно ослабляя свое настороженное внимание к среде, получает возможность быть более внимательным к себе. Он приобретает умение утверждать себя и, таким образом, держаться действительно и полностью автономно по отношению к событиям, происходящим в среде. Внутри каждой из этих трех «стадий» или «сфер существования» различаются промежуточные стадии и направления, однако достаточно очевидно, что сами по себе эти три стадии представляют собой пофазовое движение от болезни и состояния дисбаланса к здоровому и уравновешенному состоянию.

Сейчас, когда сталкиваешься с такими терминами как «эстетический», «этический» и «религиозный», когда возвращаешься к тому, что христианству Кьеркегор придавал первостепенное значение, и осознаешь, что большинство авторов, для которых Кьеркегор представлял интерес, считали его теологом, попытка квалифицировать его как соматического мыслителя может вызвать недоумение. Однако мы должны отдавать себе отчет, что сам словарный состав языка, сама культура и та эпоха, в которую думал и писал Кьеркегор, задавали ограничения, с которыми он должен был бороться, чтобы разрешить невероятно трудную задачу: дать описание тому, что никем никогда отчетливо не осознавалось.

Для всякого, кто спустя более чем столетие познакомился с соматической мыслью, это лишь проблема перевода; как только пе-

ревод осуществлен, остается изумляться тому, что Кьеркегор сумел обнаружить в своей соматической лаборатории.

Как видится Кьеркегору, все люди рождаются «эстетически» зависимыми и в связи с этим все они больны; их истинное «Я» спит, пребывая в скрытом состоянии, мир управляет ими помимо их воли, оказывая давление на наиболее явно выраженные сенсорные потребности. Но это, в общем и целом, та точка зрения, которой придерживался и Ницше. И, если перенестись немного дальше, это как раз то, что считал правильным Фрейд. А еще позднее Райх рассматривал таким образом положение человека в традиционных условиях западной культуры. Все эти соматологии утверждают одну и ту же вещь: средней нормой западного общества является неуравновешенный недочеловек, чье беспокойство по поводу того, что может произойти в мире и что скажут или сделают люди, обуславливают подавление центрального ядра его соматического существа.

Переход от стадии к стадии, который Кьеркегор рассматривал как движение к самораскрытию, определялся процессами, посредством которых человек мог искоренить свои тревогу и страх перед миром и – до точности – начать распознавать, ощущать и проявлять внешним образом скрытые, подавленные аспекты своего существа, которые всегда присутствовали в нем как упорно напоминающая о себе бессознательная личность.

По моему мнению, Кьеркегора нужно понимать как соматического мыслителя, в противном случае его вообще невозможно понять. Он не находил понимания в течение нескольких поколений: вначале его произведения были непрочитанными, потом его воспринимали как эксцентричного теолога и дилетанта в литературе, затем – как теолога-экзистенциалиста, после чего в нем увидели неожиданного поборника психологии. Однако сегодня, в соматической перспективе, каждый может читать Кьеркегора и наслаждаться блеском его интуитивных прозрений и великолепием его находок.

Это касается и теологии. Возможно, именно теология способна раскрыть руководствующемуся соматическим интересом читателю некоторые наиболее убедительные данные биологической интроспекции. Фрейд и Райх, например, в их напряженном стрем-

лении проникнуть в живое тело в поисках истинной сущности и основы органической жизни не были первыми. То же пульсирующее сердце структурированной живой материи, в конечном счете, и было Богом, к которому, полагал Кьеркегор, приближаешься, когда выпадаешь из непосредственности средового окружения и позволяешь сознанию расшириться и укорениться в скрытой сердцевине соматического существа. Предлагаемая им формула для определения этого процесса гласила: конечное направление и цель движения от мира в глубину «Я» состояли в том, чтобы стать обладателем той *силы*, на которой зыблется существование субъекта. Назовем мы это теологией или мета-биологией, совершенно не имеет значения; важно, что такое утверждение служит свидетельством признания человека, его тела и предельной реальности существования в целом, в сущности, единым.

Я думаю, что экзистенциальная драматургия Кьеркегора и увекоченный ею Магический театр, вероятно, больше скажут читателю будущего столетия, чем даже нынешнему. Сегодняшний интерес к «расширению сознания», «тренингу сенситивности» и многочисленные исследования гуманистических психологов и нейрофизиологов только начинают приобретать определенные формы и теоретическое руководство. По мере того, как новые мутанты в современном нео-технологическом обществе начинают всерьез погружаться в исследование незнакомого мира своих сом, они открывают тропы, тайные убежища и гигантские пространства, хранящие следы бесконечно мягкого и терпеливого датчанина.

Кьеркегор умер, будучи поруганным и ненавидимый массами своих соплеменников, которым он внушал страх. Это не имело значения: он простил их много, много раньше – зная, что они не ведают, что творят. И простил с улыбкой, не горестной и печальной, но с той забавной олимпийской улыбкой, что была ему свойственна всю жизнь. В те последние дни он постоянно болел и испытывал страдание. Во время небольшой вечеринки в кругу близких друзей, когда он с обычным блеском и остроумием вел начатый разговор, тонкие ноги его внезапно подогнулись, и он рухнул на пол. Возле него встревожено засуетились друзья, склонившись, чтобы помочь ему подняться. Сёрен отстранил их, махнув рукой, и произнес: «О, не беспокойтесь: горничная сметет это завтра утром».

Самое худшее я приберег напоследок. Сёрен Кьеркегор был не просто перво-мутантом; он уже сложившийся мутант. Ему это было известно, он принял и пережил этот факт и посвятил свою жизнь и смерть тем человеческим существам, которые однажды уподобятся ему, но не будут иметь необходимости страдать от этого. В конечном счете, он был более от Христа, чем сам Христос, о котором он пишет так прекрасно и с таким отчаянием.

### 3. Маркс, или общество тел

Если бы экономика была наукой, Карла Маркса, не задумываясь, следовало бы поставить в один ряд с пятью остальными соматическими учеными. Однако экономика не наука: это трудная для понимания, кое-как упорядоченная смесь философии с ее помощницами историей, математикой, статистикой и кухонной раковиной. Да и Маркс не был экономистом; он был философом – соматическим мыслителем *par excellence*<sup>22</sup>, для которого занятие философией было не только размышлением и анализом, но, в основе своей, способом изменить мир. Впечатляющий успех, который его точка зрения имеет на данном этапе нашей истории, бесспорен.

Причина, по которой экономика не способна была стать наукой (и не станет таковой для многих еще поколений), состоит в том, что она была вовлечена в игру в догони-и-поймай с невозвещенными, не нанесенными на карту последствиями технологического взрыва, который в корне изменил западное общество. Экономика, которая менее чем 300 лет назад оставалась в полной зависимости от земли, была тяжкими путами, созданными для земли и сдерживания ее тирании. Однако технологическая трансформация, которая перенесла человека на новую эволюционную стадию его возможностей, это переход общества *от* экономики статичного изобилия *к* экономике динамичного изобилия. То есть, менее чем за 300-летний срок мы приходим к осознанию того факта, что богатство общества не в обладании статичными товарами, не являющимися продуктом человеческой деятельности, такими как драгоценные камни и металлы; богатство человеческого общества, скорее, заключается в способности людей производить и потреблять товары.

Действия: человеческие действия – производство и потребление, новое производство и новое потребление – это была спираль взаимодополняющих видов деятельности, которая стала мощным, постоянно увеличивающимся водоворотом, унесшим западное общество прочь от рабства земли – в невообразимое свободное

---

<sup>22</sup> *par excellence* – по преимуществу.

будущее, где источником людской уверенности становится не земля, а они сами и их способность изменить свою историю.

Неотъемлемой, заложенной в природе соматической эволюции является, как мы теперь знаем, первичная проблема выживания вопреки среде, которая индифферентна по отношению к человеческому выживанию: с точки зрения соматической науки, древние, первичные потребности, связанные с выживанием, являются экономическими – нужны достаточное количество пищи, воды, тепла и убежище, защищающее от мира, чтобы существование вида, по крайней мере, могло продолжаться. К несчастью для человека и всякой другой сомы, равнодушная и неприрученная земля «естественным путем» не производит *достаточного* для всеобщего выживания количества этих материальных предметов первой необходимости. «Естественным» для человека – и всех остальных сом, – при их зависимости и рабской покорности демонстрирующей небрежение земле, является состояние дефицита, экономика дефицита, в условиях которой выживает лишь тот, к кому особенно благосклонна судьба, и наиболее способный к адаптации. Такова была история всей органической жизни – в том ее аспекте, который касается существования в среде; при таком положении дел мотивы страха-агрессии сохраняли главенствующую роль в истории вида «человек».

За тысячи лет человек неолита выделил себя среди всех других животных, развив у себя основные таланты цивилизации; в ткацком и гончарном деле, земледелии, строительстве укрытий и приручении животных, а также в искусстве он уже приобрел базовые технологические умения. А если это так, то почему прорыв человека к современному технологическому знанию осуществился лишь несколько столетий назад? Великий французский антрополог Клод Леви-Стросс называет это Неолитическим парадоксом. Он высказывает предположение (близкое точке зрения Эрнста Кассирера) о том, что удивительное превращение, приведшее нас к настоящему водоразделу эволюции человека, произошло вследствие трансформации человеческого мышления: люди начали воспринимать себя и мир иначе и, таким образом, стали по-другому представлять себе свое положение. Как полагал Маркс, новое по-

нимание людьми картины человеческой жизни может стать прелюдией к новым человеческим поступкам.

К восемнадцатому столетию – и в этом, бесспорно, заключается разгадка Неолитического парадокса – человек достиг свою запутанную историю и стал выступать с ней единым фронтом. Не нужно искать здесь особую «причину»: длинная цепочка человеческих свершений – интеллектуальных, художественных, политических, религиозных и технических – достигла стадии брожения и трансформации, в условиях которой ни человек, ни его среда не остались прежними. земля вокруг больше не была устрашающим противником, чьи неожиданные удары люди могли лишь парировать; напротив, внимательные глаза страха научились различать открытые и слабые места у старого земного противника, и внезапный подъем агрессии вынудил людей повести широкое наступление на их давнего врага. Перед человеком забрезжил прекрасный новый мир – мир людей, не нуждающихся в страхе и рабской зависимости от своей земли. Результатом были самоутверждение и обретение уверенности, и (именно внезапно) существующее у людей чувство времени и истории претерпело метаморфозу, тогда как будущее раскрылось перед ними во всей полноте обещаемых им возможностей. Люди могли собственными усилиями понимать и контролировать извечного врага; и с приходом этого понимания агрессивные энергии вырвались наружу из до тех пор не вскрытых источников.

Таким образом, объяснение Неолитического парадокса это не вопрос свидетельствования в пользу материальной, исключительно, среды (как делают многие ортодоксальные марксисты) или, напротив, исключительно в пользу обнаружившего себя внутреннего духа человека (что свойственно многим идеалистам) как причинного пространства произошедшей человеческой трансформации, но вопрос включения и среды, и человека одновременно в единую картину сома-средовой эволюции. Пока это событие разворачивалось, всё было неизбежно. Именно это, между прочим, имеет в виду Ницше, когда он смотрит на все события с космической точки зрения и говорит о «предопределенности» случая и, как об ее результате, о «невинности случая».



Человек в гонке со средой переключал скорости и преодолевал страхи, и это имело своим следствием высвобождение новой энергии, используя которую люди принялись изобретать способы, позволявшие им активно потреблять столько, сколько они произвели. Наука и технология – потомки этой перемены в среде, а экономика – ее внучка.

Энергия человеческой агрессии, чтобы быть эффективно реализованной, нуждается в философском осмыслении и оправдании, поскольку эмоциональному выражению человека не может быть дан прямой выход, если оно блокируется на периферии морально-интеллектуальными оговорками. Энергии, участвующие в этой технологической агрессии, нашли своего поборника и защитника в лице добродетельного шотландского философа по имени Адам Смит.

Не нужно удивляться, что великое оправдание капиталистической системы пришло из Шотландии: страна гор и озер была хорошо подготовлена, щедро оплодотворенная теологией Жана Кальвина. Упрямые и осторожные шотландцы крепко сжились с пресвитерианской догмой о том, что избранные Божьи должны оправдывать свое предрешенное спасение глубокой преданностью занятию трудом: расслабиться и вести себя так, будто *знаешь*, что спасение несомненно – явствовало бы о грешном допущении, что тебе известно о будущем столько же, сколько Всемогущему Господу. Поэтому оставался единственный выбор: чем более усердно ты работаешь, тем в большей степени выказываешь тем самым смиренную неуверенность относительно Воли Божьей. Давая одной рукой, Кальвин отбирал другой; *Église réformée*<sup>23</sup> благословляла своих новообращенных одной уверенностью: в неопределенности. Таким образом, работа стала первой добродетелью, праздность – главным пороком. Шотландии явился призрак – призрак лени. И не одной только Шотландии: тот же призрак с той поры долго отбрасывал свою ужасную тень на всю Британию и американские колонии. Для Адама Смита почва была готова. Кальвинизму удалось совершить соматический трюк: используя боязнь расслабиться, подтолкнуть людей к беспокойному труду. Все, что нужно было

---

<sup>23</sup> *Église réformée* (фр.) – протестантская церковь.

сделать Смиту, это вскрыть еще одно, родственное органическое побуждение: мотив агрессии.

Каждый молодой республиканец должен учитывать то поразительное обстоятельство, что *Богатство народов*<sup>24</sup> было опубликовано в 1776 году; кажется весьма вероятным, что Всемогущий Господь Кальвина провидел, предрешил и благословил этот союз народа и экономической системы. Трактат Адама Смита был остроумным и путанным, простым и сложным; сквозь этот лабиринт просвечивают отчетливо очерченные контуры системы, которая почти магически упорядочила то, что казалось до тех пор хаосом экономической жизни.

Смит выявил взрывоопасный резервуар агрессивной человеческой энергии, показав, что обществу необходимо *позволить* людям следовать их собственному личному интересу; тогда они попали бы в условия конкуренции со *всеми остальными* людьми, и факт конкуренции имел бы исключительно благотворное влияние на общество. Необузданный эгоизм и конкуренция (в то время, как каждый индивид сражался за захват своей доли рынка) путем саморегуляции уравнивали бы друг друга. Если бы кто-то стал продавать свои товары слишком дорого, это, в конечном счете, не принесло бы ему выгоды, поскольку остальные, говорившись, стали бы продавать товар дешевле него, вытесняя его из дела. Следовательно, конкуренция гарантировала потребителю самые низкие цены. И это еще не все: потребителю гарантировалось также изобилие товаров. Случись, что количество какого-то вида продукции было бы недостаточным, потребительский спрос на нее заставил бы цены ползти вверх, пока это изделие не вздорожало бы; это привлекло бы в производство продукции того же наименования других предпринимателей, введя таким образом в конкурентную борьбу множество производителей, и изделие это изготавливалось бы не только в большем количестве, но и стало бы дешевле.

Более того, если прибыль и заработная плата в каком-то виде бизнеса были низкими, капитал и труд перетекали в более доход-

---

<sup>24</sup> Богатство народов – книга А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».

ные виды бизнеса. Тем не менее, если в какой-то другой сфере доход и зарплата были высоки, поток инвестиций и рабочей силы расширяли этот бизнес до тех пор, пока превышающей средний уровень прибыль и зарплата в этой сфере не выравнялись внутри конкурирующего рынка.

Таково волшебство философии: сквозь туман событий все вдруг сходится воедино и обретает смысл. Что касается смысла экономических событий, до него Адаму Смиту было подать рукой: ничем не сдерживаемый эгоизм в конкуренции за тот же самый рынок создавал саморегулирующуюся систему, действующую ко всеобщей пользе – в этом, в двух словах, состояло его интуитивное озарение. Объяснение Смита не только было интеллектуально удовлетворительным, он ухитрился сделать его убедительным с христианской точки зрения: если ты *истинно* заинтересован в благоденствии других, тебе нужно общество, в котором личная заинтересованность является первостепенной.

*Богатство народов* была – и остается – ошеломляющим интеллектуальным достижением, она ставит Адама Смита рядом с Карлом Марксом – эти мыслители являются двумя крупнейшими философами современного периода в области экономики. Двое ученых близко дополняют друг друга и один другому необходимы: во многом тем же путем, каким прояснившееся благодаря Юму сделало возможной Кантову революцию в эпистемологии, результаты выдающегося анализа, проведенного Смитом, делают возможной революцию Маркса в экономической мысли. Величие Смита и Маркса неоспоримо не потому, что сказанное ими – окончательная «истина», но – что значительно важнее – вследствие фантастического *влияния*, которое их сочинения впоследствии оказали на развитие экономических институтов. Не имей идеи Адама Смита воздействия на развитие западной технологии, Карл Маркс не говорил бы о нечеловечески продуктивной фабричной системе, в которой он усматривал сущность смитовского капитализма и которая, на его взгляд, двигалась в направлении неминуемого, самообусловленного крушения.

И Смит, и Маркс вели борьбу с имеющим характер взрыва, абсолютно экстраординарным явлением научной технологии; оба пришли к рассмотрению этих развивающихся явлений в поняти-

ях системы: Смиту эта система представляется вечно расширяющейся и благотворной; Маркс на более позднем этапе видит ее как обреченную и порочную. То, что оба они были правы в своих аналитических построениях и ошибались в прогнозах – не показатель их общего недостатка одаренности, но лишь свидетельство того факта, что экономика является не наукой, а последовательностью философских перспектив, стремящихся угнаться за бурно изменяющейся технологической историей, которая пока еще не достигла завершенности гомеостаза. Увиденное Смитом в 1776 году и открывшееся Марксу в 1848-м было настолько глубоким восприятием того, что-имеет-место-в-действительности, насколько это возможно. Однако если капитализм *не* стал саморегулирующейся системой навечно, и если ничто *не* предвещает, что капитализм разрушит сам себя, то это потому, что именно та самая технологическая эволюция нескольких прошедших столетий непрерывно создает новые элементы экономической картины, которые ни Маркс, ни Смит никогда не сочли бы вероятными. Подобным же образом печальные пророчества Томаса Мальтуса и Давида Рикардо страдали того же рода частичным искажением.

Как он сам как-то подчеркнул, нет ничего более очевидного, чем пессимистическое уравнение Мальтуса относительно населения и бедности: земли под сельскохозяйственное производство ограничены, однако увеличение человеческой расы не имеет границ; поэтому неизбежно в конце концов ртов будет больше, чем имеется пищи, чтобы их накормить. Следовательно, для лишних ртов неминуемы бедность, голод и смерть от недоедания.

Или возьмем превосходно нарисованную Рикардо картину, показывающую как капитал и труд будут расширяться и производить (как и предвидел Адам Смит) большее количество товаров. Однако, замечает Рикардо, единственное, что не увеличивается в размерах, это земля, производящая пищу на продажу этим беспокойным капиталистам и рабочим; так что по мере того, как прибыли и заработная плата растут, это неизбежно будет сопровождаться равным повышением цен на сельскохозяйственные продукты, съедая таким образом заработки капиталистов и рабочих и способствуя извлечению выгоды помещиками, которые контролируют постоянную продукцию земледелия. Рикардо объяснил пред-

принимателю, равно как и чернорабочему, что в экономическом отношении они в буквальном смысле идут в никуда; вернее, они захвачены системой, в которой их усилиями обогащаются лишь землевладельцы, но никак не они сами.

Подобно экономическим прогнозам Маркса и Смита, предсказания Мальтуса и Рикардо отзываются мыслью о непроницаемых покровах неизбежности. Однако настоящий экономический процесс, описанием которого они были заняты, не стоял на месте, словно внезапно мумифицировавшись до состояния ригидной системы; скорее, этот процесс подвергался «возмутительным» изменениям. Население на Западе *не* проявляло тенденции к «неизбежному» удвоенному росту, но шло на убыль, оставаясь в приблизительном балансе с экономическим производством. Производство сельскохозяйственной продукции также *не* оставалось стабильным и пополняющим состояния землевладельцев, напротив, земледелие стало сверхпроизводительным и поэтому разорительным для крестьян, с ужасом наблюдавших, как в условиях свободного рынка все ниже падают сельскохозяйственные цены.

Адам Смит и не мог предвидеть внутри своей системы периодов инфляции и депрессии, которые позднее стали постоянным кошмаром в развитых капиталистических обществах. Карл Маркс, будучи приверженным тому, что он наблюдал в европейской экономике середины девятнадцатого столетия, никогда и ни при каких обстоятельствах не поверил бы, что пролетарские профсоюзы в один прекрасный день вступят в союз с буржуазными промышленниками против требования более низких цен для потребителя. И было трудно представить, чтобы в те моменты, когда капиталистическая система терпела бедствие, федеральное правительство («буржуазное государство») вмешивалось бы в систему свободной экономики, регулируя распространение инфляции, либо вкладывая народные деньги в застойную экономику, когда частные инвестиции не производили желаемого результата.

Я хочу сказать, что экономика это игра с приближенными правилами, поскольку она до сих пор не стала предсказательной наукой. Точнее, экономика изначально была соматической игрой, диалектика внутреннего движения которой скрывалась за процес-

сом взаимообмена между трансформирующимися человеческими сомами и их изменившейся средой.

Непреходящее значение фигуры Карла Маркса состоит в том, что как социальный философ он был первым, кто заглянул внутрь примитивных биологических процессов, которые лежали в основе не только «экономической», но всей человеческой истории. Как заметил в 1888 году его элегантный альтер эго, Фридрих Энгельс, теория Маркса сделала для истории ровно то же, что Дарвин для биологии. И Энгельс был прав. За целое поколение до публикации дарвиновского революционного *Происхождения видов* Карл Маркс – в своих юношеских протестах и попытках пересмотреть гегельянство – обнаружил эволюционный процесс соматико-средового обмена.

Марксом было открыто следующее: определенного рода политические и интеллектуальные структуры, типичные для *каждого* этапа человеческой истории, *всегда* были прямым отражением более базисной ситуации, касающейся того, как произведены необходимые для жизни вещи, кто их производит и как общество устанавливает распределение этих вещей; классовые разногласия в любом обществе это лишь расхождения функций, с точки зрения которых некоторые имеют больше прав на то, что произведено, а некоторые меньше.

Когда бы муравьи и пчелы умели говорить, или у Маркса были бы биологические данные, которыми располагал Дарвин, муравьи, пчелы и Маркс объявили бы это утверждение обобщением, касающимся не только человеческого вида, но также *всех* видов животных. В экономической ситуации дефицита – которая была участью всех живых существ вплоть до последних нескольких столетий – идет неизбежная борьба за выживание, и результатом этой борьбы всегда является установление порядка клевания (т.е. «правлящего и угнетенного классов»), при котором кто-то вытягивает короткий конец палочки, а кто-то длинный. Назовем ли мы это биологически мотивированным «порядком клевания» или предписанной окружающим условиями «классовой структурой», это вопрос чисто теоретический, пока мы отдаем себе отчет, что с соматологической точки зрения, сказав здесь «и тот, и другой», мы говорим «оба». Всякому, кто воспринимает Маркса как чистого сторонника

идеи определяющего влияния среды, он видится в ложном свете – еще одним унылым и лишенным воображения детерминистом (и это коварная западня, подстерегающая большинство догматически мыслящих марксистов). Сходным образом, если человек, ориентированный этологически, воспринимает порядок клевания как полностью неадаптивный, автоматически запрограммированный органический феномен, он лишает себя какого бы то ни было понимания как эволюции, так и этологии, и сводит дело к абсурдному в равной степени биологическому детерминизму.

Однако это лишь одна сторона подлинного открытия Маркса. В действительности он осознавал не только то, что мы должны расценивать все общества *прошлого* как, по существу, выражение наших собственных внутренних проблем и вариантов разрешения вопроса о том, как жить в ситуации дефицита, но и то, что ныне мы должны рассматривать *современные* общества как функционирующие в радикально изменившихся условиях. В этом месте Маркс отбирает мяч у Адама Смита и играючи уводит прямо на другой стадион. Маркс считал, что научно-технологические усовершенствования, наличествовавшие при капиталистической системе (которая, в противном случае, была бы лишь еще одним звеном в длинном ряду типично *дефицитных* видов экономики, построенных на системе «угнетатель – угнетенный»), – что эти усовершенствования имели своим результатом ранее не известное событие эпохального значения в человеческой истории: наша технология производила *теперь* прибавочную стоимость и, впервые в истории, мы больше не были в дефиците. Технологические усовершенствования привели нас к этапу социальной истории, когда древняя деятельность по установлению экономической очередности клевания и классовые структуры угнетателей и угнетенных уже не являются необходимыми факторами, в соответствии с которыми *непрерывно* должно быть упорядочено человеческое общество.

Все предыдущие общества *неизбежным образом* были обществами имущих и неимущих, так, что этому нельзя было помочь: выносить приговор таким обществам прошлого не было заботой Маркса – он лишь знал, что они *были* классовыми обществами. Однако основным, имеющим решающее значение событием, которое

(невероятно, но) состоялось, был тот факт, что типично дефицитарная экономика, какой является капитализм, обрела реальные опоры для своей дефицитарной системы, выросшие прямо из-под ее основания: «система» действовала так, словно «на всех недостаточно», однако наличие прибавочного продукта показывало, что «на всех более, чем достаточно».

Во всем этом нет ничего туманного или зловещего: просто Маркс увидел истину. Система экономики больше не соответствовала экономическим реалиям; и, следовательно, технологическая среда вызывала изменение в человеческой системе экономической организации. То, что Маркс (подобно всем великим экономистам) поддался соблазну «предсказать», что это изменение «должно было» произойти путем социально-экономической революции, а не эволюционным образом, в настоящее время – не больше, чем вопрос бессмысленных споров между учеными и фанатиками по обе стороны Западно-Восточного занавеса. Существенен факт понимания Марксом того, что происходило в рамках этой конфронтации между производящей излишек *реальной средой* и *человеческой средой*, организованной по дефицитарному принципу, и данное им предсказание относительно того, что реальная среда в конце концов заставит человеческий строй измениться и адаптироваться.

Вот что такое двадцатое столетие с его взрывным действием: это триумф, в конечном итоге, человеческой технологии и кошмарная проблема приспособления человеческого общества *во всех его обычаях* к этому событию, которое никто (и весьма немногие в нашей традиционной культуре) никогда не мыслил, как возможное. «Век тревоги»? Нет, «век адаптации» – период, который на Западе сейчас подходит к концу. Адаптация в действии, перво-мутанты беспорядочно, но убедительно ломают старые, не соответствующие своему времени системы по *обе* стороны железного занавеса, и жизнь будущего столетия создается в муках.

По мере того, как угасает текущее столетие, обманы постепенно развеваются. Во всех информационных и образовательных институтах, как в капиталистических, так и в социалистических странах, измышления по адресу Карла Маркса и Адама Смита являются любимым развлечением ревнителей культурной традиции. Все еще стоящая перед традиционалистами задача заключа-



ется не в том, чтобы думать, исследовать и исправлять, но лишь корпеть над теми же банальными измышлениями относительно общественного устройства друг друга, тогда как – в то же время – все меньше и меньше людей слушает их. Когда американские или советские лидеры утверждают, что их экономическая философия является фактором, определяющим соответствующие их достижения, они либо лгут, либо болтают вздор, подобно сумасшедшему. Даже просвещенный американский капиталист не *верит* в Адама Смита, и для американских политических трибунов приписать происхождение американской производительности заслугам отверженного шотландского философа, а не тем ученым, специалистам по технологии и инженерам, которые были ответственны за ее создание, означает расписаться в недостаточности соматической адаптации к реальной среде, которая равносильна политическому умопомешательству.

Советы в этом отношении ничуть не лучше: им нет нужды приписывать Марксу то, чего они добились в такой невероятно короткий срок. Маркс был забыт, и общественное сознание советского блока официально стал представлять человек, сделавший все это возможным – «сатанинский» малютка Сталин: он хладнокровно взял отсталый народ и – «для его же пользы» – кровавыми методами заставил отладить мясорубку технологической реорганизации общества: вы либо соответствовали форме, либо делались измельченными. Китайцы чувствовали, что именно такому бездушно-кровавому распределению по категориям должны следовать и они, если они намерены добиться скорой индустриализации. Однако программа «распределения по группам ради создания технологии» является тоталитарной технической программой, но никак не марксистской и не коммунистической. Следовательно, для российских лидеров это опять-таки пахнет политическим умопомешательством: приписывать Марксу и коммунизму то, что сделала технология, и отказываться вовсе признавать значение Сталина из-за того, что он сделал это столь быстро и эффективно. Но в советском лагере есть и более молодые умы, которые очень хорошо знают, что такое жизненная действительность; им известно, что официальные заявления это поток привычной лжи, извергаемой

слепой традиционалистской машиной, которая является политически неадаптивной.

Перво-мутанты в индустриализированных обществах по всему Востоку и Западу быстро приспособляются к реалиям технологической среды и борются за то, чтобы избавиться от силков традиционного идеологического мышления. По мере того, как они справляются с этой задачей, они обнаруживают Маркса *не позади, а впереди* себя. Маркс не был идеологом. Равно как Христос не был христианином, Маркс не являлся марксистом; лучше сказать, что он был величайшим социальным философом последних полутора столетий, который увидел, что изменение человека вместе с его технологической средой выведет людей за пределы экономических классов и за рамки политических идеологий, являющихся выражением их интересов. У этологов есть специальный оборот для обозначения функции Маркса (и Адама Смита): они были «пусковым фактором» соматической энергии. Точно так же, как определенная видовая раскраска или особые волнообразные движения бедер делают явными агрессивные энергии у рыб или чувственные – у человека, таким же образом великие экономисты были «вербальным пусковым фактором» человеческих форм энергии. Адам Смит помог нам приблизиться к сегодняшнему дню на волне освобожденной агрессии; Карл Маркс ведет нас в будущее, имея в виду конечное стремление к неагрессивности, релаксации и созданию свободной общности человеческих тел – тел, которые наметят себе пути, ведущие к успеху, иные, нежели нынешние агрессивные программы, мотивированные страхом.

К тому времени, на которое пришлось последние два десятка лет его жизни, Маркс уже овладел этим сома-средовым видением человеческого прошлого и будущего. В *Немецкой идеологии* он рассматривал всю науку как историческую и эволюционную в пределе, он считал, что исторические науки о человеке и о природе не могут трактоваться по отдельности, но лишь совокупно, поскольку растущее влияние человека на природу, а затем природы на человека было взаимоответным. В ближайшее время этот взаимоответный исторический процесс достигнет периода, когда человек больше не будет в наших глазах рабочим или капиталистом, борющимся за выживание, мы будем принимать *человека*

просто как *человека*, а его отношение к миру – как человеческое. В такой ситуации взамен любви можно получить только любовь, взамен правды – правду и т.д. – эти реальности человеческой жизни уже не пригодны для обмена на деньги. Человеческая эволюция сбросит тяжкий груз прошлого и двинется навстречу дальнейшим приключениям в адаптации.

Он не имеет конца, этот сома-средовой диалектический процесс. Он приводит в движение и все время продолжает плести то, что мы называем историей, и это жестокая игра, за которой нужно поспевать: если вы недостаточно проворны, вы потеряете след и останетесь позади. Имя этой игре – жизнь; и никогда не лишним будет напомнить себе, что она только для живых.

## 4. Кассирер, или как опознать мутанта по его символическим отметинам

Может быть с греками, приносящими дары, следует быть осторожнее, однако к немцам это не относится; им принадлежит роль великих дароносцев двадцатого столетия, делившихся с другими народами не второразрядными достижениями, но всем самым лучшим. За этой щедростью скрывается то обстоятельство, что народ Германии всегда выделялся среди западных наций особым нравом, в согласии с которым мотивы страха-агрессии у немцев запускаются их собственной культурой.

Дело не только в том, что немцы испытывают обычный, идущий из древности соматический страх перед средой, побуждающий их сражаться с порождаемыми ею проблемами, но, в частности, в том, что им свойственен особого рода страх: страх оказаться в чем-либо слабыми и низшими. В ответ на боязнь неполноценности возникает обращенная на себя реакция гнева, агрессивное желание наказывать и контролировать себя так же, как окружающее. Оказавшись в положении специфической соматической неуравновешенности – единственным выходом чувственной экспрессии у них традиционно является пищевая чувственность, связанная с обжорством – они побудили себя к экстраординарным достижениям в точных и гуманитарных науках и технологии: типичный для немцев мотивационный стимул – это ни в коем случае не просто *достаточно* значимое свершение в этих областях, но всегда – *далеко выходящее за рамки достаточности*, – словно отвечая на вызов земной среды, они к тому же должны принимать свой собственный вызов.

По этой причине и в науках, и в философии немцы были великими вершителями сверх-достижений, великими систематизаторами, мастерами доводить до конца и совершенствовать. Средиземноморские народы, напротив, не преследуемы одержимостью *Vollkommenheit*<sup>25</sup>: *обязательным* приведением вещей к завершению, к системе. Они – реалисты «от среды», которые делают как раз достаточно и оставляют на этом.

---

<sup>25</sup> Vollkommenheit (нем.) – законченность, полнота, совершенство.

Итак, наша задолженность перед немцами велика. Эта культура сверх-достижений взрастила великих философов, ученых – специалистов в области точных и гуманитарных наук, которые были не просто «великими людьми» своей отдельной культуры, но – зараженные навязчивым супер-образованием, через которое они прошли – были поистине поразительными людьми. Однако ирония в том, что стоит немцу достичь величия, и он становится космополитом и теряет свою германскую принадлежность: он занимает позицию в стороне от своей культуры и становится чуждым ей, а она ему. Принадлежащее Генриху Гейне *Heimkehr*<sup>26</sup>: представляет собой едкое и остроумное описание характерной неспособности «вернуться домой», к германской культуре, на которой воспитан.

Однако немцы в конце концов (и с успехом) свели воедино все нити своего национального бытия и добились создания согласованной *Deutsche Kultur*, которой они так долго и страстно желали, и эта кристаллизовавшаяся национальная культура была как раз той, появление которой всегда предощущали космополиты, те из них, кто достигли полного понимания себя и своего народа; и именно это предощущение делало их отчужденными. Культурная предрасположенность в конечном итоге оформилась в нацизм, и немецкий народ, ликуя, обрел себя. С потрясающей точностью немцы направили свое отвращение к себе на собственную соматическую противоположность: их подавленной второй натурой были евреи, уникальный народ, которому христианским Западом было отказано в нормальных социальных способах агрессивного выражения, и поэтому, подобно всем притесняемым меньшинствам (женщинам, чернокожим, цыганам), ставший чувственной и лучше сбалансированной соматически нацией.

А затем посыпались подарки: немецкие евреи и друзья немецких евреев – все изгнанники, все нечистые и не востребуемые кристаллизовавшейся немецкой культурой. На протяжении всех 30-х остальная Европа и в особенности Соединенные Штаты принимали и во сне не снившийся благодетельный поток наиболее образованных и восприимчивых умов западного мира. То, что мы сегодня имеем превосходные университеты на всем пространстве

---

<sup>26</sup> Heimkehr (нем.) – возвращение (домой или на родину)

Соединенных Штатов – а не только в отдельных центрах, – обусловлено тем простым обстоятельством, что в то время, как немцы опустошали свои университеты и образовательные институты, наши начали заполняться.

Одним из таких даров от германской нации был Эрнст Кассирер (подаренный вначале Колумбии, а позднее Йелю). Кассирер был энциклопедистом, человеком, обладавшим широтой знаний, в таком многообразии и таких сокровенных деталях встречающихся, во всяком случае, нечасто. Самим по себе было бы достаточно поставить Эрнста Кассирера в ряд с отмеченным мировым гражданством великими энциклопедистами двух истекших столетий. Однако Кассирер был не только «эрудитом»: колоссальная ученость, которой он достиг, служила орудием чего-то большего: философии. Объединение масштабов его знания и широты философских интересов имело, в данном случае, свое предназначение: в философскую программу Кассирера входило не меньше, чем постижение эволюции человеческой культуры и человеческого сознания от их начала до сегодняшнего состояния. Результатом было трехтомное произведение *Философия символических форм*, книга, которую мог написать только немец, причем немец, космополитически мыслящий.

Я хотел посвятить Кассиреру отдельную небольшую главу не только с тем, чтобы рассказать о его идеях, но прежде всего для того, чтобы показать занимаемое им место в традиции соматической мысли и подчеркнуть огромное значение, которое отведено ему в рамках этой традиции.

Обсуждая Кьеркегора и Маркса, мы в обоих случаях ссылались на их отклик на философию Гегеля. С Кассирером эта необходимость встает опять. Очевидно, Гегель играет несомненно важную роль в истории соматической мысли и науки если не по какой иной причине, то вследствие того, что он послужил катализатором соматической мысли. Объяснением, почему Гегель был таким катализатором, явилось то, что, взяв Кантову «революцию Коперника», он поставил ее на колеса (великолепные колеса!). Революционное открытие Канта заключалось в том, что человек обладает структурами восприятия и осмысления, которые обнаруживаются в действии и взаимодействии с сенсорными стимулами таким образом, что *мы* являемся как бы (бессознательными) участниками

ми видения мира тем способом, каким мы видим его при наличии сенсорных стимулов. Гегель выполнил пересмотр этого открытия применительно ко времени, к истории. Особо он настаивал на том, что существует не просто одна группа структур, на языке которой мы, люди переживаем мир (о чем гласила теория Канта), но что было множество более ранних, более примитивных способов переживания людьми их мира, и что до сих пор должны образовываться более продвинутые способы, в соответствии с которыми люди будут видеть и понимать мир. Словом, Гегель старался показать, что есть эволюция в человеческом сознании.

Впрочем, гегелевский взгляд на эволюцию не был соматическим: в его рамках человеческое сознание не рассматривалось как развивающееся из сома-средового обмена, в условиях которого каждый воздействует на другого, вызывая изменение и адаптацию; лучше сказать, Гегель видел эволюцию как идеалистический процесс: а именно, по его мнению, единственной организующей силой, стоящей за эволюцией человеческого сознания, был трансцендентальный Божественный Дух. Этот Дух от начала времени питал человечество все более рациональными способами видения, понимания и поведения в мире; окружающий мир никак не участвует в этом или, вернее, лишь *реагирует* в ответ – упрямо и равнодушно. Всякая новая идея, из тех которыми снабдил человека Дух, в средовых условиях осуществляется лишь наполовину: физическая материя и органическое вещество следуют своему пути, так что каждая прогрессивная ступень в человеческой истории есть всего лишь половина ступени и компромисс. Как она видится Гегелю, это игра, идущая на малой скорости; однако Дух, будучи вечным, вынужден вести эту игру во все времена, медленно и терпеливо, подталкивая людей к той заключительной фазе истории, когда не только человек становится до конца и во всех отношениях разумным, но таковой является и его среда.

Сейчас эти материи приятно волнуют: великолепные колеса, подведенные Гегелем под кантовские идеи, и экипаж, который он водрузил на них, обладают всей помпезностью и торжественностью каллиопы<sup>27</sup> из цирка П.Т. Барнума. И на протяжении первой

---

<sup>27</sup> каллиопа (амер.) – клавишный музыкальный инструмент.

половины девятнадцатого столетия, когда люди начали ощущать эффект технологического преобразования, гегелевский исторический подход был единственным «средством передвижения», которое, кажется, приводилось в движение чувством эпохи.

Но кто были наделены самым острым чувством эпохи, так это Кьеркегор и Маркс, и они (что было необъяснимым в то время) подняли на смех систему Гегеля: Кьеркегор высмеял ее; Маркс, будучи немцем, разобрал эту систему кирпич по кирпичу. Из нашей более поздней временной перспективы мы имеем возможность с точностью понимать, что Кьеркегор и Маркс ставили своей задачей: первый защищал человеческую сому и ее могущественные структуры; второй выступал в поддержку мировой среды и мощнейших структур последней. И Кьеркегор, и Маркс понимали, что нет необходимости пробуждать древнюю идею внеличного, сверхестественного Духа, чтобы объяснить происходящее в отношении человека и его истории; сомы и среды было достаточно. И каждый из них в отдельности вел свою защиту блестяще и эффективно.

К тому времени, как в 20-х годах Кассирер начал составление своих трехтомных *Symbolischen Formen*, эта реакция Маркса и Кьеркегора получила поддержку: в том, что касалось среды, со стороны Дарвина, а в соматическом отношении – со стороны Фрейда; и Ницше подытожил все это соматически. Вслед за этим Кассирер становится гегельянцем – не в смысле *следования системе* Гегеля, но одобряя гегелевский философский замысел: дать описание эволюции человеческого сознания. Важная роль Кассирера состоит в том, что он заново, в двадцатом столетии сделал то, что Гегель – испытывая нехватку экспериментальных данных – первоначально предпринял усилие сделать в девятнадцатом. *Философия символических форм* обладает всей силой, размахом и компетентностью, что так явственны в гегелевской попытке, но теперь это усилие соматически уместно. Как сильный шторм скрадывает горизонты, так великое творение Кассирера окутало двадцатый век мерцанием и проблесками огней, то и дело целиком освещающих место действия. Принимая во внимание его пристальный интерес к эволюционирующим формам человеческого восприятия и умственных способностей, Кассирер является философским двойником Жана Пиаже с его научными исследованиями; к тому же он



проливает свет на наше понимание соматической науки и соматической мысли в целом.

Кассирер рассматривал эволюцию человеческого восприятия и осмысления окружающего мира как процесс, в ходе которого конструировался каждый шаг развития способности человека изобретать и оперировать *символами*, опосредующими его связи с миром и позволяющими ему интерпретировать, видеть и понимать мир более успешно. Что отличает человека как животный вид, так это его успехи по части выдумывания и использования символов. Люди *различают* в чувственном мире ничуть не больше, чем животные; эволюционный успех человека не имел ничего общего с более ясным видением среды, скорее, с более эффективным ее *пониманием*, таким, которое дает возможность управлять средой для того, чтобы выжить. В условиях, когда имеется непрерывный поток сенсорных стимулов, входящих в человеческую соматическую оболочку, перед человеком вставала проблема добиться чего-то закрепленного и стабильного в его осознании среды; это *достигалось* через посредство символов (образов, языка, числа, алгебры), которым человек следовал, изолируя и фиксируя этот сенсорный поток, чтобы иметь возможность изучать, запоминать, прогнозировать его и практически воздействовать на эту вечно меняющуюся среду.

Кассирер делает неопровержимым фактом то, что в ходе медленного культурного движения вперед – от примитивного мифологического склада ума к современной понятийной ментальности – человеческая раса начинает *видеть* данное чувствам все меньше и меньше, и все лучше и лучше понимать применимые к нему принципы. Эволюция человеческого сознания был неуклонным движением *от* множества чувственных деталей *к* простоте абстрактных понятий; одним словом, современные цивилизованные люди не способны воспринимать с той остротой и вниманием к деталям, которые характерны для первобытного человека – между нами и нашей средой стоит усвоенная традиция использования символических форм, под давлением которой мы вынуждены воспринимать и осознавать среду в корне иначе, чем это делали первобытные люди.

Примитивные народы не могли воспринимать и осознавать мир так, как это делаем мы, как раз потому, что они не имели соответ-

ствующим символом. Проведя обширный анализ, Кассирер показал, что язык первобытного племени (его символы) прямо отражает его сознание мира: язык и поведение членов племени являются строго согласованными, выражая настолько сложное понимание мира, насколько (в точности) разветвлены символические структуры, через которые они могут опосредовать свой мир.

Таково соматическое понимание человеческого сознания, в рамках которого человек и его способности к символизации рассматриваются в эволюционном контексте. А также подтверждается значение языка как живого процесса, начатое фон Гумбольдтом и продолженное Хомским; этот подход радикально отличается от представлений Оксфордской школы лингвистического анализа, предпочитающей ограничиваться лингвистической аутопсией.

Но даже если Кассирер откровенно восхищается развившимися к данному моменту понятийными способностями современных людей, он, тем не менее, осознает тот факт, что человек продолжает развиваться, и что даже эти сегодняшние высокие достижения ограничены и спорны. В длительной борьбе за отказ от мифологического сознания и достижение понятийного люди сменили одну разновидность «мира» на другую его разновидность; однако все же остаются еще другие «миры», которые нам предстоит открыть.

Подобно всем соматическим мыслителям, Кассирер полностью отдавал должное великолепию научной технологии и породившему ее типу сознания; однако [следование] научной технологии это не последний способ понимания и действия в нашем мире. Понятийное, обращенное вовне сознание не является предельной формой человеческого сознания. Поскольку люди живы, они развиваются; а коль скоро они развиваются, возникают новые формы сознания, осмысления и поведения.

И благодаря Кассиреру у нас есть ключ для того, чтобы узнать, какие из этих изменений возможны: он открыл нам, что они происходят лишь через посредство новых символов и новых лингвистических событий. Взгляните на молодежь в западном обществе и задумайтесь. Являются ли новые символы крайностью, странностями языка или они представляют собой явление, события в поведении? Если так, задержите свое внимание и присмотритесь: они – приметы меняющегося сознания.

## 5. Камю, или убийство и чувственность

Что касается Альбера Камю, его не только никому никогда не удавалось поддеть и отнести к какой-то категории, но не было никого, кто когда-либо казался способным выступить с удовлетворительным ответом на вопрос: почему его личность была так значительна? Бесспорно, он имел неотразимое влияние на своих читателей, но что, в конце концов, это значит? Профессиональные философы изучают его эссе и приходят к выводу, что он был интересным философом, но не *таким уж* распрекрасным. Специалисты в литературе читают его романы, новеллы и пьесы и заключают, что он определенно хороший писатель, но не обязательно великий. Но в каком-то смысле, в некотором отношении он *был* распрекрасным и *был* великим. Итак, все склонялись к ответу неудовлетворительному, но смутно справедливому: он был хорошим человеком. Или предположительно более скромному: он был *человеком*.

Согласен. Я сидел с ним во время нашей длительной встречи в его небольшом переполненном кабинете в Галлимардском издательстве, обсуждая поразительное сходство его идей с идеями Кьеркегора и Ницше; Камю качал головой и говорил, что он ничуть не религиозен. Характерно, что он при этом настаивал: «Je suis artisten»<sup>28</sup> – имея в виду не более, чем то, что он проделывал множество вещей искусно.

Затем я заметил на краю его доверху загроможденного письменного стола несколько книг в темных переплетах – теологические работы Карла Барта, – и сказал: «Вот видите, вы *интересуетесь* философией религии». «Может быть и так», – ответил Камю, – «но я соблюдаю равновесие: взгляните на книгу, что лежит с другой стороны». Я посмотрел: это был *Любовник лети Чаттерли*.

В этом-то и заключается трудноуловимый секрет отличающих Камю значительности и влияния: он был человеком, который поддерживал равновесие. Он был сбалансированной человеческой сомой. И его работа, жизненный путь и мышление полностью отражали этот баланс: «равновесие», «мера», «соотношение» и устойчивость являются центральными темами всех его литературных и

---

<sup>28</sup> Je suis artisten (фр.) – «Я артист».

философских произведений. Он достиг равновесия внутри, а вокруг видел мир, которому недостает равновесия. Камю – студент в бурные 30-е, журналист *Сопrotивления* во время оккупации в 40-х; в сумятице 50-х – фигура, пользующаяся чрезвычайно нравственным и политическим влиянием во Франции. Он был воспитан на насилии, охватившем Европу, стенающую в муках нацизма, сталинизма и социальной революции, и никогда не прекращал активно ввязываться в это насилие; однако особым делом, которое он избрал для себя, была не только деятельность активиста, но и человека, который мог отойти от шумной суеты своей эпохи и запечатлеть ее отражение. В этом состояло его «искусство»: в способности быть специфическим отразителем своей эпохи в очерках и литературных произведениях. Особым свойством его способа отражения было то, что неуравновешенное человеческое общество у него всегда отражалось уравновешенным человеком. В этом не только секрет своеобразного воздействия сочинений Камю, но и причина иронии, столь характерной для его манеры.

Сбалансированный человек в неуравновешенном обществе, Камю стоит отчужденно и в стороне от больной Европы, по которой пролегал его путь. Выросший на Средиземноморье и идентифицировавший себя скорее как выходца из Северной Африки и Греции, чем из Франции и Европы, он был язычником по самоощущению, «несокрушимым» греком и неевропейцем в соматическом отношении. И как его позитивные философские идеи происходили из античной Греции («не слишком много, не слишком мало, а лишь выверенный баланс»), так существовал его собственный способ жизни: человек должен бороться с теми людьми и ситуациями, которые приводят его в гнев и наполняют страхом, он должен сражаться с ними, используя каждую толику агрессии, которой он обладает; и еще человек должен любить тех людей и те ситуации, которые наполняют его желанием и томлением чувственности, он должен отдавать дань красоте и любви, пуская в ход каждую имеющуюся у него крупицу открытости. У язычника нет единого бога, их множество, и все они адресуются к различным аспектам человеческого бытия. Когда боги апеллируют к вам, как к воину, будьте воином; но и, конечно, если боги призывают вас как любовника, будьте любовником. Подобно Ницше, Камю ощущал себя в тисках

раздвоенности между собственной идентификацией с античной языческой аристократией, которой больше нет, и пока-еще-не-существующим дворянством, что в один прекрасный день может быть будет явлено земле.

Все сказанное в предыдущем параграфе, только что прочитанном вами, это лишь красивые слова. Это типичная романтическая чепуха, которая писалась о Камю немалым числом французских философов, а также американскими литераторами и религиозными фанатиками. Камю не был анахроничным язычником, выпавшим из сегодняшнего дня, воющим на луну и тоскующим о прошлом. Он был, скорее, завзятым сластолюбцем, вверившимся «здесь и теперь», который мог сносить как потерянное время, отданное раздражавшим его мужчинам, зато весело проводить его с женщинами, обладавшими для него привлекательностью. В конце концов, он проклял не «будущее человека», а всего лишь его настоящее. Его заинтересованность в завтрашнем дне человечества объяснялась не только тем, что он не был – как он говорит – философом, но и тем, что он видел руку теоретиков от философии и фанатиков от религии на всяком убийстве и насилии, какие он знал с рождения, с 1913 года – гибель его отца в Первую мировую войну была только началом.

Камю, безусловно, не был революционером, как не был он и идеологом: еще в начале своей карьеры он понял с абсолютной отчетливостью, что люди, неспособные принять настоящее ради него *самого* и борющиеся против него – *такого, как оно есть*, – и были ответственны за страдания и крушение человечества. Он ясно видел, что как раз те, кто жив надеждой на будущее, совершенно неспособны на какое бы то ни было принятие настоящего, даже завтрашнего настоящего. Одним словом, люди, чьи побуждения определяются лишь ныне-не-существующими, будущими социальными и личными надеждами, – это люди, которые не в состоянии принимать реальность – как она есть. Они отчуждены от настоящей реальности; и в этом заключается их болезнь, болезнь, которая охватила и поразила всю Европу.

Когда Камю смотрит на «жалкое» создание, именуемое человеком, и на «безучастность» природного мира, и говорит им *Да*, находя их прекрасными, он ни в коей мере не является покло-

няющимся природе греческим язычником. Аналогии с античным прошлым, в конечном итоге, бессмысленны, поскольку это мифическое прошлое; когда мифологическое сознание видит мир «прекрасным», оно делает это совершенно другими глазами, различающими совершенно другую вселенную, само существование которой, ее причинность и персонифицированность категориально отличались от неперсонифицированной вселенной современного понятийного сознания. Камю действительно любил солнце, воду, женщин и добрую драку, но любил без всяких иллюзий или сентиментальности: эти вещи были в точности тем, чем они были, предвстая посреди изменчивой относительности всего существующего. Ничто не могло быть абсолютизировано, приведено в завершающую форму или обожествлено.

Я утверждаю, что Камю всецело принял современный лишенный индивидуальности и относительный мир, без тени неприязни или разочарования. Одно дело, когда в двадцатом веке люди ведут легкую болтовню о релятивистском космосе, однако совершенно другое дело было оказаться способным соматически открыться для полного поведенческого его принятия. Камю это удалось. Он не *нуждался* в богах, абсолюте, окончательных авторитетах и конечных смыслах – все это симптомы человеческой неспособности принять и с полной отдачей жить теми непосредственными и изменчивыми реальностями, которые составляют *сие* человеческое бытие *здесь* и определяют *оние* дороги и пути *там*.

Камю, к тому же, чуждался не «настоящего», а традиционной культуры, которая привела людей к отрицанию относительной, но все-обеспечивающей реальности настоящего в пользу несуществующего будущего. Отрицать настоящее и утверждать будущее – в этом, как видится Камю, в двадцатом столетии проявляется религиозность – религиозность, особенно очевидная у тех, кто был фанатично антирелигиозен (например, у воинствующих атеистов, фашистов, коммунистов, позитивистов и др.). Технические достижения их самосознающих «рассудков» были далеко впереди их напуганных и ненадежных сом. Поэтому германские и советские ученые могли иметь крайне приземленный профессиональный взгляд на мир, но в то же время быть почти как несамостоятельный, неприспособленный ребенок ведомы человеком, выделяв-

шимся авторитетом или являвшимся провозгласителем идеологической истины. И поэтому Камю отзывается о войнах этого столетия как о «религиозных» войнах.

Камю попросту пережил и удостоверил то, что для Ницше было обрисовавшейся приметой двадцатого столетия: нигилизм, которым оканчивалось в результате приспособление технологического мира к сделанному им ужасающему открытию, что Бог бесповоротно мертв и ни человеческая жизнь, ни существование вселенной не имеют конечного и абсолютного смысла: они просто *есть*. Ницше знал, что традиционная западная культура будет продолжать производить запуганные сомы, неспособные принять откровения, доставленные научным взрывом, и жить с ними. И, как на редкость выпукло доказывает Камю в *L'Homme Révolté*<sup>29</sup>, как только Бог был низвергнут с небес, люди бросились творить замещающие божества и религии, чтобы заполнить зияющую пустоту в древнем небесном своде.

Как всякий соматический мыслитель, Камю понимал, что люди наконец добились господства над физическим миром и нет необходимости в дальнейшей агрессии. Уже *достаточно* – теперь людям достаточно расслабиться и принимать себя и свой мир за то, чем они являются на самом деле – несмотря на то, что такое принятие себя, как и принятие мира, будет вначале болезненно трудным для тех, чьи тела запутались в тоскливых иллюзиях традиционной культуры. Марксист в душе, но полностью антипатичный ко всякой утопической революции, Камю понял каким образом, навсегда разрушив «дефицитарные экономики», технология не только сбила необходимость в дальнейшем наступлении на физическую природу, но и устранила потребность в борьбе за обладание, всегда являвшейся первичной причиной разграничения между людьми. В технологическом обществе люди могли не только впервые принять друг друга без страшных, яростных вспышек агрессии, но и впервые принять себя такими, какими они были – без страха и гнева к существам по-человечески трогательным.

Камю уже жил с таким принятием. Он уже адаптировался к новой земной среде. Но в его короткие сорок с небольшим лет ему

---

<sup>29</sup> L'Homme Révolté (фр.) – «Бунтующий человек».

казалось, что среди других людей весьма немногие обладают сходной адаптацией. Поэтому в профессиональном отношении он мог считаться счастливчиком: все, что ему требовалось, это быть собой, и это таинственным образом было достаточно, чтобы заставить людей остановиться, прислушаться и поддаться очарованию – особенно людей молодых, тех, кто обладает более острым взглядом мутанта. Когда люди воспринимали себя и свою эпоху преломленными сквозь уверенную и свободную уравновешенность этого мутантного человеческого существа, они улавливали мимолетный отблеск того, чем могли быть сами – и даже без особых усилий. Камю подал зеркало, в котором они увидели помещенные рядом изображение сбалансированного человека и неловко искаженный образ человека неуравновешенного, в результате чего возникало специфическое ощущение: «Я тоже имею возможность обладать таким равновесием, но я пока не вполне сдался ей».

Почти само собой разумеется, выдающаяся скромность Камю не была маской: он в действительности был именно «делающим свою работу» и старавшимся отразить свою эпоху. Я думаю, сам он всегда поражался эффекту, производимому его сочинениями. Они были необычны для всех, кроме него – ему они казались очевидными: он был вполне собой, каким он всегда был.

Каким он был в свои юные годы, в 30–40 лет. Там, в маленьком кафе в алжирском прибрежном городке Типазе, восславляющий солнце, огни, краски, лица, движения и запахи, водоворотом кружащиеся вокруг – он вгрызался в спелый персик, словно впивая саму любовь, и сок струился по его подбородку и шее, а он смотрел вверх, на холм, где только что завершил прогулку по развалинам римского поселения. Незадолго перед тем, поднявшись на холм, он бродил среди колонн и фриз, карнизов и обломков расколовшихся на куски аркад: гордых останков империи, которая должна была стоять вечно, но ныне покрыта пышным ковром полевых цветов, чьи оттенки и душистые ароматы бушуют повсюду в руинах. Дела человека, как и сам человек, в конце концов поглощаются ласковым безразличием земли. Солнце быстро клонилось книзу над цветами, развалинами, окрестными горами, над беспокойным искрящимся морем и молодым мутантом собственной персоной; и он был счастлив – счастлив этим безжалостным и прекрасным ми-



ром и счастлив тем, что все его существо было так тонко настроено на этот мир. И в *Noces*<sup>30</sup>, этой одной из первых и самых чудесных вещей Камю, он праздновал «свадьбу» с миром. Он знал тогда, как и всегда знал, что в жизни нет ничего ошибочного, исключая лишь то, что она не длится вечно.

Годы спустя – после войны, оккупации, послевоенных битв и бесконечных споров – он вернулся в Типазу, желая знать, там ли еще та самая любовь, та самая капитуляция перед миром, и способен ли человек, умевший в жизни играть в жестокие игры, предаваться играм нежным. Он нашел, что Типаза изменилась; но будучи другой в отношении этой своей желанности, сохранила равновесие в сумме вещей. Он обнаружил, что человек *может* быть множеством вещей и все же оставаться целостным. Он обрел знание о том, что для того, чтобы быть человеком, не требуется благословения греческих богов, однако чтобы познать благословение богов, нужно, наконец, быть человеком.

---

<sup>30</sup> *Noces* (фр.) – «Брак».

## 6. Мерло-Понти, или восприятие, посаженное на цепь и восприятие отпущенное

Один из любопытных фактов относительно Мориса Мерло-Понти: он умудрялся быть французом и, тем не менее, писать дурно. Таким же слывет его товарищ по *College de France*<sup>31</sup>, Клод Леви-Строс, антрополог феноменологической ориентации: самым, что ни на есть, не-галльским манером Леви-Строс обходится со словами так, словно в каждом из них двадцать фунтов весу. Симптом понятен: когда человек начинает слагать параграфы, в которых слова не парят, а перемещаются примерно как свинцовые гири – это знак того, что он начитался немцев.

Однако французы в большинстве случаев были невосприимчивы к этой стилистической тевтонской чуме. Восходящее светило Института, Жан Ипполит, в течение многих лет интерпретировал и переводил Гегеля в *École Normale Supérieure de L'Enseignement Technique*<sup>32</sup>; и без сомнения, если вы хотите читать Гегеля, не учите немецкий, а учите французский и читайте Ипполита – устами Ипполита Гегель наконец говорит то, чего не мог сказать по-немецки. Итак, это аномалия, обнаруживаемая двумя французскими интеллектуалами, которые пишут столь вымученно и которые, тем не менее, провели свои годы, расхаживая по тем самым залам *College de France*, что стали знаменитыми стараниями изысканного Бергсона.

Но несмотря на то, что Мерло-Понти пишет так, словно язык это джунгли, из которых нужно с боем прокладывать себе дорогу, его сафари положительно вознаграждает, если вы в состоянии его вынести; для великого французского феноменолога это не только борьба с языком, но и сражение с наиболее глубоко укоренившимися убеждениями нашей культурной традиции, относящимися к психологии человека.

---

<sup>31</sup> *College de France* (фр.) – Коллеж де Франс, название научного института в Париже.

<sup>32</sup> *École Normale Supérieure de L'Enseignement Technique* (фр.) – Высшая Педагогическая Школа Технического Образования.

Утверждение, что Мерло-Понти – феноменолог, означает, разумеется, что средоточием его интересов являются природа и структура сознания, самое арена человеческого опыта. Сама возможность предположить, что структуры человеческого сознания можно изучать, была – как мы уже видели – открыта Кантом в конце восемнадцатого века. Будучи обнаруженной, сфера феноменологических изысканий на протяжении девятнадцатого столетия беспорядочно разрабатывалась, но определилась лишь в *fin de siècle*<sup>33</sup>. Эдмунд Гуссерль придал феноменологии характерную для нее форму, Жан-Поль Сартр брал в ней ванну, оставив на краю ванной два кольца, Морис Мерло-Понти вывел феноменологию к ее конечным пределам и был близок к тому, чтобы поставить точку и убить, таким образом, движение, когда умер сам.

При условии, что феноменология является попыткой понять человеческое сознание, она нашла в Мерло-Понти своего наиболее яркого выразителя: он оседлал проблему своим недвусмысленным заявлением, что *сознание есть восприятие, а восприятие есть сознание*.

Сегодня, несмотря на легкое изумление и замешательство, вызываемое у философов, для нейрофизиологов или тех, кто принадлежит традициям психоанализа и гуманистической психологии, это положение не обладает шокирующим значением. Оно для них очевидно. Чем еще, как ни восприятием, могло быть сознание? И пытаться вычлнить «структуры сознания» – это ни что иное, как завуалированный способ говорить о том, что человек старается осмыслить нейрофизиологию своего восприятия тем методом, которым он воспринимает.

Сказать, что Мерло-Понти был соматическим мыслителем, значит внести немного ясности; действительно, он был погружен в изучение физиологии, нейрофизиологии и истории психологии. Все это было приведено им к единому фокусу в двух трудных и восхитительных трактатах: *Структура поведения* и *Феноменология восприятия*. Обе книги до конца соматические, в них рассматриваются, соответственно, соматическая структура телесных деятельности и соматическая структура сознания.

---

<sup>33</sup> fin de siècle (фр.) – конец века.

Стоило только Мерло-Понти уравнивать сознание с восприятием, и мы оказались внезапно в соматической вселенной подлинного человеческого опыта, соответствующего тому, как каждый из нас фактически переживает себя и свой мир. Остались позади представления об «уме», каким-то образом наложенном на «тело»; напротив, «ум» и «тело» составляют часть одной и той же функции, состоящей в поддержании постоянной связи человека со средой: функции восприятия.

Без сомнения, это была фундаментальная позиция, к которой пришел и Фрейд относительно человеческого сознания: то, что оно развивалось соматически, как практичный чувственный инструмент для выживания и прощупывания среды; благодаря этой развившейся в нем практической функции, сознание было инструментом, обращенным *на* среду и неспособным развернуться назад и воспринимать соматический центр, из которого оно произошло. Тому, кто достиг соматического понимания работы Фрейда, многое из сделанного Мерло-Понти покажется расширением и прояснением исходных фрейдовских прозрений. И после того, как обнаруживаешь сходство точек зрения этих двух исследователей, неожиданно сталкиваешься с совсем иной удивительной интуитивной находкой, переносящей Мерло-Понти на целый огромный скачок дальше Фрейда.

Это следующее удивительное установление: сознание не только есть восприятие, но, более того, существует *две* формы восприятия и, следовательно, сознания. Он пользуется несколькими способами обозначения этих двух форм восприятия, самыми точными из них являются *аналитическое сознание* и *феноменологическое сознание*.

Когда мы «аналитически» сознательны, мы воспринимаем нашу среду теми средствами, которые Фрейд и все мы обычно относим к «сознанию». То есть, то, что мы всегда называли «сознанием», это всего лишь один путь восприятия – аналитический. Такое аналитическое сознание является простым практическим изучением среды, сканированием, посредством которого мы *что-то ищем*. Используя собственные наблюдения, так же как наблюдения гештальт-психологов, Мерло-Понти не оставляет сомнений в том, что когда мы воспринимаем мир в этой поисковой, сосредоточенной,

аналитической манере, мы устанавливаем наши соматические рычаги управления таким образом, что результирующее переживание, получаемое нами, приобретает особую базовую форму: форму фигуры/фона. Это означает лишь то, что когда мы смотрим, *ожидая* что-то увидеть, мы держим свои паруса так, что наше восприятие настроено на прием *какого-то одного* предмета, *одной* реальности, *одной* «фигуры» из всего множества вещей, улавливаемых нашими чувствами. Когда вы запрограммированы на «поимку» *какой-то одной* конфигурации, это значит, вы строго сфокусированы на *одном предмете*, вплоть до исключения *всех остальных*, входящих в ваш чувствующий аппарат – *все остальные предметы*, следовательно, находятся не в фокусе; они сливаются с фоном, совершенно так же, как теряются в анонимном заднем плане остальные танцоры, когда прожектор сфокусирован на прима-балерине. Не то, чтобы остальных танцоров *там* нет; они там, все в порядке, но вы не осознаете их присутствия. Фигура/фон: прима это «фигура»; прочие уходят в «фон», анонимно обеспечивающий задник, на котором «фигура» может четко выделяться.

Мерло-Понти утверждает, что история о сознании не исчерпывается таким разделенным на фигуру и фон восприятием; вернее, это лишь половина истории. Лишь один путь восприятия нашего мира. Этот путь весьма практичен: таким образом вещи обнаруживаются и обособляются, так что мы можем изучать, брать их, работать над ними. Такая аналитическая манера воспринимать является и в самом деле «аналитической», соответственно тому, как разбивается при этом на части наш опыт, как он дробится на единицы или подразделения, которые называются «фигурами».

Если хотите сыграть с самим собой в простую игру, которая продемонстрирует вам, что ваше аналитическое сознание всегда располагает этим основополагающим структурным делением на фигуру и фон, сделайте следующее. Вытяните перед собой пальцы левой руки, все пять пальцев раздвинуты и между ними равные промежутки. Теперь посмотрите на средний палец; сконцентрируйте внимание на его центральном (в противоположность двум парам соседних пальцев с обеих сторон) положении. После того, как вы концентрировались достаточно долго, постарайтесь переключиться: *не допуская ни малейшего движения глаз*, сфокусируйте

те внимание на новой конфигурации, на трех средних пальцах. Отметьте, что они вдруг стали одной единицей и обособились от одиночных пальцев, примыкающих к ним теперь. Мгновением раньше эти два пальца (безымянный и указательный) не являлись частью фигуры, они были составляющей фона; сейчас, не сдвинув глаз, вы воспринимаете те же чувственные данные совершенно отличным образом. Изменились не чувственные данные; изменился лишь способ, которым вы эти данные воспринимали. Вы участник игры фигуры/фона, представляющей собой путь, который позволяет нашему практическому «аналитическому сознанию» просеивать и перегруппировывать то, что мы воспринимаем. Вычленив единицы из «одного» и «трех пальцев», попробуйте теперь увидеть единицу «из пяти пальцев». Продолжайте разбивать ее на части и перегруппировывать. Если окно у вас в комнате разделено несколькими переплетами, вы можете превосходно поиграть в группирование фигуры/фона.

До сих пор все совершенно ясно. Не «ясно» как раз то, на что увлеченно набрасывается Мерло-Понти потом. Когда мы говорили о человеческом сознании, мы так долго имели в виду «аналитическое сознание», что были слепы к тому обстоятельству, что мы воспринимаем еще и совсем другим способом, способом настолько отличным, что нам никогда не приходило в голову вообще считать это восприятием, еще меньше – сознанием. Этот другой способ восприятия *непрактичен*, при таком восприятии *не* происходит направленного поиска, а опыт *не* расчленяется на единицы, какие работают, как мы видим, при организации фигуры/фона.

Мерло-Понти называет этот отличный путь восприятия «феноменологическим сознанием». Причина, по которой мы не замечали, что воспринимаем этим иным способом, в том, что замечать нечего: при таком способе восприятия мы не обращаем на что-либо внимание, не ищем *какую-либо* фигуру, поэтому мы никогда не отмечаем чего-то, что бы определенно помнили.

Если мы вернемся к первоначальному фрейдовскому описанию пути развития сознания в той его части, которая относится к памяти, все снова покажется совершенно очевидным. Когда сознание фокусирует внимание на *какой-то* одной вещи, оно собирает по крохам след-в-памяти такой вещи; память служит адъютантом

этой практической деятельности аналитического сознания, и, вероятнее всего, использует полностью ограниченные и специализированные участки мозга. Однако когда мы перестаем *фокусировать* свой перцептивный аппарат, и тем самым позволяем восприятиям вторгнуться в нас нерасчлененными и не организованными нашими усилиями, в этом случае мы не обладаем какой-либо специфической памятью о *какой-то* отдельной вещи и, конечно, об *отсутствии* с нашей стороны перцептивного усилия.

Даже в этом случае мы являлись воспринимающими; праздно, не прилагая усилий вы и я воспринимали феномены нашего мира такими, как они попадали в нашу перцептивную корзину – сырыми, неорганизованными, недифференцированными и размыто-единообразными. Вы не только не осознавали какого-то отдельного предмета в своем перцептивном мире, вы не осознавали и своего «Я»: т.е. воспринимали бессознательным-по-отношению-к-себе способом. И тут вдруг раздается голос: «О чем вы думаете, Том?» И вы немедленно оказываетесь «снова в мире», в вас присутствует самосознание, а ваше восприятие фигуры/фона бросается в действие, видя, что там, в дверях, есть некто, кто обращается к вам с практическим вопросом. «О чем вы думаете, Том?» И вы или я отвечаем: «Пустяки. Я ни о чем не думал». Что абсолютно верно: мы с вами думали и воспринимали, но не думали о чем-то предметно и не воспринимали чего-то определенного. Мы воспринимали, не задействуя механизм фигуры/фона, посредством которого мы вторгаемся в наш мир и фрагментируем его, преследуя практическую цель: жить в дружбе с людьми и нашей физической средой.

Итак, если поразмыслить, идея, посетившая Мерло-Понти, в конце концов, является очевидной – но любопытным образом, поскольку настоятельность, с которой он говорит об этом, наводит на мысль, что наше «феноменологически сознательное» бытие включает в себя нечто гораздо большее. Он настойчиво подчеркивает, что несмотря на свою непрактичность и трудноуловимость феноменологическое сознание в той же мере является восприятием, в какой и аналитическое сознание. Оно так же важно, как аналитическое восприятие.

Вопрос в том, насколько оно важно, остается открытым; на этот вопрос призваны в конечном итоге дать ответ эволюция и мута-

ция. Очевидно, Мерло-Понти придерживался точки зрения, что феноменологическое восприятие *важнее*, чем аналитическое, так как представляет собой способ, которым мы переживаем мир, *каков он есть*, и себя, *каковыми мы являемся*. Оно непрактично, но обладает другим достоинством: оно истинно.

Сложим их вместе: говорим ли мы о художниках, маленьких детях, философах, отличающихся ясным умом, Святом Франциске Ассизском или дзен-медитации – в каждом случае мы затрагиваем тех, кто владеет перцептивной способностью видеть вещи такими, *какими они являют себя нам*, а не переименовывать, как это делаем мы, представленное в своих целях. Очевидно, феноменологическое сознание позволяет-явленному-быть и позволяет-вам-исчезнуть. Оно не требует усилий, по той простой причине, что пребывает в потоке вещей, не стараясь раздробить, изменить этот поток или оказать ему сопротивление. В течение этого потока нет ни «вас», ни «мира», нет никакой иной дифференциации, кроме различения формы и рисунка, которые у вещей являются частью целого. Маршалл Мак-Люэн отлично понимает это, не прочитав ни строчки из Мерло-Понти: для него это возникающее в наши дни восприятие юности или «узнавание образца», как противоположность фрагментированному, дробящему-на-части восприятию, являющемуся показателем механистической предрасположенности.

Пока вы не убрали левую руку, мы могли бы провести еще один эксперимент с восприятием: на этот раз с «феноменологическим восприятием». Положите левую руку ладонью вниз на колено или на поверхность стола, затем правой рукой пощупайте что-нибудь: например, поищите на левой руке сустав пальца, у которого самый высокий выступ. Передвигайте пальцы правой руки вдоль ряда суставов на другой руке и ищите самую большую суставную кость.

Теперь, когда вы вовлечены в этот процесс, обратите, пожалуйста, внимание вот на что: ваша правая рука является «исследующей», а левая – «исследуемой рукой». Заметили ли вы, как все ваше внимание течет через правую руку, когда она участвует в задании «что-то искать», осуществлять поиск самого выступающего сустава? Но если все ваше перцептивное внимание проходит через правую руку, что же произошло с левой – инертной, «исследуемой рукой»? Она «онемела»? Нет, конечно. Хорошо, тогда что она дела-



ет? Воспринимает ли она вообще? Да, она воспринимает пассивно; воспринимает феноменологически. На языке нашего тактильного чувства, воспринимать (или ощущать) феноменологически означает *быть ощутившим, отказаться от собственного «Я» ради того, чтобы ощутить.*

Пожалуйста, учтите, что «воспринимать пассивно», позволить себе *быть* ощутившим, вовсе не означает, что мы не воспринимаем (это далеко не так), но лишь то, что мы *не прилагаем какого-либо усилия*, чтобы воспринять любой отдельный предмет. Левая рука воспринимала так же прилежно, как и правая, но совершенно по-иному. Воистину, наша правая рука не *ведала*, что творит левая.

Но это должно выполняться только в отношении тактильного восприятия поверхности нашей кожи. Если сознание, тем не менее, есть ни что иное, как восприятие, тогда *все* наши чувства имеют эту способность – использоваться при восприятии обоими способами: существует два способа видеть, два способа слышать, два способа чувствовать вкус и запах. Мы можем *присматриваться, прислушиваться* к чему-то, а можем, просто, видеть и слышать. То есть, мы можем совершать усилие, чтобы подвергнуть воспринимаемую среду воздействию наших структурирующих способностей, или расслабиться и сдаться структурирующим возможностям среды.

Учитывая кардинальную важность такого различения двух способов сознания, я надеюсь, мне простят стремление сообщить предельную ясность тому, что Мерло-Понти лишь имплицитно допускает. Я хотел бы ясно сформулировать, что такие движения, как экзистенциализм и феноменология в значительной мере являлись попыткой отстоять и подвергнуть исследованию этот отличный способ восприятия, другими словами, отказ от усилий и *предоставление миру позволения воспринимать вас.*

Наука «отчаяния» и действие «выпадения из непосредственности», подсказанные Кьеркегором, как раз и являются уроком того, как прекратить быть в жестоком рабстве у среды, быть обеспокоенном вечной заботой о том, как с ней совладать; Кьеркегор хотел бы заставить нас забыть о нашем старании победить мир – мы не *должны* проявлять старание для того, чтобы победить наше беспо-

койное аналитическое сознание. Обратная стратегия – вот все, что для этого требуется.

Хайдеггер, особенно в своих последних работах, непосредственно касается возможности человека сознать свой мир этим отличным образом. Не существует иного способа понять, что имеет в виду Мартин Бубер, когда говорит об осознании «Ты» – категории других личностей, животных или вещей; по его словам, оно включает в себя другой способ видения, другой способ восприятия. Ницше, его тело, в котором звучали музыка и поэзия, постоянно и счастливо предавался есть-ности космоса и «невинности случающегося» в нем. И Камю, с лицом, липким от персикового сока, бродит среди плодородных руин Типазы, переполненный любовью ко всему этому, не взирая на бренность и смерть; подобно Мерсо<sup>34</sup>, он открывает себя и принимает «ласковое безразличие мира».

Именно феноменологическое восприятие, являющееся результатом капитуляции перед могущественным приказом среды, описано Пиаже с биологической точки зрения как «аккомодация», посредством которой организм адаптируется к среде, позволяя ей придавать себе форму. Это тот самый человеческий опыт, который, по мнению этологов, приводится в движение чувственными влечениями голода и спаривания, под импульсами которых организм раскрывается и отдается телесному слиянию с чем-то принадлежащим среде. Фрейд называет его удовольствием или Эросом, Райх видит ту же перцептивную связь с миром как расширяющее течение наружу в процессе соматической релаксации.

И опять-таки, именно такой тип восприятия, такая разновидность соматической позиции и связи с миром вызывают интерес гуманистических психологов: они пытаются составить правильное представление о восприятии такого отличного вида, показать его прямое отношение к эмоциональному здоровью и развить техники, с помощью которых мы можем индуцировать этот иной вид сознания. Гуманистические психологи положительно являются современными индуистскими и дзенскими гуру, воспроизводящими ту же точку зрения, на которой стояли индийцы и японцы,

---

<sup>34</sup> Мерсо (Meursault) – гл. персонаж романа А. Камю «Посторонний» (1942).

однако на этот раз обладая знанием нейрофизиологии и гораздо более изощренными техниками. «Пиковые переживания» это как раз такие мгновения, когда человек уступает здоровой адаптации по отношению к своему непосредственному окружению. И терапия, основанная на «самораскрытии» аналогично является для человека работой, в процессе которой он бесстрашно сдается среде, позволяет себе быть *воспринятым* человеческой средой и *открытым* ей.

Конечно, очевидно, что речь идет о чувственности. Можно называть это честностью, что не менее очевидно. Приближаемся ли мы к человеческому опыту феноменологического восприятия тем или иным путем, мы все еще используем различные слова, различные дисциплины и методологии, чтобы подобраться к *тому же соматическому результату*, разновидности человеческого опыта, становящейся все более обычной для претерпевающих мутацию тел нашего вида.

Итак, оставляя открытым вопрос о том, *насколько* существенным может быть этот иной способ восприятия для Мерло-Понти или для любого из нас, мы помещаем проблему такого альтернативного вида восприятия в эволюционный контекст, из которого она и возникла. В конце концов, то, что Мерло-Понти называет «феноменологическим сознанием», не содержит в себе ничего нового; люди всегда обладали им, а отдельные исключительные личности сосредоточили свою жизнь на его развитии. Единственное отличие в том, что сейчас исключение, кажется, становится правилом; наши развивающиеся тела стимулировали наше продвижение к сбалансированному, менее тревожному состоянию адаптации и такой же позиции по отношению к среде. Мы, кажется, вынуждены стать здоровее, спокойнее и уравновешеннее.

Это нелегкий переход. Проведя тысячи лет, обучаясь скакать на одной ноге, ощущаешь неловким и неестественным ходить на обеих.

## 7. Вместе с Ницше подводя итоги: человек низший и человек высший — обобщение

Соматические ученые рассказали нам о базовой структуре и функционировании человеческой сомы и о том, как человеческая сома сформировала свою структуру и жизнедеятельность. Соматические философы – имплицитно допуская существование такой базовой соматической структуры и функций – шире охватили проблему и объяснили нам, каким образом человеческие сомы переживают себя и мир, а также способы их поведения внутри себя и в мире; и не только *имеющуюся* у них манеру переживать и действовать, но и, в частности, различные *возможные* способы человеческого переживания и поведения.

По ходу нашего обзора соматической точки зрения щедро разбросаны ссылки на Фридриха Ницше, этого поистине удивительного человека. Это не просто случайность: Ницше является оракулом соматической идеи. Его наблюдения неизбежно вновь и вновь будут возвращаться на эти страницы, в виду того, что развитие всей последующей соматической мысли незримо направлялось одним его присутствием. Быть таким направляющим ему позволяло то обстоятельство, что он намного раньше ощутил происходящее и дал его суммарную оценку в своем пророческом стиле. «Пророческом», потому что, как всякое прорицание, его вердикты были головоломками, поразительными и исключительной важности загадками, которые понимались людьми как предсказания будущего, но не те предсказания, что могли быть разгаданы и истолкованы в то время.

Обреченный «родиться посмертно», Ницше был квадратным колышком в круглой дыре<sup>35</sup> истории; и человеческая история должна была усовершенствоваться и изменить свои очертания, прежде чем люди смогли осознать, насколько точно Ницше предвидел современный исторический облик западного технологического мира.

---

<sup>35</sup> ср. с англ. выражением «a round peg in a square hole» – быть «круглым колышком в квадратной дыре» = человек, находящийся не на своем месте.

Кольшек теперь впору, и пророчества больше не являются загадкой. Ницше, который был историком культуры в той же мере, что и философом, видел человеческую историю [словно нанесенную] на широко растянутом холсте. Он видел историю западной как последовательное построение социальных, нравственных и религиозных институтов, преуспевших в объединении людей в устойчивые общности, где принципом являлась деловитая, почти военная согласованность в обороне и атаках против исходящей от среды угрозы. Чтобы объединить людей, создав такую согласованность, эти институты должны были подавлять их дикие, не-социальные инстинкты, которые, если позволить им действовать беспрепятственно, угрожали бы практической сплоченности сообщества – сплоченности, необходимой для выживания человеческой общности.

Тем лучше: для того, чтобы выжить, люди должны были действительно сбиться в кучу, их сомы покорились стадной морали. И Ницше анти-природные, анти-соматические установления иудео-христианства и эллинского идеализма виделись как остроумно действующие поведенческие рычаги управления, гарантировавшие соматическое подавление или переориентацию и согласованность в поведении – как «опиум для народа», по выражению одного соматического мыслителя. Но опиум был необходим для выживания общества и успешно служил своей цели.

Тем не менее, как все наркотики, он имел побочный эффект: укрощая в людях дикие импульсы и доводя их до состояния цивилизованного послушания, он не уничтожал влечения, а скорее, не давал им вырваться на волю. Животная энергия и первоначальный животный цикл выхода этой энергии оставались внутри человеческих сом, оказывая свое давление и ища другие средства выражения: при блокировании сформированных ими (и, следовательно, нормальных) соматических путей энергетической экспрессии эти энергии нашли другие (и, следовательно, неправильные) средства выражения.

Не составляло тайны, чем явятся такие ненормальные средства соматического выражения: поскольку предполагается, что они должны соответствовать практическим потребностям выживания человеческого стада, «дозволенные» средства поведенческой

экспрессии представляли собой обязательные усилия, связанные с наступлением на наводящую ужас среду за пределами общества или умягчением бальзамом сладкой конформности и альтруизма *внутри* него. Таким образом дозволенные способы поведения поддерживали спекулятивные построения эллинских нормативных институтов, равно как они играли на руку анти-соматической озабоченности институтов иудео-христианства. Таким образом западное общество вливало свою энергию в теоретический и технический процесс постижения и укрощения враждебной мировой среды; энергии вкладывались также в священническую и морально-политическую работу, направленную на то, чтобы понять и держать в повиновении подавленные нормальные циклы человеческой сомы. Мы имеем не только «опиум», упомянутый одним соматическим философом, мы имеем также «подавленные» сомы агрессивно «сознательного» общества, отображенные соматическим ученым.

Ницше зарисовал все это на обширном холсте культурной истории, который завещал нам. Он видел выгоды применения техник социального контроля и растущие теоретические и инженерные возможности управления средой: таковые способствовали выживанию общества и общественному прогрессу. Осознавал он и минусы социальных приемов контроля и научных достижений: они способствовали нездоровью отдельной личности и вызываемому репрессивными мерами ограничению человеческой компетенции.

Для того, чтобы полностью оценить значение интуитивных проникновений Ницше в наше настоящее и ближайшее будущее, будет полезно привести сравнение с Марксом. Гениальность Маркса заключается в том, что он понимал, как первоначальная ситуация дефицита неизбежно порождает человеческую эксплуатацию в обществах с классовым устройством; однако далее он понял, что развитие классовых обществ в конце концов достигло стадии, на которой ситуации актуального дефицита больше не существует, и что, следовательно, эксплуататорское общество – которое было необходимо для создания условий для производства прибавочной экономической стоимости – теперь исчезнет, оставляя людей скорее объединенными, нежели разъединенными их экономическим положением. И ничто не противоречит тому, что Маркс прав. Но

предвидение Ницше, с его размахом, обладает широтой и глубиной эволюционного и соматического подхода, и мы должны научиться видеть остроумные и неопровержимые находки Маркса как часть более широкого полотна, раскинутого перед нами Ницше. Ницше рисует следующую картину: для того, чтобы выжить как вид, люди должны были сойтись в сообщества, в которых *все* индивиды из любого класса репрессивным образом подвергались эксплуатации, так что человеческое общество смогло сконцентрировать свои объединенные усилия на агрессивной деятельности по укрощению и контролированию вне-человеческой среды; однако в дальнейшем Ницше понял, что эти самые усилия понять и контролировать нашу земную среду теперь принесли плоды: сегодня люди обеспечили себе выживание и поэтому больше не будет надобности в социальных и культурных традициях, основанных на подавлении и эксплуатации, калечивших индивидуальные человеческие сомы и препятствовавших свободному и нормальному проявлению их энергий.

Это эволюция-революция, о которой мы говорили с самого начала книги. Чтобы пережить эволюционные требования, налагаемые на любую органическую жизнь, все люди вплоть до сегодняшнего дня должны были приносить личные соматические жертвы, поэтому человеческое общество смогло выжить и господствовать. Теперь, когда мы не только выжили, но и продемонстрировали, что умеем почти без усилий господствовать над средой, личные соматические жертвы больше не предусматриваются нашей средовой ситуацией. Новая, технологическая среда неуклонно раскрепощает некогда подавленные и искаленные сомы, несмотря на усилия отживающей культурной традиции, тщетно пытающейся бороться с каждым свидетельством такого раскрепощения.

Помешать соматическому раскрепощению в технологическом обществе никоим образом невозможно. Ему нельзя воспрепятствовать по той определенной причине, что движение силы истории имеют не культурную, а соматико-средовую природу. Человеческая культура является вторичным выражением взаимодействия главных строителей человеческой истории: находящихся в непрерывном адаптационном взаимообмене реальных человеческих сом и реальной среды – человек адаптируется к острым ну-

ждам среды и он же подвергает среду силовому воздействию, чтобы приспособить к острым нуждам собственного соматического бытия. В условиях, когда земля вынуждена быть средой, в которой, несомненно, люди *могут жить*, земля технологизированная в настоящий момент сообщает нам уверенность, что мы, в ответ, в конце концов *должны жить как люди*.

Если девизом настоящего является «Адаптация», а девизом будущего века – «Все возможно», мы должны ожидать, что грядущие годы обнаружат решительную и рвущуюся наружу безучастность к нашей традиционной культуре и в равной мере твердый и взрывоподобный интерес к действительному признанию нашего мира, увиденного без прикрас, каков он есть, и наших сом, открыто принимаемых за то, чем они являются. На протяжении большей части минувшего столетия для человека видеть себя и свой мир обнаженно – такими, как есть, отодранными от их культурной традиции – такая зоркость была «абсурдным» и «устрашающим» опытом осознания того, насколько в конечном счете «бессмысленной» является действительность *этой* сомы и *этого* мира. Однако спокойствия растущей массы перво-мутантов такая зоркость больше не нарушает; это лишь особого рода занятие – видеть и говорить все, как есть. Честность и отсутствие подавления больше не являются целью, к которой люди обречены тщетно стремиться; они представляют собой соматические состояния, которые предназначены нашим детям и проявление которых приверженцы культурной традиции могут – во всяком случае, понапрасну стремятся – предотвратить. Получение ясного и открытого знания о том, что такое вы и мир в действительности, не есть переживание, тревожное для каждого – за исключением сторонника культурной традиции, который вынужден был видеть реальность преломленной сквозь столь многочисленные линзы, устанавливаемые подавляющим воздействием религии и идеализма, что обнаженное видение реальности является для него абсолютно непристойным. Он предпочел бы видеть ее облеченной в одежды; так она ему привычнее.

Видение, узнавание, принятие и выражение увиденного и узнанного: вот что, по сути, включает в себя адаптация ныне происходящая. И если новые мутанты решительно свой интерес от старой культурной традиции, которая не могла помочь им в адап-



тации, они несомненно впитают каждую каплю революционной соматической традиции, *способной* направлять их, по той простой причине, что она направляла наше общество и определяла его состояние, приближая его к тем самым мутационным событиям, которые происходят с нами сейчас.

Соматические ученые дали нам возможность получить представление о наших и обо *всех* живых телах: накапливающих и отдающих энергию, растущих и изменяющихся, находящихся в натянутых отношениях с миром и любовно капитулирующих перед ним (на этом мы остановимся), человеческих сомах, обладающих одной очень практичной и порядочно перегруженной системой влечений – страха-агрессии, и другой, неожиданно очень практичной и сильно недогруженной системой чувственно-аккомодантных влечений. Те, кто прозрачен соматически, признают, что среда энергично вызывает к их чувственно-аккомодантным влечениям, и лишь слабо, и все слабее, затрагивает комплекс страха-агрессии. И прозрачный мутант отвечает соответственно: в «нетрадиционной» манере.

Такого рода понимание принесли нам соматические ученые, поэтому мы способны осознать, что случилось с нашей средой, что происходит с нашими сомами, и почему юные перво-мутанты реагируют так, как они реагируют.

И не только соматические *ученые* подарили нам несметную роскошь понимания базовых соматических характеристик, чтобы задать нам направление, соматические *философы* открыли двери тому будущему, где все возможно. Деятельность соматических философов состояла в том, что, составив представление об этих обнажающих активностях – «видении, узнавании, принятии и выражении», они вели экспериментальные размышления над всеми теми возможностями, которые те предоставляли.

Предметами соматической философии являются, как нетрудно догадаться, восприятие и поведение; чтобы быть более точным, *мутантное восприятие и мутантное поведение*.

Я слышал мнение, и вы в последующие десятилетия услышите, как его повторяют *ad nauseum*<sup>36</sup> отчаявшиеся защитники куль-

---

<sup>36</sup> ad nauseum (лат.) – до тошноты.

турных традиций, что то, что замышляет соматология, и то, что затевают экзистенциалисты, феноменологи и представители гуманистической психологии, это «игра с восприятием и экспериментирование с поведением забавы ради, таким образом, они не относятся к тем, кто серьезно смотрит в лицо реальности». В благочестивом отстаивании подобного вредоносного суждения (когда они заявляют это, они буквально роняют пену с клыков сквозь пресвитерианское рычание) приверженцы традиций лишены и самого туманного осознания двух пугающих истин: они абсолютно неправы, не имея ни малейшего представления, почему, и одновременно абсолютно правы, даже в общих чертах не зная, по какой причине.

Ревнителю традиций ошибаются в том, что соматологи не исследуют альтернативные перцептивные и поведенческие возможности, потому что те являются бессмысленным, праздным занятием, лишенным уместности в отношении реальности; наоборот, с данного этапа люди, которые обладают прозрачной чувствительностью к среде, оказываются вынужденными к таким исследованиям, так как лишь через *новые* виды перцептивного опыта и поведения можем мы начать относиться ответственно и релевантно к нашей трансформированной среде. Коротко говоря, наши традиционные культурные предписания, касающиеся «нормальных» восприятий и поведения, не в состоянии помочь нам сформировать свое отношение и адаптировать себя к экстраординарному вызову, исходящему от технологической среды. С этого момента перцептивные и поведенческие директивы нашей традиции лишь подтачивают нас и делают еще более нездоровыми. Не существует надежного решения, иного, чем экспериментировать с новыми способами, используя которые сомы могут устанавливать отношения с реальностью своей среды; в данном случае, «надежного» означает обеспечивающего «неизбежную соматическую адаптацию к потребностям выживания в окружающих условиях».

Сторонники традиций правы – и на этот раз не понимая, почему они правы, – утверждая, что такое экспериментирование является забавой, что соматологии «играют» с жизнью. Что нуждается в понимании, так это то, что когда живешь посреди технологического мира, который представляет собой конечный продукт и цель эры

труда и озабоченности, у здоровой человеческой сомы нет способа удовлетворять этому конечному продукту иначе, чем через адаптацию, которая влечет за собой обучение игре и переживание удовольствия ради чистого развлечения этим. Я заявляю, что единственной разумной формой адаптации к высшим реальностям технологической среды является культивирование опыта глубокого удовольствия и обучение игровому поведению. И, утверждая это, я остро осознаю насколько отталкивающе, насколько неправдоподобно и наивно такое заявление звучит для уха культурного традиционалиста: «Это никак *не может* быть правдой; это огромное заблуждение и слепота в отношении реальности, величайшая безответственность!» Тем не менее, это положение, каким бы шокирующим оно ни было, является правдой, и я изложу его еще раз, в другой форме: если мы не создаем культуру, которая положительно санкционирует чувственно-аккомодантные влечения и в обязательном порядке обучает массы утонченно наслаждаться своей технологической средой, человеческая раса будет в буквальном смысле разрушать сама себя; она будет разрушать себя, потому что склонная к излишней серьезности, ориентированная на страх агрессивная культурная традиция имеет лишь одну функцию и *raison d'être*<sup>37</sup>, а именно, построение технологического общества с целью завоевания окружающей среды; и с того момента, как эта среда готова, если порождаемые ориентированной-на-работу культурной традицией влечения страха-агрессии *продолжают* возбуждаться ею, грандиозные энергии человеческой технологии перестают быть нацеленными на вне-человеческую среду и будут распространять на человеческую среду свою организованное в духе страха-агрессии воздействие. Беспрецедентная деструктивность двадцатого столетия является зловещим симптомом упомянутого завершения создания технологического общества в рамках культуры, которая до сих пор находится под влиянием страха и остается склонной к озабоченности. В такой, пока не адаптированной ситуации мы видим как технология, сформировавшаяся на пользу человеку, убийственным образом обернулась *против* него без всякой на то причины. Идеология и национальная честь не яв-

---

<sup>37</sup> *raison d'être* – разумное основание.

ляются «причинами» – это культурные привычки неразумных и боязливых людей, которые так крепко приучены к своей стареющей культуре, что не в состоянии замечать новую среду, обнажено стоящую сейчас перед нами, и реагировать на нее.

Ницше предвидел приход в двадцатом веке этого кошмарного, «вывернутого» периода «нигилизма»: жуткого и тревожного периода, когда наука и технология завершили свою основную работу – строительство, после чего ожидали, пока ошеломленное человечество преодолет первоначальную слепоту, причиной которой была созданная им ослепительная, невероятная технология. И когда яркий блеск «современной науки» перестанет ослеплять, и люди вновь обретут способность видеть, Ницше знал, они разглядят последствия своего технологического триумфа, осмыслят их и адаптируются к ним. По достижении этой имеющей большое значение адаптации они уже не будут людьми, попавшими под гнет культуры, которая принуждала их защищать себя; вернее, они переступят рамки старой культуры и сложат культурные традиции, которые возвысят человека и сделают его сильнее. Они будут Сверхлюдьми (*Übermenschen*), которые встали по ту сторону и над культурой, той, что теперь стала поддерживать их и помогать им, потому что была для них. Людям больше не нужно будет служить неуклюжими и терпеливыми инструментами покорения среды; теперь они стали тем здоровым результатом, на который работали тысячи поколений, ставшие инструментальным средством достижения этой человеческой цели.

Тот, о ком говорит Ницше и на кого указывает соматология – это приспособленный человеческий мутант, который, поскольку он адаптировался к своей среде, больше не является мутантом, а является обычным человеком. Такой человек представляет собой неповрежденное человеческое существо, сбалансированное человеческое создание, уже не обезумленное обязанностью жить со своими собратьями и с самим собой в пугающем соседстве вне-человеческой среды, грозящей ему и его товарищам невыживанием. Такое сбалансированное человеческое существо сегодня возможно: под «сбалансированной» мы имеем в виду человеческую сому, чьи энергии могут быть выражены непосредственно теми средствами соматического поведения, которые, по-видимому, предна-

значены для средовой ситуации, пробудившей эти энергии. Такой человек адаптируется ровно и эффективно, как он адаптирует средовую ситуацию к своим соматическим потребностям.

Страх – в высшей степени полезный соматический талант: когда складывается угрожающая средовая ситуация, здоровый человек проявляет боязливость и уходит от опасности. Агрессия также является очень полезным талантом: запущенный своей системой раннего оповещения – страхом, как реакция на вторгшееся нежелательное лицо или ситуацию вспыхнет гнев, что и будет актом устранения угрозы и робости. И страх, и гнев являются соматическими данными, позволившими нам выжить, и они продолжают выполнять свою функцию. Это влечения, работающие на сжатие, которые предохраняют, укрепляют и оберегают индивида и данные, которыми он располагает. Это мотивы изоляции, гордости и одиночества.

Голод тоже чрезвычайно полезное влечение. Он имеет множество форм, поскольку у нас есть множество интенсивных желаний: жажда еды, питья и, конечно, оргазма; а, жажда, мы жаждем всеми нашими чувствами. Как известно каждому доброму французу, существует вселенная вкуса и вселенная запахов; и имея абсолютно здоровое тело, можно так же томительно стремиться окутать себя букетом *Châteauneuf-du-Pape*, как тосковал о том, чтобы наполнить голодный желудок говядиной с картошкой. И равно как жажда пищи и питья – это дело не только желудка, но и чувственного переживания, испытываемый нами голод различных видов – актуальный и потенциальный – является чрезвычайно сложным явлением.

Американцы из среднего класса обычно не имеют ни малейшего представления о том, что такое голод. В это трудно поверить, когда отдаешь себе отчет, что мы общество, из всех живущих на земле наиболее склонное к навязчивому стяжательству. Дьявольски склонное к стяжательству, однако даже сколько-нибудь не мотивированное соматическим голодом, [будь то] грубым или рафинированным. И поскольку американцы являются обладателями тел, желания которых подавлены, среди других народов планеты они считаются богатыми и бесчувственными пнями, служащими легкой добычей мошенникам по всему миру. Не имея настоящих

желаний, американцы проводят свои дни, поедая символы, глядя на символы, обольщая символы, сражаясь с символами и ухаживая за символами. Они настолько закупорены от чувственного обмена со средой своим мифом страха-агрессии, что способны идти на край земли и предпринимать любые усилия, приносить любые жертвы, если только это делается ради символа и не заражено соматической открытостью и честностью.

Но американский средний класс, основные носители культурной традиции, вступили в мутационный процесс, поэтому нам не нужно горевать о них или прописывать им лекарства. В случае с новыми мутантами нужны будут не лекарства; только тренинг и руководство. И Ницше задал соматический тон этого руководства, заметив, что проблемой для человека является не то, *чего* он хотел бы, а, скорее, обнаружение того, *что* он испытывает желание.

Те, кто воспитаны в нашей культурной традиции, не знают, что они, как индивиды, могут быть подлинным источником потребностей: очень специфических потребностей, которые вырастают из древнейшей и прекрасно структурированной системы желаний: их соматического наследства. Эта структурированная и искушенная сома сформирована некоторой семейной средой, некоторым языком и некоторым обществом, которые все вместе определили характерный способ, используемый сомой данного индивида для выражения его потребностей и их удовлетворения. Каждый человек имеет собственную личную сокровищницу потребностей и собственный индивидуальный стиль удовлетворения этих потребностей – *если* его можно научить, что ему позволено и от него ожидается проявление такого индивидуального стиля переживания желаний, *если* ему можно объяснить с детства, что он уникален и не *должен* быть кем-то еще, не должен стараться удовлетворять потребности, свойственные кому-то другому, а не ему самому. В один прекрасный день индивид ясно видит, что он действительно источник своих желаний, и принимается утверждать себя как такового, в таком случае желание протекает автоматически, спонтанно и легко. Он знает, *что* он испытывает желание, и таким образом знает *чего* он хочет; в этот момент его умственные способности переориентируются на поиск поведенческого курса

в пределах его среды, посредством которого его желание может быть реализовано в мире так, как ему это представляется.

То, как реализуется соматическое влечение, это техническая задача для развитого ума, который обучен выносить суждения о среде. Но *дать* определенному соматическому влечению расти и проявлять себя в качестве определенного желания – это другая проблема. Та проблема, в которой первые мутанты должны запутаться: речь идет о развитии и совершенствовании себя в соматическом плане в переживании чувственно-аккомодантных влечений.

Желания сомы и чувственно-аккомодантные влечения. В отличие от влечения страха-агрессии, они не оберегают и не изолируют индивида от среды; иначе говоря, они подталкивают его к ней, поскольку существует нечто в среде, в чем он должен участвовать, с чем он должен соединиться или быть его частью. В состоянии чувственного голода выходишь из сдавливающей ситуации изоляции и, устремляясь наружу, расслабляешься навстречу среде, открыто приглашая ее к воздействию. *Все* желания чувственны; однако традиционная западная культура сражалась за ограниченное признание чувственной природы лишь тех побуждений, которые имели практическое значение для выживания. Таким образом, мы можем ожидать, что наша культурная традиция в ее наиболее чистом выражении объявит, что «еда и питье полезны для здоровья, укрепления сил и работы, но не по какой-либо заключенной в них самих причине». В данном случае, «причиной, заключенной в них самих», было бы соматическое удовлетворение. Или, «секс полезен, поскольку служит порождению новых человеческих существ, но не по причинам, заключенным в нем самом».

Однако если вселяющей страх среды больше нет и вызывающих озабоченность практических социальных потребностей больше не существует, сведение чувственных побуждений к побуждениям, которые можно засвидетельствовать как «полезные, с точки зрения» той или иной потребности, связанной с выживанием, является бесцельным или неоправданным ограничением. Характеристика «полезные для...» исчезает, и чувственные побуждения, которые развиваются внутри нас, не являются ни «полезные для чего-то», ни «бесполезными» – они просто есть. Они существу-

ют, и существуют как часть того целостного комплекса, который представляем собой я сам, как человек, или вы, как воплощенные мужчина или женщина, какими вы являетесь. Эти желания *мои*, и мне не нужно оправдывать их, не больше, чем я нуждаюсь в оправдании собственного я и факта своего существования. Я был создан для жизни невинным предопределением космоса: и так же, как я не даю и не могу дать оправдания существованию вселенной, я не оправдываю и не могу оправдать *моего* существования и существования пульсирующей структурированной сомы, которая служит ему домом.

«Невинность случая» не единственное открытие мутантов: не менее важным является невинность бытия. Доступное человеку принятие соматического факта бытия требует от современной личности колоссальных психотерапевтических усилий по достижению честности: однако в недалеком будущем оно исполнится той же неотвратимости, какой обладают утверждения, вроде «Скала есть скала» или «Все люди имеют две ноги».

Соматические философы – двигаясь прямо вверх от начальных прозрений Канта и Кьеркегора к Мерло-Понти и современности, с ее экспериментальным подходом и возможностями – являются нашими первыми наставниками в раскрытии богатства наших чувственно-аккомодантных влечений, через структуры которых мы можем адаптировать и формировать себя и свой опыт в соответствии со структурами нашей человеческой и физической среды. Это «феноменологическое сознание» было нанесено на карту, но до сих пор остается в значительной мере неисследованным людьми в нашей собственной культуре: и именно нам предстоит провести исследование собственными методами – даже если техниками, выросшими давным-давно из индуистской и буддийской традиций, намечены тропинки, ведущее сквозь тот же соматический опыт. Мы можем извлечь пользу из этих более ранних исследований, но рассматривать их как конечный отчет относительно соматического опыта переживания чувственно-аккомодантных мотивационных паттернов было бы нецелесообразно. Мы зашли слишком далеко, научились слишком многому, слишком долго приносили жертву технологическому обществу, чтобы позволить развивающейся в нас потребности в чувственно-аккомодантном



переживании удовлетвориться оцупью проводимыми исследованиями людей, чье мнение в значительной степени определялось мифической реальностью, которая довольно далека от нас. Сравнительно с тем, что нам предстоит обнаружить в соматическом опыте на протяжении следующих нескольких поколений, йогическое учение, возможно, только капля в море.

С точки зрения нашего теперешнего несбалансированного состояния страха-агрессии, то, что произойдет в течение следующих нескольких десятилетий, покажется «неуравновешенным» экспериментированием и погружением в чувственность. Сам факт, что конечное достижение человеком соматического баланса и здоровья должно было в настоящее время восприниматься как нечто «неуравновешенное», является крайним показателем степени нездоровья, страдания и депривации, испытанных людьми и их традиционной культурой за все эти века.

# РАЗДЕЛ 3: ЗДЕСЬ МЫ ОЧЕНЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ОБХОДИМ КРУГОМ ТУТОВЫЕ ЗАРОСЛИ

## 1. Третий глаз

«Но если все возможно и ничего невозможного нет, тогда жизнь и космос не движутся куда-то конкретно: существование не могло иметь конечной цели или смысла».

Несколько лет назад Джордж Шредер из Йельского университета писал обзор моей книги об экзистенциальной философии и под конец пронзительно заметил, что если написанное мной об экзистенциализме было правдой, экзистенциализм оказывался вовсе не мрачным упражнением в тревоге и несчастье, а напротив, был исключительно счастливой философией. Я в полной мере наслаждался комментарием Шредера, поскольку в первые годы моего преподавания и писательской деятельности я неизменно думал о себе как о счастливом экзистенциалисте; и Шредер был первым, кто отметил в этом предположительную противоестественность.

Как и миллионы других американцев, в свои ранние университетские годы я тратил половину энергии, понемногу чему-то учась, а другую половину – стеной и содрогаясь над своим открытием, что «все бессмысленно». Все было к лучшему: единственным позитивным достижением, на которое я мог указать пальцем после четырех университетских лет, была не степень бакалавра искусств, полученная мною, а утраченные мною Бог и девственность. Даже если моему отдельно взятому университету и не приснилось бы программировать такой результат, он имел нечаянный успех, решив главную задачу идеальной четырехлетней университетской программы: избавить юного студента от всех пороков невежества, страха и суеверия, впитанных им из культурного окружения за первые семнадцать лет. Я был очищен от традиционных искажений теологии и морали, и хотя такое перепрограммирование моей юношеской сомы вело меня, страдающего, сквозь многократно пе-

режигую темную ночь души, из меня вышла в чем-то более сбалансированная и эффективная сома: и, пожалуй, счастливый человек.

Двадцатый век был периодом, когда растущие множества мужчин и женщин были ввергнуты в эти темные ночи души, в продолжение которых они переживали жуткий разлад и выбитость из колеи, которые могли обобщить лишь как всееляющее ужас сознание, что жизнь бесцельна и бессмысленна. Это действительно ужасающий опыт – утрата традиционного ума – так как он влечет за собой глубокое разочарование и фрустрацию<sup>38</sup>, приходящие, когда обнаруживается, что культурная подготовка, сосредоточенная на осознанном внимании и рациональном наступлении на все адаптационные проблемы, представляет собой, в конечном итоге, не самый эффективный способ справляться со средой.

Жизнь в этом мире обнаружила себя как «абсурдная», «иррациональная» и «в конечном счете бессмысленная», и этот факт не говорит о жизни в этом мире ничего утешительного. О чем это *действительно говорит*, так это о том, что сложная панорама, охватывающая человека и его среду, не может быть полностью схвачена через механизм сознательного ума или сведена к нему. Эта трактовка относится не к миру; она относится к сознательной умственной деятельности. В конце концов, как у мира могло быть хоть что-то в конечном счете неправильное: он просто *есть*, и поскольку он никоим образом не ответственен за свое бытие, каково оно есть, нет смысла предъявлять обвинение *есть-ности* нашего космоса. Иными словами, переживание «бессмысленности» является живым обвинением упомянутой гипертрофии одного аспекта наших сом: сознательного внимания и рационального усилия.

В этом сопровождаемом жестокими страданиями и крушением надежд поиске конечного смысла нелепо то, что он полностью бесполезен; как раз перед тем, как мы начали поиски, искомый смысл был у нас в руках, а едва начав искать, мы потеряли его. Словно разиня, по всему дому разыскивающий очки, которые у него на

---

<sup>38</sup> фрустрация (от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание, расстройство) – психическое состояние, связанное с разочарованием, возникающим вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели; подавленность, как реакция на препятствие.

носу, наши разочарованные искатели обречены на разочарование самой природой своей ситуации: не требуется ни усилия, ни сознательного поиска, ни рациональной работы, чтобы раскрыть смысл жизни, в виду того, что смысл жизни не может, по природе вещей, *быть раскрыт*. Он не может быть «обнаружен» как нечто отделенное от вас и утраченное, потому что смысл вашей жизни не «вовне», не обособлен от вас: смысл жизни уже *есть* вы, живая сома. И невозможно искать что-то, чем вы уже являетесь в любом случае; вопрос, пожалуй, заключается в другом, в том, чтобы *вы позволили себе быть*. Фундаментальные проблемы человеческой жизни не являются даже в принципе доступными интеллектуальному усилию; они могут быть разрешены лишь соматическим просветлением.

Итак, наше мнение заключается в том, что если жизнь обнаруживает «отсутствие смысла», это явный показатель неспособности сознательного ума иметь дело с самыми непосредственными и фундаментальными человеческими проблемами. Но сверх того, это и показатель способа, каким надежда на усилия сознательного ума создает саму проблему, которую человеческие существа затем пытаются разрешить, отдаваясь еще более неистовому упованию на этот ум. Вкратце говоря, соматическое учение и способ мышления продемонстрировали нам, что сознательный ум и его агрессивная традиция технологической науки предназначены для атаки на человеческую среду, но нанесение удара самому человеку не является их целью. Стремиться нанести такой удар значит применить неверное средство и некорректный метод, руководствуясь плачевно неуместным мотивом. Но если мне и миллионам других людей и довелось пережить пост-подростковую темную ночь души с ее «открытием бессмысленности», это только пролог к первому акту имеющейся сейчас налицо мутации: перво-мутантам из числа молодых американцев известно, что жизнь в этом мире не имеет конечного рационального смысла; и они знали это с самого начала, и не должны были сносить и преодолевать соматическое воспитание, которое традиционная культура вменяла им как нечто претендующее быть истиной. Эти молодые американцы – вследствие ли намеренного родительского попустительства, или в результате родительской безучастности – были, если хотите,

воспитаны «на технологической улице Америки»: они испытали на себе свою среду, воспользовались ее возможностями и пришли к пониманию этой среды, не пользуясь выгодой, даваемой ее интерпретацией нашей традиционной культурой. И за отсутствием такой «выгоды», проблема предыдущего поколения – «Имеет ли жизнь смысл?» – никогда даже не приходила им в голову. Они уже выше этого момента. Если бы вы поставили перед ними этот вопрос, их красноречивый ответ был бы следующим: «Да откуда вы взяли, что жизни *следовало бы* иметь какой-то конечный смысл?»

Осознать, что жизни *не* нужно «иметь смысл», чтобы быть сносной, это первый шаг к принятию жизни, как она есть; это начало не только принятия, но и релаксации, и растущего доверия в вашем соматическом бытии и бытии мира, какими им дано быть.

Это тот момент, когда уже не боишься обступающей со всех сторон есть-ности, а начинаешь открываться ей и любить за то, чем она является. Любить и принимать соматико-средовую вселенную, даже если она лишена какого-либо «конечного смысла» – знак того, что ты перестаешь полагаться строго на сознательный ум как средство установления отношений со средой. Это признак того, что началось выскальзывание из ума и рискованное вхождение в целостное соматическое бытие, с тем чтобы вступить во взаимоотношения со средой.

Несравненный Маршалл Мак-Люэн с радостью признал эту перемену среди все увеличивающегося числа молодежи: в частности, то что они не видят вещи так, как их видят находящиеся во власти традиции старики. И хотя в фокусе внимания Мак-Люэна находятся технологические средства, служившие зубным кольцом, которое грызли эти мальчишки на пути к зрелости, тем не менее фокус этот приходится точно на центральное событие – изменение в человеческом восприятии; и его описание этой мутации в человеческом восприятии полностью укладывается в соматическую терминологию. Ключевыми словами, звучащими в сочинениях Мак-Люэна подобно пассакальи<sup>39</sup>, являются такие термины,

---

<sup>39</sup> пассакалья (ит. passacaglia) – старинный испанский танец, а также музыкальная пьеса величественного характера, специфической особенностью которой является постоянно повторяющаяся в басу мелодия.

как «немедленный», «органический», «информация», «электрический», «форма и паттерн», «средства», «коммуникация». Мак-Люэн вполне осознавал, что когда описывается кибернетическая организация электронных коммуникационных систем, фактически дается описание нейрофизиологической системы человеческого тела. Как он это видит, технологическим триумфом Запада в двадцатом столетии является распространение наших сом, следовательно, наша коммуникационная технология подобна расширению нашей собственной нервной системы: земля напоминает деревню, потому что у нас настолько же прямые коммуникации, как [связи внутри] нашей нервной системы, и, таким образом, мы воспринимаем вещи немедленно. Быть воспитанным в условиях этой современной технологической среды (и воспитанным свободно от искажающей обработки нашей традиционной культурой) значит, без сомнения, воспринимать среду радикально отличным способом.

Однако Мак-Люэн мог бы провести параллель еще далее: наша коммуникационная технология не только копирует нашу центральную нервную систему, она является ее *воплощением*. При кибернетической организации компьютерной переработки и электронных систем коммуникации мы достигли *избавления от человеческой функции рационально-интеллектуального труда*. Мы в двадцатом веке в буквальном смысле воплотили то, что столетиями считалось таинственной и нерушимой собственностью человеческого «духа». Призрак интеллекта не просто материализован, он сейчас лежит в фундаменте каждой крупной индустрии, мурлыкая и пощелкивая в сверкающих стальных корпусах.

Часто философы вступают в неимоверно скучные дебаты о том, есть ли какие-либо значимые различия между человеком и компьютером. Сходство между человеком и компьютером неоспоримо, поскольку компьютер является материальным воспроизведением той функции симпатической нервной системы, которая называется сознательным умом. Компьютер не только *является* сознательным умом, он является им *в большей степени*, нежели какое-либо человеческое существо. В этом сходство между человеком и компьютером. Однако расхождение гораздо значительнее: расхождение состоит в том, что компьютер (или какая-либо ки-

бернетическая электронная система) это отвергнутый гомункулус: это человеческая функция, от которой человек отказался, и поэтому имеет возможность заниматься чем-то еще. К тому же, различие в том, что человек видоизменяется, в то время как компьютер принимает на себя отброшенную человеческую функцию.

Большая часть того, что психологи, философы и другие ученые, а также набожные люди называли «человеческим духом», это теперь существо, производимое IBM<sup>40</sup>. Я нахожу это очень забавным, учитывая его заскоки в чистую область комического абсурда, проложившего ему дорогу в нашей традиционной культуре. Как только люди оправятся от изумления, вызванного таким удивительным поворотом событий, как знакомство с компьютерами, они впадут вскоре в глубокое безразличие к компьютерам и выполняемым ими функциям: они будут принимать эти функции как нечто само собой разумеющееся, поскольку, как человеческие сща, они будут вовлечены в другие виды деятельности, такие, где от них не требуется сознательной рациональности.

С тех пор, как мы перестали тратить уйму времени, взбираясь на деревья босыми ногами, никого, кажется, особенно не беспокоит рассуждение о том, что наши мизинцы, по-видимому, вырождаются. И раз распространение кибернетических систем становится повсеместным, ничье душевное равновесие не нарушится осознанием того факта, что – сходным образом – наш интерес к высокорациональному и самосознающему уму значительно уменьшится. Он уменьшится просто потому, что его деятельность перестанет быть функцией, которую можем осуществлять только мы: с того времени, как она может осуществляться машинами, мы больше не *нуждаемся* в ее выполнении. Стоящий за эти закон обладает большой силой: соматическая функция, которая перестает обслуживать практическую потребность в средовой адаптации, не уцелеет, она претерпит мутацию, либо, по крайней мере, редуцируется до какого-то все же нужного функционального уровня. Итак, инструмент, каким является агрессивный рациональный ум, который когда-то был нам необходим, чтобы завоевать непокор-

---

<sup>40</sup> IBM – International Business Machines Corporation – концерн «Интернешнл Бизнес Машинз» (США).

ную среду, в настоящее время успешно материализован; теперь мы можем обратить свои интересы к другим вещам.

К каким же? Ну, во-первых, свести знакомство с самим собой. Десятилетиями существовал все возрастающий интерес к открытию себя, познанию своего существа, развитию, переживанию, раскрытию, актуализации и осуществлению своего существа, собственного «Я» и т.д. И этот неуклонно усиливающийся интерес двигался по кругу, суживая фокус до той точки, где, наконец, мы можем сейчас более определенно говорить о природе этого таинственного «Я» и «существа», о котором мы так долго говорили. Это, конечно, сома. Ваше «Я» и ваше «существо» это просто ваше непосредственно воплощенное присутствие в этом мире: вы, сома.

И причина, по которой имела место все увеличивающаяся заинтересованность в разоблачении этой сомы, как раз в том, что развитие технологизированной среды во все увеличивающемся объеме давало большему и большему числу людей свободу интересоваться этим. Однако, как уже было отмечено, тот соматический смысл, который мы стремимся обнаружить и вывести на передний план, не доступен никакому прямому техническому усилию, из тех, что нашлись бы в инвентарном списке нашей культурной традиции; необходим будет радикально иной подход. И у многих людей, когда они в конце концов получают ясное представление о том, что в действительности влечет за собой и чего хочет «радикально иной подход», их сомы до такой степени затопляют сжимающие их пароксизмы страха и гнева, что это измененный подход вызывает у них отвращение и они ругают его самым энергичным образом.

Если состояния субъекта обуславливают традиционного рода восприятие и поведение, типичные для западного, основывающегося на страхе-агрессии подхода, связанного с создающим сжатие сознательным контролем, то попытка развивать соматический опыт аккомодантного, чувственного поведения вызовет соматическую реакцию отторжения, если не конвульсивную, в прямом смысле, реакцию. Это произойдет потому, что парасимпатические пути энергетического выражения так долго были атрофированными и сдавленными, что мускулатура не способна расслабиться



и стать проводником чувственно-аккомодантных энергетических проявлений.

У тех, кому случилось всю жизнь вести бой с культурной традицией, могут пробиться такие пути чувственного выражения. И множество ассоциаций, пускающих ростки по всей стране, посвятивших свою деятельность тренингу сенситивности и расширению сознания, знаменуют собой первоначальные попытки оказать помощь этим беженцам нашей традиционной культуры. Но такая помощь беженцам, очевидно, лишь кратковременная фаза того, чему еще предстоит обнаружиться. Раненые беженцы угасающей культуры представляют собой второстепенный и ничтожный феномен, важный сейчас лишь в той мере, в какой их обилие делает возможным развитие такой экспериментальной терапии.

Однако такие организации и искалеченный средний класс, который они обслуживали, лишены всякого будущего, исключая роль средства к развитию позитивного общего курса и тренинговых техник для потока перво-мутантов, которые *не* будут искалеченными беженцами, а будут просто относительно сбалансированными сомами, чьи взрывные энергии не имеют свободного пути к завладению средой. Несомненно, университеты, за исключением немногих, оказывают лишь самую слабую помощь перво-мутантам; чиновники не имеют и самого смутного представления о том, что происходит – все они знают, что это что-то жуткое и ненормальное, и будут твердо продолжать вести корабль на мелководье, надеясь, что смогут получить отставку до того, как все идиотское судно сядет на мель и потонет. Частные организации, число которых все увеличивается, создаваемые для проведения чувственно-аккомодантного тренинга, являются, таким образом, почти единственным типом центров мутационного значения; однако даже в миг первого румянца успеха и волнения эти организации должны отдавать себе отчет, что их конечная и истинная функция связана не с беженцами из прошлого, а с сиротами настоящего и будущего. Символическое высказывание об этом откровенно выведено на стенах их купален и массажных кабинетов: хиппи не нуждаются в таких ассоциациях, а новые левые презирают их, считая пунктами первой помощи для среднего класса.

Вопрос о том, какие позитивные институционализированные средства могут быть переданы в распоряжение перво-мутантов, это, пожалуй, отдельная сторона обсуждения, которое будет продолжено в завершающей главе. В данный момент нам вполне достаточно впервые затронуть этот «радикально иной подход» и все, что он, по-видимому, подразумевает.

Соматические ученые и философы учили нас, что являясь сомами, вышедшими из необъятного эволюционного прошлого, каждый из нас уже «осмысленно» (читайте: в соответствии с адаптационными параметрами) структурирован относительно окружающего нас мира. Эта осмысленно связанная [с миром] структура, совершенно буквально, ни что иное, как *мы сами*: ее не надо искать или думать о ней, поскольку она уже существует под всяким нашим поиском и рациональным мышлением. Поиск и мышление являются по-настоящему удачными инструментами, используемыми нашими соматическими «Я» для управления и манипулирования средой, что позволяет нам выжить и господствовать. Но теперь, когда мы выжили и действительно доминируем, нашим сомам нет нужды устанавливать связь с этой изменившейся средой в единицах, преимущественно, таких защитно-агрессивных видов активности, как поиск и рациональный анализ. Среда, которая была вынуждена адаптироваться к потребностям человека, связанным с выживанием, ныне трансформирована настолько, что людей, живущих в технологическом обществе, окружает обстановка, которая заставляет их приспособливаться к себе. Прежде недобрая, пробуждающая у части людей страх и агрессию, теперь среда стала мягкой, она дает начало соматическим действиям аккомодации и капитуляции – действиям, нечасто практиковавшимся и мало поощряемым в период рискованных ранних занятий вида.

В ходе двадцатого столетия, пропорционально степени, до которой среда сделалась более мягкой, имела место ответная реакция человеческих существ, у которых пробудилось беспокойное желание ощутить себя осмысленно связанными с этой технологической вселенной, и обнаруживших, однако, что такая содержательная взаимосвязь является чем-то недостижимым. Переломное значение имело здесь как раз *пробуждение* человеческой сомы к новой задаче: установлению связи со средой; в равной степени

важным явилось открытие, что средствами культурного обучения не выполнить этой задачи.

Пробуждение к поискам «смысла», являющегося приметой двадцатого века, это пробуждение подавленной и дремлющей части наших сом к работе по адаптации. «Темные», «иррациональные» чувственно-аккомодантные влечения превратились в тенденцию и начали развертывать свои силы, и в результате люди били ужасную тревогу, не будучи, реально, в состоянии сознательно определить или понять природу этого странного нездоровья. Эти смятенные души неспособны были локализовать свое болезненное состояние и уловить его смысл, не потому, что происходящее *превышало* понимание, но лишь потому, что оно *протекало ниже уровня* сознательного осмысления, простираясь непостижимо и бесконечно глубже механизма сознания. Так называемая экзистенциальная тоска была первым ярко выраженным соматическими симптомом мутации, в которую неотвратимо втягивала нас наша технологическая среда.

Вот почему экзистенциальная философия это, в конце концов, счастливая философия: потому что она имеет дело со счастливейшими из всех человеческих переживаний – ростом и адаптацией. Такого рода философию Ницше очень удачно назвал «поэзией». И если многим она казалась зловещей и мрачной, это потому, что любые ритуалы перехода, до того, как он пройдет через них, выглядят для иницируемого устрашающе; однако после того, как он прошел через них и приобрел свою идентичность и зрелость, он смеется над своими прежними страхами и рассматривает эти страхи в перспективе неизбежного роста. Начиная с Кьеркегора, неиссякаемые остроумие и смех эхом проходят сквозь всю экзистенциальную философию под покровом ее внушающего боязнь соматического анализа. Словом, экзистенциальная идея была философским отображением ритуала совершаемого человеческими видом перехода из детства к первому возмужанию.

Как показано антропологами, ритуал перехода содержит в себе овладение радикально иным подходом к переживанию опыта и поведению в мире. Ни что иное, как ритуал перехода Хайдеггер назвал «переходом за черту», а радикально отличный подход к среде – это то, что Ницше определял как «новое сознание» человечества.

Все это указывает на то, что радикально новый «сознательный» подход к среде подразумевает новый способ переживания среды – род переживания, которое не является опытом вызывающей эффект сознательной рациональности, а протекает под этим старым адаптационным механизмом с ограниченными возможностями. Как я уже дал понять, каждым своим нюансом соматические данные свидетельствуют о новом способе переживания, как о переживании проявленной любви – опыте «отдавания», отказа от себя, исполненного любовного доверия к некоторому аспекту среды. Чувственно-аккомодантное переживание будет наиболее очевидной вещью, выдвигающейся на передний план в условиях такой капитуляции, и его выдвижение будет выражаться в единицах соматической релаксации – текучей, несфокусированной чувственности, которая позволяет соматическому существу субъекта быть прочувствованным и воспринятым определенным аспектом среды, а также изменить форму под его воздействием. Чувственно-аккомодантное переживание это переживание адаптированности к определенному лицу или некоторой ситуации рядом с вами, и для того, чтобы принять новую форму и адаптироваться к другим существам и другим ситуациям, some нужно дать волю, предоставив быть в состоянии счастливой капитуляции и релаксации вплоть до последнего синапса и мышечного волокна. Такое переживание, очевидно, лишено страха: оно относится к числу бесстыдных, честных, недвусмысленно выраженных моторных влечений, которые были вызваны наличием данной конкретной среды.

Позвольте мне еще раз повторить то, на чем я счел необходимым сделать акцент в конце *Раздела 2*: что наше мутационное превращение в сбалансированные человеческие сомы *не* означает исчезновения проявлений страха-агрессии; в действительности оно означает появление чувственно-аккомодантных проявлений в рамках соматико-средового обмена, достигающих уровня, никогда прежде не ощущаемого людьми. Ключевое понятие адаптации это *соматическое равновесие по отношению к данной среде*. Искренний и откровенный страх являются такими же необходимыми адаптационными проявлениями, как честно выраженные желания, касающиеся слияния сомы с данной формой, ароматом или текстурой некоторой привлекательной средовой ситуации. В обоих случаях

мы имеем дело с фактом адаптации. Однако, поскольку человеческие сомы так долго – и в частности последние три столетия на Западе – сохраняли, в нарушение равновесия, упор на основанное на страхе-агрессии, ассимилятивное адаптационное взаимодействие со своей средой, пробуждение к действию чувственно-аккомодантных средств экспрессии в будущих поколениях станет настолько преобладающим адаптационным приоритетом, что такое развитие вначале *покажется* тотальной мутацией в направлении чувственной аккомодации. Для уверенности в том, что такой исход в принципе возможен, нет соматического основания. Без сомнения, парасимпатические функции автономной нервной системы начинают переживать период интенсивного развития и применения, однако это никоим образом не значит, что симпатическая ветвь автономной нервной системы прекратит существование.

Неизбежная мутация в направлении такой более сбалансированной и гомеостатичной человеческой сомы это изменение, которое обнаружит большее количество путей соматической приспособляемости. Сырое биологическое понятие приспособляемости не может дать достаточно убедительного представления о том, насколько из ряда вон выходящим является такой соматический баланс. Поэтому нам лучше связать между собой несколько выпуклых выражений, описывающих то, что совершается в ходе адаптации. *Узнавать* значит приспособляться к чему-то. *Сообщать* – в равной мере является адаптационным обменом. *Давать и получать информацию* – это адаптация. Узнавать, сообщать, обмениваться информацией – составляющие подлинной сущности адаптации, и такая адаптация есть обмен между сомой и средой, при котором сома накладывает свои структуры на среду (ассимиляция), или среда запечатлевает свои структуры на соме (аккомодация). В каждом из двух случаев мы имеем адаптационное событие из разряда узнавания, подачи сообщения или обмена информацией, которое является адаптационной необходимостью, если сома намерена выжить в окружающем ее мире.

Вплоть до настоящего времени опыт, который человеческие сомы получали от среды, был решительно сосредоточен на функции ассимиляции, т.е. мы изучали нашу среду и общались с ней, первоначально не преступая уровня, на котором эта информация

позволяет нам агрессивным образом контролировать эту среду и манипулировать ею. Разумеется, были мужчины и женщины, которые составляли исключение с точки зрения наличия у них этой позиции страха-агрессии по отношению к миру – и они из числа великих визионеров, поэтов, художников и мечтателей истории, – однако такие люди были редкостью для своей культурной традиции; а эта традиция, толкая людей в увечное, согбенное, изнурительное наступление на их среду, создала возможность возникновения технологической среды, рождающей теперь визионеров, поэтов, мечтателей и гораздо более того, не в виде исключения, а как правило.

Мы должны понимать следующее: *аккомодационный способ адаптации есть еще одна форма научения, подачи сообщения и получения информации*. Это еще один вид человеческого опыта. По утверждению Ницше, это новое для человека сознание. Согласно описанию Мерло-Понти, это радикально отличная манера восприятия – восприятие, которое является релаксированным, нефокусированным и охватывает область чувствования в целом, а не только ту ее грань, которая ответственна за восприятие фигуры-фона. Мы начали и будем продолжать в будущем столетии совершенствовать этот релаксированный, более широкий и содержательный способ получения информации от нашей среды. Как – мы не знаем до сих пор, и только начинаем узнавать: как человек, проживший жизнь, глядя прямо на трудноразличимый объект, чтобы «видеть» его, и ошеломленный, обнаружив, что если он отводит взгляд от объекта, последний виден даже лучше. Формирование у себя способности воспринимать *всё* в пределах нашей видимости – а не просто «какую-то одну вещь», исключая все, кроме нее – это адаптационная работа, расчистившая дорогу чувственно-аккомодантным влечениям.

Никто не был бы потрясен и даже удивлен, узнав о появлении еще одной науки: на протяжении двух третей нашего столетия мы слышали, как вновь и вновь повторялось, что «нам нужно, чтобы наш научный прогресс догнал нашу мораль». Именно это сейчас и начинает осуществляться. Однако ревнители культурной традиции, монотонно твердившие эту формулу желаемого – как и ожидалось, последние, кто способен к пониманию ли, или принятию

такого исполнения их благочестивой мольбы, в виду того, что они приравнивают «мораль» к специфической форме поведения; и суть проблемы в том, что человеческой расе не требуется «больше» такой морали (что бы это ни значило); но эта традиционная мораль, скорее, как раз то, что с необходимостью будет ослабевать и исчезнет в ходе адаптации человека к среде, созданной технологическими науками. Смешно и грустно; и мораль, казалось бы, такова: «Не пожелай чудес, ибо для того, чтобы они стали возможными, мир изменится до такой степени, что ты, быть может, ужаснешься реализованному желанию».

Подвергаясь вечному риску показаться неправедным, я могу представить предписания традиционалистов в менее красочном изложении: уже сейчас мы «знаем» достаточно о нашей среде с точки зрения ее причинных рычагов и кнопок, чтобы ухватиться за нее и манипулировать ею; достижения технологической отрасли науки уже достаточны (это, определенно, последнее, во что последователь традиций – капиталист или коммунист – мог поверить, и с чем он мог согласиться, поскольку он целиком уверился, что все проблемы в конечном счете разрешимы лишь посредством применения в возрастающих размерах рациональной, агрессивной силы – равно силы научной технологии или, в религиозном варианте, силы Бога, каким он представлен в культурной традиции: небесного, провиденциального Технолога). Мы уже обладаем *достаточным* технологическим знанием средового контроля по тем вполне доказуемым причинам, что 1) наша американская среда в достаточной мере технологизирована, в такой, что производит теперь перво-мутантов, и 2) технологическое знание становится все более скучным для все большего числа людей и возбуждает их интерес, только тогда этот вопрос использования технологических умений для восстановления экологического баланса, нарушенного за счет ненужного злоупотребления технологическими возможностями: обе причины имеют одинаково значительное влияние. Однако о чем мы *не* имеем достаточной осведомленности, это как *жить в этой мягкой, технологизированной среде*. Мы не знаем, как жить в этой среде, потому что еще не приобрели в достаточном размере опыт переживания этой среды – обширный и содержательный опыт, который можно приобрести только через чувственно-акко-

модантное восприятие. И *этот* способ переживания, *этот* вид научения, сам по себе, является той самой адаптацией, которой мы ищем, т.е. получать сведения о вашей среде аккомодационным методом – это, по определению, тот самый акт обучения искусству жить в этой среде: восприятие, переживание и экспрессивное поведение идентичны.

Позвольте нам теперь на мгновение остановиться на сделанном; это ключевое наблюдение, и с первого взгляда оно может показаться непонятым. Утверждение состоит в том, что чувственно-аккомодантное восприятие это *также* чувственно-аккомодантное поведение. Если такое заявление выглядит странным, отнеситесь ко мне на минуту снисходительно, поскольку, проясняя этот ключевой пункт, мы совершим важный поворот в нашем понимании современной человеческой эволюции.

В экзистенциальной философии стало банальностью указывать на то, что «делание» зависит от «бытия». Это вербально приятный способ говорить о том, что поведение определяется восприятием: соответственно манере, в которой мы воспринимаем реальность, мы и будем вести себя в этой реальности. Это прямое сцепление между восприятием и вытекающим поведением и побуждает Сартра, например, говорить, что каждый делает правильный выбор.

Ладно! Но отношение между восприятием и поведением, когда преобладающее влияние имеют аккомодантные влечения, коренным образом отличается от отношения, которое типично, когда человеческое восприятие и поведение определены влиянием ассимилятивных влечений. У человеческого создания, скованного, каким оно является в результате приобретения им рационально-вербального сознания, имеется *разрыв* между восприятием средовой ситуации и его поведенческой реакцией на нее. Это очень по-человечески, конечно; другие животные сомы действуют автономно в своих реакциях страха и гнева: если ситуация опасна, бегство следует незамедлительно, если грозит территориальное вторжение, немедленно следует нападение. Но с людьми иначе: их ассимилятивные проявления страха-агрессии пропущены через контролирующий механизм рационального сознания, укомплектованный банками памяти и сканирующими устройствами. Поскольку наше рациональное сознание представляет собой поздний тонкий пласт



на поверхности наших древних сом, оно служит процессом-посредником между ситуацией и ответом. Это значит, что, не обзаведись мы рациональным сознанием, человеческим ответом на угрожающую ситуацию были бы автоматические и немедленные агрессия или бегство, т.е. автономные нервные реакции из разряда устойчивых моторных паттернов.

Однако, как это происходит в действительности, когда мы воспринимаем ситуацию, мы редко отвечаем на нее сразу, вместо этого обдумывая ее и делая умозаключения. Эта, напоминающая компьютерную обработку, деятельность по обдумыванию и вынесению заключения представляет собой разрыв между восприятием и поведением; и, кроме того, это в высшей степени непредсказуемая деятельность, поскольку поведенческая реакция на воспринятую ситуацию может на первый взгляд казаться до крайности ей несоответствующей. Другими словами, человеческий «ум» – устройство весьма лживое и сомнительное в расчетах прибыли, удовольствия и факторов выживания.

Суть, в таком случае, вот в чем: при ассимилятивной деятельности человеческого сознания есть резкое различие между восприятием и поведением. Но аккомодантное переживание в корне иное: поскольку оно древнее сознания и поскольку его интересы враждебны ассимилятивным интересам сознания, оно взаимодействует со средой непосредственно, уверенно и органично. *Аккомодантное восприятие есть аккомодантное поведение*: оно неосознанно, нефокусированно, бесстрашно и автономно. Это, без сомнения, тот способ, который позволяет нам жить в органической связи, органическом взаимообмене, органической общности с нашей средой.

Переживая чувственно-аккомодантный опыт, мы воспринимаем в совершенно другой манере, потому что это переживание влечет за собой *поведение* в той же манере; оно влечет за собой немедленную, не включающую самоосознания соматическую капитуляцию перед мотивационными паттернами, которые были вызваны ситуацией. И оно само есть чистая экспрессия: разрешение-соединение-разрядиться в ее мимикрической реакции на среду. В чистом виде это то, что Ницше называл дионисийским проявлением; в упорядоченной, завершенной форме, которую оно приобретет за будущее столетие, это то, что Ницше называл дионисийско-апполоновым проявлением.

Пугающей для приверженцев культурной традиции является как раз эта автономная, не содержащая самоосознания природа чувственно-аккомодантного переживания: оно *бесстыдно* предстает на всеобщее обозрение. Какое шокирующее впечатление [производит] здесь человек, стоящий, закрыв глаза и покачивая бедрами и плечами, целиком уйдя в музыку. Как своеобразно выглядит эта девушка, что сидит все на том же клочке травы или мостовой, часами уставившись все в тот же лабиринт клевера или на тех же городских букашек.

Действительно, такой опыт, который есть одновременно восприятие и поведение (что значит, автономное проявление), является бесстыдным, бестрепетным и лишенным самоосознания. Или, если выразить это иначе, он представляет собой освобождение от стыда, тревоги и сознания. То, что это опыт «животного рода», несомненно. Что он является соматическим исследованием, которое представляет собой совершенно здоровое явление, потому что ведет к адаптивному балансу, также не вызывает сомнений.

Что могло быть более внятным показателем неадаптивности и упадка нашей традиционной культуры, чем неожиданный интерес к галлюциногенам, возникший среди американской молодежи – в особенности, к марихуане? И что же, *есть* более ясный показатель: и это скрытое отвращение, испытываемое ревнителями культурной традиции как реакция на данное явление. Они знают, что происходит что-то, «что вас отключает, и низкое, и скотское», когда люди курят марихуану, и бросают всю мощь своих социальных средств контроля против тех, кто употребляет галлюциногены. Миллионам юных американцев известно, что курение гашиша это восхитительный опыт, и они гораздо лучше осведомлены о биохимии этого процесса, чем их старики. И поэтому, когда полиция, государственные деятели, священники, журналисты и прочие выразители культурной традиции поднимают свои многочисленные голоса против бедствий и ужасов, которые несет марихуана, резко прорисовывается так называемое потерянное поколение: поскольку правда не только в том, что молодежь считает, что их старики лгут; еще более обличительным является тот факт, что власть имущие осуждают, преследуют и подвергают гонениям ту же самую молодежь за совершение чего-то, о чем старшие не име-

ют ни малейшего представления, потому что сами ни разу этого не пробовали.

Как можно объяснить столь странное поведение со стороны приверженцев культурной традиции? Американскому юношеству очень хорошо известно, в чем объяснение: сторонники традиции – как обычно – напуганы; и чего они боятся, так это радикально иного способа переживания, при котором, в терминах сопряженного с самоосознанием сжатия, они «лишены контроля». Они смертельно боятся «потери своего рассудка».

Молодые люди, со своей стороны, очень рады иногда на время потерять рассудок, потому что они знают, что люди, со всей очевидностью, имеют более, чем один ум. Сковывающий опыт сознательной рациональности это бесспорно один из видов «ума», но ментальность, имеющая отношение к соматическому опыту, скрывающаяся непосредственно под этим сознательным умом – это тоже «ум». И курение растормаживающей, «расширяющей сознание» травы – для молодых людей – это легкий путь познакомиться с тем самым богатством собственной сомы, о котором культурная традиция мало что может сказать иначе, чем в негативном, полном опасений тоне.

Для молодых американцев употребление таких наркотиков – малое подспорье для того, чтобы воспользоваться, как они пробуют это делать, собственным путем в соматико-средовое будущее, путем, который не отмечен позитивной культурной поддержкой. И даже [в случае] использования этой подпорки – [это] явление случайное; перво-мутанты являются по существу всецело иной породой с точки зрения здоровья и независимого соматического функционирования. Традиционная культура, для того чтобы выносить собственные подавляющие перегрузки, стала культурой лекарств *par excellence*; фармацевтическая промышленность больше обязана своим широким развитием традиционной западной культуре, чем стимулам, даваемых химическими разработками. И агрессивный символ работы, каковым является табакокурение, настолько характерен для Запада, насколько глубока потребность в алкогольных успокоительных, чтобы восстановиться после воздействий того же напряженного беспокойства во время работы.

Перво-мутантам не нужны эти лекарственные средства, изменяющие либо притупляющие соматическое переживание; наоборот, они хотят переживать соматический опыт в большем объеме, и хотят его *сейчас*. В этом отношении интерес к вновь обретенным галлюциногенам (которыми, что примечательно, никто на Западе прежде не интересовался, хотя поля марихуаны и существовали) сродни интересу к социальной революции: перво-мутанты чувствуют будущее, предвестниками которого они являются, и они хотят пережить соматический опыт, относящийся к нему, *сейчас* (через травку), и хотят его присутствия в окружающем сейчас (через революцию).

Сказать, что происходящее в настоящее время это ни что иное, как раскрытие «Я», значит утверждать, что люди последних поколений учатся новым формам переживания и поведения. Неверно считать, что «там» существует что-то, чтобы быть раскрытым; это не что-то, что ищется, обнаруживается, чей образ запечатлевается, а затем поступает в архив, под рубрику «“Я”: Обнаружено». Происходит иначе, в корне новый способ переживания ведет к тому, что «раскрытие “Я”» является неизменным безжалостным результатом соматической экспрессии и адаптации к непосредственному окружению. Человек «раскрывает», «узнает» и «является» «Я» лишь в той мере, в какой его соматическое существо постоянно обнаруживает себя и растет в бесконечном процессе адаптации к среде, которая сама по себе никогда не перестает изменяться. Словом, нет такой вещи как «раскрытие» чьего-либо «Я» – это традиционный способ говорить, который выражается в представлении о «Я», как о свидетельстве в рамке, таком, как например душа, дух и т.п., – напротив, есть лишь *бытие* «Я»: оно означает, что целостному соматическому существу позволено функционировать в процессе живой, текучей адаптации к непосредственному окружению.

Этому не так-то легко научиться, особенно учитывая, что культурный материал, который мог бы вдохновить вас, невелик, не считая сочинений некоторых западных мистиков и еретиков и трактатов индийских и японских посвященных. Однако мутационная работа по развитию чувственно-аккомодантного обмена с миром – это как раз то, к чему среда не только приглашает, но,

более точно будет сказать, принуждает нас, если мы намерены адаптироваться и выжить в технологическом окружении.

Легенда о том, что человек когда-то обладал третьим глазом, служившим для восприятия, ныне закрытым, но который может открыться вновь, в той же мере является легендой для современной западной традиции соматической науки и мышления, в какой и для индийской мысли. Могущественный и восприимчивый глаз сомы – там, скрытый и укрытый под всевозможными развившимися позднее ассимилятивными качествами, и этот соматический глаз будет способен видеть лишь в той степени, в какой ослабевают и становятся более прозрачными атрибуты страха-агрессии.

Чувственно-аккомодантный способ переживания – это навыки того, что я бы назвал «полупрозрачным эгоизмом», который должен подсказать способ существования, посредством которого индивид становится непосредственным и текучим в процессе обращения с тем, что вызывает к жизни его среда. Индивид, которому свойственен полупрозрачный эгоизм, является человеком, чья сома дает непосредственно присущую [ей] реакцию (будь то страх, агрессия, чувственность, аккомодация или некоторое их сочетание) на то, чего среда требует с точки зрения адаптации. Это гибкое, подвижное приспособление с минимальной затратой времени и максимальной открытостью. Развитие третьего глаза, кроме того, означает не просто раскрытие чувственно-аккомодантных влечений к текучему и непривычному выражению, но также, как следствие, перековку влечений страха-агрессии в того же рода текучую реактивность.

То, что я предлагаю – предположительно – ужасная перспектива для сторонника традиции: вероятность того, что не только чувственно-аккомодантные влечения будут высвобождены, но то же произойдет с подчиняющимися в данный момент жесткой дисциплине влечениям страха-агрессии, служит для думающего приверженца традиции предзнаменованием чего-то ужасного, обладающим взрывным эффектом. Это потому, что краеугольным камнем культуры традиционализма были ограничение и подавление – или, как (довольно резко) передает это Ницше, «кастрация»: лучше погубить сому, чем позволить ей быть свободной. Следовательно, вытекающий идеал поведения и переживания это идеал

альтруизма: а именно, самоограничение, самоотречение, внимание к нуждам *всякого* другого человеческого существа, *но только не* собственного Я. Это, конечно, идеал общественной направленности, призванный унизить и обуздать каждую отдельную человеческую сому, и в то же время фокусирующий переживание и поведение на «всякой другой» соме: т.е. на обществе.

Альтруизм представляет собой социальное изобретение, с помощью которого индивид подавляет собственные восприятия и соматические реакции на ситуацию в пользу реакций, даваемых всеми остальными, т.е. является подавлением индивидуальности в пользу стандартов общества. Это изобретение ограниченное время обладает эффективностью при поддержании видимой стабильности общества, насколько бы ошибочным или болезненно-обреченным ни было направление, в котором оно держит курс. Действие альтруизма на длительном интервале, однако, должно создать общества, которые стоят настолько вне адаптации и со средою, и с сомами в этом обществе, что в конце концов общество коллапсирует или завоевывается и поглощается другим, или же переживает революцию. То есть, альтруизм является изобретением для общества *per se*<sup>41</sup> и не относится ни к средовым, ни к соматическим структурам. Иначе говоря, какого рода социальное поведение соматически правильно или адекватно среде определяют руководители общества; личный альтруизм коллективно поддерживает такое руководство через порождаемые им конформность и организованность.

Надо отдать дань рациональному уму и благоприятной фортуне человеческого рода, что он сумел выжить и распространиться при такой саморазрушительной и неадаптивной системе, которая через [эмоцию] альтруизма выбрасывает девяносто девять процентов человеческой соматической чувствительности, оставляя адаптационную политику нескольким руководителям, которые возможно сами страдают альтруизмом. Однако не только ум и удача, но и ниспровержение альтруистических идеалов неуклонно уводило наш вид все дальше от первобытной грязи – ниспровержение, творимое теми случайными харизматическими глупцами, святыми, пророками и «темными лошадками», кто, как блестяще

---

<sup>41</sup> *per se* (лат.?) – сам по себе, по существу.

доказал Бергсон, разорвал круг замкнутого и неадаптивного общества и открыл его для более широкого соматического и среднего приспособливания.

В любом случае, подавление непосредственных восприятий и реакций на проблемы возникающие в окружающей среде – это последний из всех вообразимых способов, пригодный для эффективного реагирования на собственное состояние. Первым и основным советчиком, используемым людьми и любой другой сомой в целях адаптации, является непосредственный ответ их соматического существа; обойти этого главного советчика означает обойти возможность приспособиться. Может быть это выглядит альтруистичным и вежливым, не сказать Мод, что ее дыхание напоминает запахом дыхание страдающего плохим пищеварением морского льва; можно счесть за лучшее не говорить Гарвею, что он настолько близорук, что его езда представляет угрозу; не может (мы разберем это в следующей главе) восприниматься приемлемым с социальной точки зрения идти против общественной глупости и выкрикнуть в лицо королю, что он голый, или крикнуть президенту, что он убийца: ни одна из этих непосредственных реакций сомы не была бы альтруистической, потому что они моментально разрушили бы общественный баланс. Однако, разумеется, нарушение общественного баланса (т.е. *адаптивность в ситуации*) как раз и требовалось, и подавление этой соматической реакции наносит в конечном итоге вред обоим этим личностям и обществу.

Но если прежде людей их страх перед средой вынуждал придавать такое значение социальной конформности, основания для страха сейчас постепенно теряются в прошлом. Опоры, на которых покоилось принуждение к неадаптивному подавлению соматического, были из-под него выбиты, и общество людей теперь свободно и не замутнено нависающей со стороны неукрощенной земли угрозой.

Мы можем теперь начать действительно быть адаптивными, действительно эффективными, истинно полезными общественному процессу, и мы так и сделаем, став вполне человеческими и вполне счастливыми. Третий глаз с его полупрозрачным эгоизмом начинает высвечиваться, воспринимая более открыто и реагируя более подвижно и точно на то, что воспринято.

Печально, но мы даже не осознавали, что действительное существо человеческой вежливости и человеческой любви заключается в полупрозрачном эгоизме. В человеческих отношениях именно такая открытая восприимчивость и текучая реакция вызывает у вас замечание: «О, как учтиво с Вашей стороны намереваться сделать это!»: вежливость, породившая это замечание, не подразумевала каких-либо усилий со стороны эгоиста; он наблюдал ситуацию и не имел возможности помочь, однако реагировал на исходящее от этой ситуации адаптационное приглашение. Он даже не «размышлял», ему это было не нужно: он просто воспринимал ситуацию и подвижно реагировал через непосредственное, несдерживаемое (неподавленное) поведение.

Сходным образом, никакая человеческая любовь, в конце концов, не длится без постоянного приспособливания: приспособливаете ли вы ситуацию или человека к себе (трансформация или обучение), или вы приспособливаетесь к ситуации или человеку (поддаваясь или позволяя придать себе форму). Без этого умения ни одна человеческая пара не в состоянии жить и любить друг друга продолжительное время; что может быть является еще одним способом заявить о том, что великие любовники представляют собой полупрозрачных эгоистов – мастеров адаптации и извлечения максимума из *любой* ситуации («Дорогой, крыша обвалилась и на нас хлещет дождь!» «Отлично! Это дает нам наш первый шанс заняться любовью под дождем»).

Поскольку он представляет собой непосредственную приспособляемость, полупрозрачный эгоизм это еще одно название честности. Это честность в ее наиболее чистом выражении: безыскусственная честность, с какой сталкиваешься только у ребенка.

Такая, как у ребенка. Такая, какой обладает некое первоначальное существо. Какая характерна для «Первичного Процесса». Сколько размышлений это вызывает. Уже приводилась цитата: «Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в царство небесное».

Может быть, очень может быть, Он был соматологом, кроме всего прочего. К несчастью, мы никогда этого не узнаем: Его также заглушило общество со своим альтруизмом и своими трансцендентными божествами. Итак, нам придется действовать, надеясь на самих себя.



## 2. *Por mucho madrugar, no amanece más temprano*<sup>42</sup>

О годе 1968-м нельзя отозваться ни слишком хорошо, ни слишком плохо: он был годом просвещенности и дикости, триумфа и унижения; он был и альфой, и омегой, в зависимости от того, с какой стороны алфавита вы помещались. Хотя часть американцев торжествовала, а другая – ожесточилась, все знали, что 1968-й – год выборов – был годом Змеи: великая змея, скользнув, пересекла эту разделительную черту американской истории, и было откровенно видно, что одна ее половина давно и намного опередила события того года, другая – застряла в тылу и понятия не имела о том, что голова змеи не только приблизилась к этому моменту политической истории, но далеко перешагнула его.

Год, ставший водоразделом в политической жизни Америки двадцатого столетия, у нас сейчас позади. В 1968 году культурная традиция одержала свою последнюю бесславную политическую победу в битве с мутацией; перво-мутанты потерпели свое первое бесславное поражение в бою за мутацию. С этого часа ничто не могло оставаться прежним: были очерчены линии поведения, прояснились разногласия, иллюзии развеялись, а заблуждения были разоблачены. Происходившее в тот роковой год не было конфронтацией ни политических партий, ни даже политических идеологий: это было противостояние двух видов восприятия и двух форм человеческой культуры. Стимулируемые стремительно нараставшим процессом, берущим начало в технологическом сообществе, молодые перво-мутанты вдруг ко всеобщему удивлению взошли на политическую арену, звучно, умно, настойчиво и энергично обнаружив себя в политической жизни Америки. В краткий миг, пришедшийся на первое после Второй мировой войны поколение, из-под капустного листа выскочили полчища молодых американцев, главной заботой которых были не болтовня и намерение обзавестись семьей и приступить к стабильному па-

---

<sup>42</sup> Por mucho madrugar, no amanece más temprano (исп.) – как рано ни встань, быстрее не рассветет.

разитарному существованию, почти бесплатно предоставленному им обществом среднего класса; напротив, предметом их интересов было их общество. Они вдруг возникли как пришельцы из космического пространства, охватив долгим изучающим взглядом политические и экономические модели Соединенных Штатов, и нашли их непригодными.

Рельефно и отчетливо видеть разложение общества – это, по сути, лишь акт восприятия; однако обнаружить вдобавок, что те, кто ответственен за это разложение и участвует в нем, не только не замечают, но и вообще не способны увидеть его – это откровение. И благодаря откровению 1968 года миллионам молодых жителей Америки стало очевидно, что наше общество находится в эволюционно-революционной ситуации.

Для перво-мутантов не оставалось сомнений, что война во Вьетнаме была не только до абсурда бессмысленна, она была чудовищным и безрассудным курсом на убийство, разрушение и опустошение. Тем не менее, то, что воспринималось перво-мутантами как отчетливо различимое, было вовсе неразлично для политических представителей традиционной культуры: они просто не воспринимали таким образом. Словно другая раса, говорящая на другом языке, и имея в виду другую ситуацию, политические приверженцы традиции изображали совсем иную войну, подразумевающую совсем иную ситуацию в мире, разгоревшуюся по совершенно иным причинам и имеющую за собой совершенно отличные мотивы. Обе группы – на каком бы конце змеи они не заняли позицию – имели доступ приблизительно к одной и той же информации и рассматривали одну и ту же войну, однако видели и описывали два различных события. Различным было восприятие: с одной стороны – прозрачное и стройное, с другой – абстрагированное, исторически обусловленное и соматически неуклюжее. Нам вполне доступно, насколько недалекими могут проявить себя люди в ситуации, когда ребенок, увидев голого короля, просто-сердечно восклицает: «Король голый!» – даже если ни королю, ни толпе взрослых не дано *видеть*, что это несомненно так. Насколько же доступнее нашему пониманию должна быть ситуация, когда, взглянув на происходящее перед ними, юные перво-мутанты вопят: «Это бесчувственное, бессмысленное убийство!», – а пре-

зидент и послушное стадо взрослых отвечают: «Нет, здесь не бессмысленное убийство; здесь другое: что-то, без чего не обойтись, и почти прекрасное!» Раздетый король и его поклонники просто глупцы, однако кровожадный президент со своими приспешниками представляют угрозу гуманности.

Бросив пристальный долгий взгляд на общество, которое они унаследовали, перво-мутанты поняли, что американское общество было обществом расистским. Ничто не могло быть очевиднее, чем то, что социальные, экономические и политические модели в этой стране представляли собой тонкое лоскутное одеяло из расового страха и агрессии: это так же ясно перво-мутанту, как и любому иностранцу, посетившему эту страну. Однако, бесспорно, это непонятно тем, кто руководит нашими ведущими институтами и является для нашей страны ее официальными глашатаями. Они заявляют: «Что ж, конечно, у нас имеются унаследованные расовые проблемы, проблемы, вызванные непростительным введением рабства в нашей стране. Но они не относятся к текущему моменту, и мы упорно добиваемся прогресса в интеграции всех людей в основное русло американской жизни. Это лишь вопрос времени». Данное утверждение разумеется вполне корректно, но по причинам, которые обескуражили бы человека, выразившего его словами. Расизм не является социальной моделью, подкрепляемой интеллектуальным заблуждением – здесь либералы грешат против истины. Это образец социального подавления, контроля и мер наказания, за которые ответственны глубинные соматические влечения: страх и гнев. Очень легко говорить о расовом прогрессе, создавая видимость сознательного рационального рассуждения, однако совсем другая чашка чаю – ощутить этот так называемый расовый прогресс как соматический результат межрасового согласия, доверия и любви. Странники культурной традиции в Америке абсолютно не способны на принятие, доверие и любовь по отношению к людям с резко отличной расовой принадлежностью. Они умеют интеллектуально рассуждать на эту тему и изобретать «программы», которые в техническом аспекте по-видимому работают, не пачкая ничьих рук. С соматической точки зрения оказываются поучительными в этом отношении различия между Демократической и Республиканской партиями: сторонники первой

предпочитают иметь то, что они имеют – включая собственные страх и ненависть, но одновременно выстраивают способы, позволяющие что-то с этим делать; приверженцы второй честнее – в том смысле, что предпочитают иметь то, что имеют – в том числе собственные страх и ненависть – и абсолютно ничего с этим не делают. Обе партии к тому же недостаточно компетентны, чтобы иметь дело с проблемой, и поэтому распространение просвещения вызывает у их сторонников своего рода сильный шок.

Внезапно возникшие на сцене перво-мутанты окинули взглядом свое общество, и ведомая ими война, а также характерный для него расизм предстали перед ними тем, чем они и были; они дали нам понять, что политический курс, направленный на поддержание такого положения вещей, несовместим с располагаемыми ими знаниями о ситуации в мире и о внутреннем экономическом состоянии принадлежащего им технологического общества. Они увидели перед собой решительно настроенного безумца, бестрепетно раздувающего бессмысленную и не сулящую победы войну: «победить» в ней означало бы зачеркнуть всю правду о Вьетнаме и, вероятно, вызвать Третью мировую войну, выигрыш в которой, разумеется, не достанется никому. И поэтому они стали политической силой, направленной против безумия; силой настолько эффективной, что правящий президент – глубоко запустивший руку в ряды этих самых перво-мутантов за необходимым ему пушечным мясом – был вынужден удалиться с политической арены, и путь к здравому смыслу казался свободным. И если действующий президент оставил президентскую гонку из-за одной неразрешенной проблемы, проблемы Вьетнама, а кандидат, избранный самими перво-мутантами, вступил в гонку, формулируя только один вопрос, вопрос Вьетнама, могло показаться очевидным, что политическая партия, которую оба они представляли, даст позитивный ответ на этот критический вопрос и... человеку, который представляет данную проблему.

Однако ни здравомыслие, ни прозрачное восприятие не обнаружили себя на Демократическом съезде в Чикаго. Что действительно выплыло на свет, так это новое позорное подтверждение иллюзий, лукавства и заблуждений политического истеблишмента, осуществлявшего, казалось, не только саморазрушение, но и

социальное разрушение своей страны, если представлялся шанс. И такая благоприятная возможность не упала с неба; произошло другое: человек по имени Ричард Никсон приобрел сердечную заботу – шанс сыграть роль президента.

Однако опыт 1968 года с сопровождающими убийствами революционеров (вплоть до последнего) из числа эволюционно-революционных политиков был концом традиционной партийной политики в Соединенных Штатах; ее нелепая неспособность адаптироваться к окружающему миру и технологической системе слишком очевидна и слишком дорога, чтобы выносить ее впредь. Наша традиционная политика с ее идентичными партиями есть перерождение американской жизни, так как воплощает взятие под стражу, что делает ее программы неэффективными и неадекватными. Перво-мутанты, твердо заявив в 1968 году, что они не имеют голоса в традиционных партиях, вследствие этого отказа становятся сознательными палачами Демократической и Республиканской партий.

Последователи культурной традиции – последние, кто понимает, что означают время, эволюция и мутация, и характерно, что они не отдают себе отчета в том, что еще в пределах, возможно, немногим более, чем одного поколения перво-мутанты будут выражать точку зрения большинства. И качественно отличное восприятие ими их качественно иной среды будет выражаться в радикально отличном политическом поведении. Нет способа резко остановить это изменение – как я уже сказал – умышленное разрушение технологического общества, разрушение, скрытую мотивацию которого можно было бы сформулировать следующим образом: лучше уничтожить конечный результат, достигнутый традиционной культурой, чем видеть ее видоизменившейся в нечто радикально отличное от того, что мечталось приверженцам традиции. Может быть есть вероятность, что так и случится, но в то же время, я думаю, самым фактом проговаривания и знанием этой возможности она почти исключается.

Поскольку о будущем можно говорить лишь ссылаясь на что-то видимым образом адаптабельное и, следовательно, имеющее протяженность в настоящем, если мы намерены думать о будущей политической жизни в Соединенных Штатах, мы не можем мыслить

на языке существующих (отживающих свой век) традиционных партий, мы должны использовать язык политических склонностей перво-мутантов, тех, кто в дальнейшем будут называться людьми. В этой книге я везде, не уточняя, пользуюсь определением «перво-мутант»; в наше время пристало говорить прямо об этих пугающих созданиях, в чьих руках, по-видимому, находится будущее.

Ранние мутанты – или перво-мутанты – посттехнологической эпохи это те, кто адаптируется к своей среде, не прибегая к руководству со стороны устоявшейся культуры, отражающей эту среду и служащей промежуточным звеном между ней и человеком. Не имея культуры, мутанты располагают всего лишь двумя указателями направления, по которым могут ориентироваться: это 1) их соматические системы влечений, создающие условия для общей адаптации к среде, и 2) традиционная культура, представляющая яркий негативный пример пути, по которому *не* хотят идти перво-мутанты.

Имея в своем распоряжении лишь два ориентира, перво-мутант неизбежно путается в экспериментальной ситуации проб и ошибок. У него единственный выход – сопротивляться и импровизировать до тех пор, пока не найдется такой рисунок и ритм переживания, который ощущался бы им как приносящий удовлетворение и одновременно эффективный. Его импровизации могут дать адаптационные находки, но без поддержки со стороны существующей культуры это происходит редко. Напротив, первоначальная тенденция у перво-мутантов – отыскать друг друга и объединиться, с тем чтобы выжить. Когда перво-мутанты организуются в группы, то поскольку их в значительной степени ограничивают два упомянутых ориентира, создаваемые ими адаптационные модели отличаются известной простотой: другими словами, они подвержены соматическим реакциям, обращенным против традиционной культуры. Такие соматические реакции – несмотря на то, что ими обозначается отход от дисбаланса, свойственного традиционной культуре – являются, как и следовало ожидать, реакциями чрезмерно острыми и занимают свое место в рамках нового дисбаланса, который есть ни что иное, как искаженное отражение культурной традиции. Характерно, что перво-мутанты демонстрируют гиперреагирование просто потому, что их глав-

ный соматический направляющий – это культура, от которой они оторваны.

Перво-мутанты, следовательно, не являются мутантами; они неуравновешенные импровизаторы, которым первоначально ничего, кроме неуравновешенности не остается – однако это, по крайней мере, первый шаг к созданию культуры мутантов.

В своих групповых проявлениях перво-мутанты, демонстрируя гиперреагирование, шли к нового рода дисбалансу следующими двумя путями: они либо, 1) приближаясь к общей чувственно-аккомодантной позиции, сторонились своего культурного окружения, либо 2) пускались на него в атаку, двигаясь к общей агрессивной позиции. Движение и в том, и в другом случае направлено к полному соматическому дисбалансу в отношении культурной традиции. Групповые проявления первого типа характерны для хиппи. Второго – для общественных деятелей.

Соматическая неуравновешенность хиппи и активистов-реформаторов означает, что с адаптационной точки зрения они искалечены (в каком-то отношении) не меньше самих сторонников культурной традиции, которых они либо сторонятся, либо подвергают атакам. Эти две формы групповых проявлений обязаны своей недолговечностью тому обстоятельству, что перво-мутанты одной ногой опираются на технологическое окружение (позитивный адаптационный фактор), а другой – на гибнущую культурную традицию (негативный адаптационный фактор), на которую вынуждены полагаться, чтобы сохранять ориентировку.

Однако западная культурная традиция, поскольку она угасает и не соответствует окружающей среде, стремительно перерождается; и скорость ее исчезновения заставляет хиппи и активных общественных деятелей стремительно терять первоначальные опорные точки их ориентации.

В современном американском обществе множество мутантов – и это не подлежит сомнению – счастливо живут среди нас. Для меня, по крайней мере, это бесспорно, поскольку я знаком с немалым их числом. Но подлинные мутанты, успешно пришедшие к здоровому соматическому балансу и жизнеспособной модели поведения, едва ли известны и заметны – и, разумеется, не поборникам традиции. И напротив, традиционалистам хорошо заметны ставшие для них

*bêtes noires*<sup>43</sup> конформистские сообщества перво-мутантов, оскорбительным образом копирующие их, извращая образ ревнителей традиций, иными словами, утирающие традиционалистам нос по части тех самых соматических переживаний, которых последние так жаждут и все же боятся: быть расслабленным, неряшливым, волосатым, грязным, никуда не спешащим, лишенным страха и – особенно – показать, что ты наслаждаешься всеми радостями секса – это и есть вынужденные жертвы, принесенные поборниками культурной традиции, в результате которых технологическое сообщество, которым ныне пользуются перво-мутанты, наверное, стало возможным. Приверженца традиции приковывают к месту ужас и отвращение при виде тех, кто пожинает плоды их трудной жертвы, и либо оказывается чувственно увязшим в этом, либо варварски отметаает их прочь.

Эти начальные групповые проявления перво-мутантов являются, таким образом, преходящими феноменами, долговечностью не превышающими срока жизни культурной традиции, над которой они взяли реванш. И традиция, и искатели реванша вместе исчезнут, сделав нас чуть мудрее в отношении соматического дисбаланса, а воздух – чуть чище, и в результате другие перво-мутанты возможно будут замечены, а их эксперименты получат признание.

Соматический идеал хиппи нежизнеспособен, потому что полная аккомодация (и никакой ассимиляции) делает Джека незадачливым субъектом. И Джилл – с тем же успехом. Оставьте секс хиппи (с их неуклюже нежной попыткой убрать из него всякий страх и агрессию), и секс будет обладать привлекательностью и консистенцией размятой прошлой ночью картошки. Однако – не принимая во внимание хиппи как субкультуру – даже для отдельных, необъединенных индивидуумов идеал хиппи жизненно неосуществим, если только не становишься профессиональным хиппи (лектором, продавцом безделушек, артистом-эксцентриком и т.д.) и получаешь возможность жить, скорее *вне* движения хиппи, чем в его рамках.

У общественного деятеля его соматический идеал и идеал окружения практически неосуществимы, так как он обладает меньшей

---

<sup>43</sup> *bête noire* (фр.) – пугало, предмет особой ненависти.



сообразительностью в выдвигаемых средой вопросах, чем те, кто занимает основные позиции в институтах власти, и против кого выступает активный общественник. Общественный борец за права наполовину проникнут добрыми намерениями – в частности, знанием о том, что согласие, доверие и любовь между людьми сегодня – историческая необходимость, так почему не прийти к этому сейчас; но с другой стороны ему свойственны и дурные намерения, в виду того, что он в большей мере развращен агрессивностью, чем истеблишмент, который он надеется истребить. Слабая струнка активиста в недопонимании того, что агрессия не в состоянии уничтожить культурную традицию; иными словами, приемы агрессии (и ее оправдания) представляют собой нечто такое, в чем влиятельные законодатели традиции – бывшие мастера. Культурный истеблишмент может терпеть активиста и забавляться им до поры до времени – и вдруг обрезать, впрочем, незамедлительно посылая вслед знаки участия и приличествующие случаю выражения раскаяния.

Забив себе голову самыми неприменимыми положениями марксизма и революционной идеи, исполнившись заоблачного равнодушия к глубоким и простым истинам марксистского учения и эволюционно-революционного процесса, активист шагает вперед, приготовившись к Армагеддону; он готов организовать и начать действие и возможно даже отдать свою жизнь, и значит возникновение новой культуры произойдет с революционной быстротой. Его явная беда в том, что он смешон. Новая культура с революционной стремительностью воцаряется *уже сейчас*; мы находимся в середине эволюционно-революционного периода, который нам нужно просто твердо и уверенно выжать до конца, чтобы увидеть его триумф. Нам нужно лишь уверенно и безжалостно выступить против и прижать представителей слабоадаптированной культуры, и всегда, может быть даже с улыбкой, глядеть им прямо в глаза, когда мы объясняем им, что мы собой представляем, что мы чувствуем, воспринимаем и на чем настаиваем, чтобы помочь перво-мутантам, число которых растет. Революция случается как эволюционное событие повышенной интенсивности, и, таким образом, представление общественного деятеля о возвращении в лоно культурной традиции, а также извлечение на свет революционных

идеологий прошлого – это явный вздор. Для скучающей нецветной молодежи Америки, принадлежащей среднему классу – несомненно волнующий вздор, но тем не менее вздор. Когда горит чей-то особняк, ошеломленному очевидцу остается лишь скептически наблюдать, как подскочивший вдруг юноша злобно выкрикивает: «Гори этот гнилой домина синим пламенем!» Можно испытывать смутную симпатию к руководящему им чувству, но проявления злости и ограниченности ума все же вызывают легкое отвращение.

Нужны ли тотальная и непрерывная конфронтация, сопротивление и партизанская война тактик? Разумеется: они уместны с адаптационной точки зрения и результативны для мутации. Но является ли необходимой немедленная всеобщая революция? Конечно, нет: она иррелевантна с адаптационных позиций и является мутационной неудачей. Революция может лишь препятствовать эволюционно-революционному процессу, давая бесполезные фальстарты, за которыми благополучно следуют реакция и репрессии со стороны традиции истеблишмента. Попытка сокрушить укрепленный Гибралтар внезапным лобовым ударом только собьет с ног неосмотрительного нападающего; а вот создать безжалостный прессинг и преодолеть его инертное сопротивление – и значит, неотвратимо и без промедления, сбросить этот самый Гибралтар в море.

Эта проблема – проблема игры в роли революционера без привнесения в эту игру традиционного романтизма революции, в частности, наивного убеждения в том, что революция – не революция, если она не происходит неожиданно, с максимальным числом взрывов и кровопускания. Это вздор, поскольку единственно жизнестойкой и долговременной является та революция, которая разбирает и вновь собирает прошлое, не перечеркивая его позитивных технологических достижений. Революция не является, следовательно, «полным разрушением» прошлого, а является полной перегруппировкой социальных связей прошлого, необходимой для создания радикально новой человеческой культуры, которая адаптивно соотносилась бы с современной технологической средой.

Американцы, в чьих жилах течет негритянская кровь, это разумеется именно те жители Америки, которые имеют все основа-

ния подозревать, что они автоматически не вливаются в главную струю эволюционно-революционного изменения, вызванного нашим технологическим обществом. Они понимают белых и подоплеку расизма гораздо лучше, чем сами белые. По этой причине они будут формировать собственную наступательную тенденцию и собственные тактики. Они сознают, что белые активисты хотят бесплатно, за чужой счет выехать на черных плечах; они знают также, что есть лишь один тип человека, которому можно доверять и на которого можно положиться, когда речь идет о черной массе, и есть другой человек, который, как вы, не имеет возможности расстаться с черной кожей. Нельзя быть «черным рассудком»: это из области невозможного с точки зрения требований среды и, следовательно, принадлежит сфере соматических заблуждений.

Однако чернокожие американцы все же не могут считаться перво-мутантами основной ветви. Их ситуация значительно проще: они борются за право стать перво-мутантами и быть частью здания новой культуры. Чернокожие жители Америки *не* принимали участия в строительстве традиционной культуры и, таким образом, не нашли в ней места; поэтому они всегда были ориентированы в будущее, всегда готовы покинуть чужие земли Египта и искать обетованную им землю. Не нужно путать чернокожих и белых борцов за права: взаимоотношения негров с американской культурой *всегда* были окрашены в отрицательные тона, тогда как белые лишь сейчас открывают для себя эту негативную позицию – не как в случае с чернокожими, вследствие явной социальной несправедливости, а потому, что традиционная культура не дает им тех рукоятей, за которые можно ухватиться, с тем чтобы адаптироваться к современному миру.

Черное возмущение в Америке является равноправной частью эволюционно-революционного процесса, и именно в этом контексте оно решит свои задачи и достигнет успеха. Соматические данные выглядят очевидными: американские негры становятся откровенно более человечными, переживая и проявляя гнев, в котором американское общество им традиционно отказывает; они становятся более уравновешенными. В ответ – белое традиционалистское общество не в состоянии встретить эту вспышку групповой ярости ничем, кроме типичной для него реакции страха и затем

жестокой контр-агрессией. То есть общество с «осиной» природой не способно сгладить возмущение чернокожих. Но к счастью «осиное» общество перерождается, и в той мере, в какой все перво-мутанты вместе приближаются к доминированию в американском обществе, человеческая среда является творением, которое может принять пробуждение черного гнева, не пугаясь его и не свирепея. По мере того, как перво-мутанты растут, подлинная расовая интеграция также будет набирать свой темп.

Но дело не только в том, что негры станут похожи на белых, научившись испытывать гнев и давая ему внешний выход; белые обоюдно будут становиться чернее, выражая и усваивая соматическую мудрость аккомодантной чувственности, достигнутую в рамках субкультуры черного человека. Интеграция это улица с двусторонним движением, и американские негры вносят позитивный вклад в развитие эволюционно-революционного процесса в Америке. Они олицетворяют для американской культуры и обещание, и соблазн почти в точности в том же смысле, в каком в 20-е и 30-е годы евреи играли такую роль в германской культуре. Не имея в то время ни достаточной технологической зрелости, ни Сопrotивления перво-мутантов, Германия платила евреям страхом и агрессией; если бы не наличие этих двух факторов, американский ответ был бы, вероятно, таким же. Америка в настоящее время слишком глубоко увязла в мутационной борьбе за будущее нации, принимающей форму осознающего свои фашистские цели утверждения прошлого, каким является стареющая мечта поборников традиции о могуществе. Политическая борьба сейчас отлична во всех смыслах: немецкие активисты стремились зафиксировать чистое, беспримесное тевтонское «сейчас» *прошлого*: американские активисты хотят воплотить в определенную форму пестрое, неоднородное американское «сейчас» *будущего*.

Ужасно уже жить в будущем, уже быть уверенным в чем-то, что неминуемо, несомненно наступит, и при этом ощущать как тянется жизнь тем временем, пока традиционная культура и ее функционеры жизнерадостно следуют своим бессмысленных курсом, отмечая галочками сочные дни собственного ненужного существования. Ужасно быть перво-мутантом, *сейчас* различающим, каким в общих чертах нам предстанет будущее, *сейчас* знающим,

что представляет собой по-настоящему жизнеспособная адаптационная политика, соответствующая окружению технологического мира. И в душе перво-мутанта лейтмотивом звучит: «Если традиционная культура обречена, если я уже знаю общее направление, которое нужно будет взять, то зачем оттягивать? Зачем ждать? Почему не сейчас?» И поэтому перво-мутант предпринимает что-то, *не откладывая*: он *сегодня* оставляет свое общество ради субкультур открытости и любви, *без промедления* бросается в атаку на общество, чтобы поторопить время, или реагирует более индивидуально, *не мешкая* ища собственную судьбу.

В каком бы направлении ни двигался перво-мутант, и не важно, долговременно или мимолетно его особое пристрастие, он перво-мутант, являющийся в сегодняшней Америке и Европе средоточием значимости и, в конечном счете, средоточием созидательности. Где он, там действие – переменчивое эволюционное действие, которое молниеносно, подобно компьютеру, через реактивные синапсы сомы перво-мутанта разрешает огромную культурную проблему. Мутация внутри культурной проблемы происходит стремительно, но не вдруг и не «в одну минуту». И это к лучшему, поскольку мутационная проблема это не проблема роста нового хвоста, а проблема роста новой культуры – творческая задача, требующая вовлечения не только изобретательного ума, но и значительной доли импровизации и выдумки.

Так как оплоты традиционализма с наступлением новых десятилетий здесь и там неуклонно рушатся, всякий раз, чтобы внести еще один жизнеспособный фрагмент в кроссворд мутантной культуры, достаточно будет открыть доступ в новообразованное пространство перво-мутантам.

Поскольку их манера восприятия мира вокруг имеет тенденцию работать как на сжатие, так и на расширение, перво-мутанты не только видят свою социальную среду более уравновешенно и ясно, они – кроме того – реагируют на то, что видят более прямо и менее сдержанно. За отсутствием у них, в целом, традиционной соматической тенденции к подавлению соматических реакций, они дают прямой выход тому, что видят: «говорят как есть», т.е. как *они* это воспринимают. Такая склонность говорить правду (т.е. ясно воспринимать среду и непосредственно выражать восприя-

тое) – наиболее действенный индивидуальный социально-политический инструмент в их руках. Бывая повсюду, свободно и без запинки описывать вещи такими, как они предстают перед вами – к этому западная культура просто не готова; пожалуй, это форма поведения, о которой Запад всегда мечтал и, соответственно, лелеял ее идею в своих мифах и образах легендарных героев. Что касается сторонника традиции, он знал, что никто никак лично не заинтересован в том, чтобы говорить правду, потому что первоочередным требованием к индивидууму было требование, энергично взявшись за дело, подавить свое личное восприятие среды в пользу согласованной в целом общественной версии окружающей действительности; он должен был подавить свой личный отклик, с тем чтобы не подвергать опасности общественный баланс, имеющий первостепенное значение, при отсутствии которого индивид также рисковал погибнуть вместе с ослабленным и незащищенным сообществом.

Однако в рамках технологического общества сообщество людей не является столь хрупким; соразмерность платы за подавление отдельной личности нарушается в такой трансформированной среде. Как раз наоборот, перво-мутант в условиях технологической среды не заинтересован в *умалчивании* правды. В таком обществе не остается в конечном итоге ничего такого, из-за чего бы он опасался говорить правду, просто *потому, что технологическому обществу больше нечего бояться, кроме себя самого как слабоадаптированного человеческого общества*. И прямой смысл «правдоговорения» перво-мутанта в том, чтобы показать, что страх любой природы неадекватен среде, исходит ли он от физического или человеческого окружения.

Перво-мутант видит, что в конечном остатке у него просто нет ничего настолько важного, чтобы опасаться лишиться этого, говоря правду, и что общество имеет все возможности одержать победу, будучи наконец в состоянии взаимодействовать со своей средой более позитивными, честными средствами – предпочитая их оборонительной, агрессивной манере.

Он видит, например, что политика войны уже не пользуется привилегией среди технологизированных наций; шансы коренным образом изменились, и, соответственно, война уже не явля-

ется жизнеспособной политикой. Она нежизнеспособна прежде всего потому, что народы, более независимы по сути в своей производительности, и в результате имеют возможность выдумывать изделия, которые прежде можно было отыскать лишь после захвата чужих земель и торговых путей. Политика войны не обладает жизненностью еще по одной технологической (средовой) причине: в частности потому, что война между технологизированными нациями автоматически несет бóльший урон, чем выигрыш обеим сторонам.

Ясно, что с сегодняшнего дня все войны в каком-то конечном смысле являются войнами между технологическими нациями – не важно, насколько недоразвиты реальные народы, о которых идет речь. И дело обстоит так, что все последующие войны при жизни будущего поколения (или около этого периода) будут строиться по той же модели, что впервые обнаружила себя во Вьетнаме: решительный страх полного использования для ведения войны наших технологических ресурсов. Цель современной войны (как и цель неокапиталистической экономики) в том, чтобы *не* использовать вашу технологию в полном объеме из опасения, как бы противник (или, в данном случае, союзники противника) в отместку не сделали того же самого. Американское военное штабное начальство публично не высказывалось в пользу применения ядерных бомб в Северном Вьетнаме, но это лишь дань тому неутешительному практическому соображению, что русские и китайцы владеют этим же оружием.

Развитие технологии, таким образом, отрицает пригодность войны как национальной политики. С ее развитием мы оказываемся в обратной ситуации – ситуации поиска, как во что бы то ни стало реально не вступать в войну – поскольку широкие возможности технологии делают ее игрой, заранее проигранной. Такое мировое соглашение – дело рук самих сторонников традиции и является их способом приспособления к тому, что, как они разумно считают, произошло; однако окончательное отмирание войны как политического инструмента ждет соответствующей расстановки сил в лагере перво-мутантов, которые, когда они будут достаточно многочисленны, чтобы взять власть, присоединят к такому восприятию новой среды соматический баланс. Поскольку их установка

страха-агрессии сильно разбавлена уравновешивающим соматическим опытом чувственной аккомодации, политический здравый смысл перво-мутантов позволит значительно более позитивно и открыто решать проблемы технологической среды, являющейся тем самым счастливым клочком вереска, на котором они, как Братец Кролик, родились и были вскормлены.

В отношении технологического общества, где конформизм и страх вырождаются, а «правдоговoreние» вступает в свои права, также верным будет и то, что национальная гордость (национализм, патриотизм) станет скорее условным, чем необходимым фактором; это, другими словами, означает, что перво-мутанты будут гордиться теми качествами своего народа, которые буквально внушают гордость, и почувствуют личный стыд за то, что воспринимается как постыдное с общественной точки зрения. Невозможно гордиться тем, что являешься частью американского общества, и родить в себе уважение к его эмблемам, символам и властям, если это общество втянуто в вызывающие и нетерпимые виды деятельности. Если человек горд за свою страну, даже когда ее политический курс гибелен и неблагоприятен, это не делает чести ни ему, ни стране; и все же, определенно, таков конформистский идеал традиционной культуры: лгать, потому что долг соглашательства требует этого от вас. Максима: «Моя страна превыше всего, правая или виноватая!» – означает попросту: «Я заведомый лжец по отношению к моему народу». Во всяком случае, безусловный патриотизм и необоснованная гордость, по меньшей мере, не являются ни патриотичными, ни достойными чувствами просто потому, что они опираются не на реальность, а на условную соматическую реакцию одобрения чего бы то ни было, пока это что-то официально рисуется как дело национальной чести и национального выживания. Единственным бессмертным и благотворным для общества достижением президента Линдона Б. Джонсона было то, что он в течение нескольких лет и почти собственноручно уничтожил плоды психологической обработки американской молодежи – ее автоматическую реакцию на любую политику как на дело, по определению, «национального интереса». В конце концов, он добился чего-то, что обладает вечной ценностью для Америки, прежде чем удалился на свое ранчо.



Американская экономическая система должна подвергнуться кардинальному пересмотру, что также отчетливо видно перво-му-тантам; и им следует, не переставая, твердить нам о том, что они понимают это. И, разумеется, важнейшим экономическим событием, нависшим над нами (если мы в состоянии взглянуть вверх и рассмотреть его), является тот факт, что наша технология разрушает нашу экономическую систему. Нет необходимости быть марксистом, чтобы понимать это, и не нужно быть Торстейном Велбленом, чтобы осознать, что наша техника и технология по дивергентным траекториям расходятся с устоявшимися у нас схемами экономического обмена; импульс технологического роста выбьет экономическую систему из накатанной колеи, и этот момент уже сейчас отчетливо прослеживается.

Другими словами, экономическая эволюция-революция неизбежна; она настолько неизбежна, что нам не нужно планировать и замышлять падение американской экономической модели; нам пора перестать таиться в революционных подвалах, выйти на свет и купить билеты на спектакль. Дело в том, что не *кто-то* приведет нас к такому экономическому пересмотру, лучше сказать, это будет *что-то*, в частности, конфликт внутри технологической экономической среды. Это случится, и Американский легион будет иметь по всей стране митинги на всю ночь, но появляться на рассвете с невыспавшимся видом, не обнаружив преступник, которому можно предъявить обвинение.

Кроме того, для тех, кто все еще мыслит в терминах хорошего и плохого, эта революция станет «хорошим событием»; она также явится естественным и неизбежным фактом, поскольку будет адаптацией моделей человеческой жизни к моделям технологической среды, адаптацией, благодаря которой высвободятся значительно бóльшая человеческая энергия, а также производительность, чем те, что были достижением исключительно технологии.

Относительно наших базовых отраслей промышленности мы уже теперь занимаем ту ступеньку эволюции, где наша технология представляет собой непримиримую угрозу нашей неокapиталистической экономике. Технология у нас является показателем того, что мы *можем* делать; наша экономическая система – показатель того, что мы *делаем в действительности*; и ясно представляющая-

яся ситуация такова, что в настоящее время система ведет борьбу с собственной технологией, поэтому мы *не делаем всего того, что можем делать*. Сейчас мы *можем* с минимальными затратами труда производить основные товары и экономящие труд приспособления огромной износостойкости, необычайной дешевизны и эффективности в применении, и в невероятных количествах. Но мы *не делаем* этого фактически. Мы *не делаем* этого, потому что при существующей неокapиталистической системе это было бы уничтожением растущих прибылей и зарплат, что затронуло бы и корпорации, и профсоюзы: цены упали бы, оплата рабочего времени была бы урезана, и заводы периодически бездействовали бы. Итак, человеческая система экономического распределения сопротивляется имеющимся технологическим возможностям, прибегая к намеренному производству ущербной продукции, недолговечной и дорогостоящей. Несмотря на то, что это явно анти-технологическая ситуация, она обеспечивает сохранение устоявшейся системы.

Такого рода отказ адаптироваться к новой среде мог бы растянуться на длительный период, если бы не сопровождался другими, более решающими событиями. Я имею в виду медленное разрушение идеи и практики того, что является одним из основных столпов западной культуры: работы. Люди работают все меньше и меньше, и испытывают все большую ненависть к работе.

И с полным основанием: люди приобрели способность видеть сквозь анти-технологическую сущность поддерживающей их экономической системы и понимают, что они работают, в то время как в действительности работать нет необходимости. То, что технология *могла* сделать быстро, быстро *не* сделано, поэтому, будучи рабочими, они могут продолжать выполнять какие-то обязанности, чтобы получать свое жалованье. Множатся должности, растет искусственное раздувание штатов, и снижение темпа работы<sup>44</sup> и перерывы на кофе становятся главной заботой профсоюзов. В результате рабочим демонстрируется, *насколько они являются ненужными и бесполезными*, занимаясь тем, чем они занимаются, в контексте технологической среды. По моему мнению, большин-

---

<sup>44</sup> снижение темпа работы (slow down) – вид итальянской забастовки.

ство работающих – синих или белых воротничков – занято в настоящий момент на искусственных работах с неоправданно раздутым рабочим временем, сознавая все это время, что ни в «работе», ни в затраченном на нее времени нет прямой и действительной необходимости; они востребованы в силу экономической привычки, поскольку это единственный путь, которым они могут получать свое жалованье.

Для миллионов людей по-человечески унижительно проводить жизнь за выполнением ненужных и бессмысленных действий, просто чтобы не дать утонуть неадаптивной экономической системе. Но более чем унижительна фантастически нелепая растрата человеческой энергии: энергия остается нераскрытой, неиспользованной, тогда как люди заполняют время бесполезными и надоевшими видами деятельности.

Случившееся в американском обществе сводится к тому, что работа изживает себя и становится бессмысленной – бессмысленной как деятельность негодная и неприспособленная для выживания в окружающей среде. Наше общество становится пристанищем все большего числа людей, лишенных достаточно адекватных задач; и то, что они умеют делать, все больше теряет смысл. В пределах жизни приблизительно одного поколения людей Советский Союз также достигнет пика этого затруднительного положения, и тогда русские будут скрести затылки по поводу прилипчивости рабочих символов серпа и молота.

Технологическая ситуация западных наций (придерживаются ли они коммунистической, социалистической или неокapиталистической ориентации) одинакова; просто одни народы дальше продвинулись по этому пути, чем другие, во главе с Соединенными Штатами – первым тиглем, где такая работа по аккомодации к технологии пройдет свое испытание.

Как наиболее неудачно развившаяся нация, Соединенные Штаты достигли того мутационного момента, когда произошло становление ориентированного на работу общества, члены которого испытывают принципиальную неприязнь к работе. Само по себе это неудивительно и не ново, но необычно то, что неприязнь американцев имеет оправдание и прочную базу в технологической действительности. Американский идеал состоит в том, чтобы

«иметь готовое», что значит ничего-не-делать и не-быть-обремененным-ничем-что-ты-должен-делать. Сказанное означает, что технологическая среда (в этом ее первоначальный эффект) вызывает биологический ступор: зажатая между технологическими возможностями и организационным бессилием, человеческая сома не в состоянии пробудиться к раскрытию своих энергий через экономическое устройство, иррелевантное ее реальной среде.

Уже проявились первые робкие признаки текущей мутации, причем очевидно абсурдным образом: юные перво-мутанты четко осознают, что могут жить припеваючи, не работая вообще, или имея неполную рабочую нагрузку, и принимаются реагировать в соответствии с таким пониманием. Они, с точки зрения нашей неокapиталистической системы, постыдным образом лишены честолюбия; и благочестивые представители нашей традиционной экономики забрасывают оскорблениями этих «паразитов» и «вымогателей», подобно разгневанному Зевсу, мечущему грома и молнии с Олимпа.

Таков первый проблеск экономической мутации, а она плавно перетекает в следующую фазу, которая состоит в использовании в своих интересах преимущества нашей новой технологической среды и ее огромного энергетического выхода; поэтому люди наконец могут удержать полученную ими свободу делать то, что *они хотят*, и произойдет это скорее, чем если они живут, руководствуясь отмирающим экономическим идеалом: просто *не* делать того, чего *не* хочется. Когда этот переход начинается, становятся возможным два, одновременно, энергетических взрыва: 1) предоставление в итоге выхода всему могуществу технологии, ныне освобожденной от сдерживающего влияния анти-технологической экономической системы; и 2) раскрепощение всех сил человеческой сомы, свободной теперь от ограниченности бессмысленного труда.

Как я уже говорил, такой мутационный пересмотр нашей экономической системы является «хорошим событием», потому что соответствует адаптации и служит пусковым механизмом высвобождения в еще более крупных масштабах энергий человеческих сом и их технологической среды. Наши старые экономические системы (неокapиталистическая, социалистическая, коммунистическая) – «плохой феномен» – в том отношении, что будучи конфор-

мистскими и содержащими установку на работу, а также инспирируемые страхом общества перед враждебной средой, они официально противостоят неизбежным результатам собственного технического прогресса. Каждая из этих трех экономических систем, когда она полностью набирает свой технологический импульс, будет проявлять себя – что уже демонстрирует американский неокapитализм – как система неэффективная, несущая в результате ограничения, бессмысленность и скуку. Скука является чувствительным мерилom «плохости» любой работы или ситуации: т.е., сознательно не думая об этом, как сомы, мы переживаем средовое несоответствие некоторой работы или ситуации, и поэтому – как сомы – автоматически перекрываем выход энергии через данный неадаптивный вид деятельности или ситуацию.

Это лишь немногие из тех касающихся политики и экономики восприятий, что будут выставлены перво-мутантами пред изумленные очи боязливой традиционной культуры. И особые конструктивные предложения, которые они должны внести, будут непредсказуемым образом вытекать из порождающих их ситуаций; и *так как* они будут вытекать из данных соматико-средовых ситуаций, эти предложения будут уместными и конструктивными (несмотря на свой экспериментальный характер) предложениями по тем направлениям, которые нам следует выбрать.

Начиная с этого момента и впредь, на протяжении двадцать первого столетия, будут происходить перепросмотр и реконструкция нашего общества. *Буря и натиск*<sup>45</sup> сегодняшнего дня будут продолжаться до тех пор, пока адаптивные «напряжения» не ослабнут настолько, что «буря» утихнет. Но вплоть до этого времени центральным событием последней трети двадцатого столетия остается эволюция-революция, которая сейчас обнаруживает себя. И главными творческими участниками этого события станут перво-мутанты – хиппи, активисты и их преемники – мужчины и женщины, владеющие самым действенным из мутационных средств: могучим «правдоговорением», которое является сразу и восприятием, и формой непосредственного поведения – «видени-

---

<sup>45</sup> «Буря и натиск» – названное по одноим. драме Ф.М. Клингера литературное движение в Германии 70–80 гг. 18 в..

ем», «говорением» и «деланием» в рамках единой, бесперебойной адаптационной реакции на окружающую ситуацию.

Мятежные перво-мутанты начнут импровизировать, экспериментировать, а затем выдадут адаптационный критерий данного исторического времени, определяющий, чему быть зафиксированным в качестве устоявшегося института, а чему нет. У перво-мутантов нет другого выбора, чем действовать таким образом; у них нет культуры, через которую они плодотворно взаимодействовали бы с воспринимаемой ими технологической средой, так что они вынуждены творить обычаи и создавать институты новой культуры. Как давным-давно заметил относительно этого переходного процесса Ницше: «Когда люди разбили старые таблички с законами, что они делают потом?» «Потом они должны сотворить новые таблички с законами», – отвечает Ницше. Имеющее место в настоящий момент не есть движение к отсутствующей свободе, это, пожалуй, свобода от старого закона, старой культурной традиции. С позиции приверженцев культурной традиции, это движение – лишь бросок в пустоту, навстречу поражению, в бессмысленный произвол и беззаконие всеобщей независимости. Но с точки зрения перво-мутантов – которая значительно шире в историческом и культурном отношении – движение означает отказ от необходимой некогда, а ныне отмирающей культуры прошлого, и импровизированное создание нужной и адаптивной культуры.

Время и правда целиком на стороне начинающих мутантов: они видят окружающую обстановку, они развивают соматический баланс, чтобы соответствовать этой обстановке, и являются, таким образом, единственными, кто в состоянии приступить к конструктивному экспериментированию на пользу нашему обществу. Ирония того поворота событий, что складывается на первых этапах этой эволюции-революции, заключается в том, что молодежь в общем-то должна давать указания старикам. Но молодые не остаются молодыми; через каждый десяток лет они имеют обыкновенные становиться тридцати-, затем сорока- и пятидесятилетними. Некоторые из них перестанут быть перво-мутантами, однако чем дальше, тем меньшее их количество будет вливаться обратно в шеренги традиционной культуры – мутационные напряжения, испытываемые молодыми сомами, постоянно зажимаемыми сомами

постарше, создавшими для них минимум адаптивной культуры, будут свидетельствовать о том, что эти молодые сомы, как перво-мутанты, обладают большей ценностью с точки зрения выживания, чем их старшее поколение. В конечном итоге они должны занять в обществе главенствующую позицию, и тогда уже могут выдвигаться позитивные предложения относительно новых социальных институтов.

Важно помнить, что только что минувшие века, явившиеся предзнаменованием этого мутационного периода, были веками революции. Дух мутации давно витал в воздухе, и начиная с эпохи Возрождения, обладатели чувствительных носов вдыхали этот пьянящий аромат и говорили себе: «Нам больше не нужно служить Богу, чтобы участвовать в пьесе, однако теперь мы знаем, что мы, будучи людьми, располагаем источниками, и руководством, и силой, чтобы разыграть нашу историю». Этот возбуждающий аромат в воздухе был началом открытия человеческой сомы и ее древней мудрости, значение которых должны были позднее подтвердить и прояснить нам соматические ученые и философы.

Задуманные людьми революции недавнего прошлого не имеют ничего общего с эволюцией-революцией, обнаруживающей себя в наши дни. Задуманные людьми революции недействительны и безрезультатны: раз перетасовав колоду, нельзя знать наверняка, было ли выиграно больше, чем впоследствии проиграно. Сегодня, в технологической среде, всемирная революция, как и тотальная война, не только бессмысленна, но и невозможна. Однако партизанская война и осуществляемая партизанскими методами культурная революция, действительно, возможны и плодотворны; они-то как раз и имеют место.

Мы, как очевидцы, стоим сейчас у истоков единственной целиком успешной революции в человеческой истории. Ее успех обеспечен, потому что толчок ей дают не люди и человеческие идеи, а преимущественно, и в первую очередь, среда с существующими в ней напряжениями. Эволюция-революция не является предпринимаемой людьми попыткой заставить человеческие сомы и среду приспособиться к человеческим концепциям (это старинный рефлекс страха-агрессии, свойственный традиционной культуре); она

представляет собой усилие людей приспособить свои сомы и человеческие идеи к неодолимым силам среды, уже ими созданной.

Раннее Христианское общество считало своей задачей стать обществом «свидетелей истины». Это насущная задача перво-мутантов: они должны свидетельствовать истину, различая ее, говоря о ней и соответствующим образом реагируя. Им нужно просто показать сторонникам традиции абсурдность неадаптивности, все время напоминать им о ней и вести с ней борьбу всеми возможными способами. Об этом даже нет надобности громко кричать: время и окружающая среда на их стороне. Сообщества перво-мутантов, отличающиеся выраженным нарушением баланса, постепенно уступят место тем, кто оказался более расслабленным, более восприимчивым, «своим» со своей средой, и плюс ко всему, обладает лучшим чувством юмора. Такие перво-мутанты будут держать каналы связи открытыми и поддерживать функционирование демократических процессов, пока ожидается их упорядоченная и неизбежная смена.

Они поставят культурную традицию перед лицом истины и будут развивать у перво-мутантов младших поколений новый взгляд и новые поведенческие паттерны. У испанцев есть выражение (оно приведено в названии этой главы): «Рано вставая, не ускоришь восход солнца». В этом антирабочем изречении определенно слышится ритм эволюции-революции.

Расслабься и радуйся битве, в которой ты одержишь победу! Революции требовали работы и озабоченности: эволюция-революция выдвигает запрос на возможность игры и доверие. Как только перво-мутанты научатся играть с революцией, вкладывая в этот процесс всю высвобождаемую игрой энергию, сторонники культурной традиции – и те – уверятся в том, что когда их прежнее солнце закатится за горизонт, исходом будет не тьма, а восход нового, еще более ослепительного светила.



### 3. Да

и Ах тот ужасный поток кипящий внизу Ах и море море алое как огонь и роскошные закаты и фиговые деревья в садах Аламеда да и все причудливые улочки и розовые желтые голубые домики аллеи роз и жасмин герань кактусы и Гибралтар где я была девушкой и Горным цветком да когда я приколола в волосы розу как делают андалузские девушки или алую мне приколоть да и как он целовал меня под Мавританской стеной и я подумала не все ли равно он или другой и тогда сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да.<sup>46</sup>

ДЖОЙС: Улисс

У детей (и это существенный момент) явно выраженный сосательный рефлекс исчезает в возрасте четырех-пяти лет. Однако в дальнейшем, хотя сосание пальцев прекращается в предпубертальный период, им еще долго доставляет несомненное удовольствие сосать и лизать пищу, особенно если приятен ее вкус. Но к тому времени, когда повеяло суровым свежим ветром пубертата, сосательный рефлекс исчезает и в зрелом возрасте больше не наблюдается.

Исключение составляют некоторые соматические факты. Одной из самых поучительных интуитивных находок, затрагивающих природу сексуальности, является следующая: взрослые люди в норме почти лишены сосательной мотивации, исключая те минуты, когда они сексуально возбуждены.

---

<sup>46</sup> перевод с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего: Джеймс Джойс. Собр. соч., т. 3: М., «Знак», 1994, с. 194.

Нам известно, разумеется, о наличии физиологической связи между амигдаллярной областью<sup>47</sup> и областью перегородки<sup>48</sup>, на ранних этапах соотносящейся с оральной, а позднее с генитальной активностью. Но такие пограничные физиологические данные не так показательны, как сам вид человеческого младенца, который спит и одновременно 1) улыбается, 2) совершает ритмичные движения ртом и языком и 3) испытывает эрекцию пениса. Нам, когда мы рассматриваем человеческую сексуальность, стоит удерживать в памяти образ этого смеющегося младенца, взрослея, совершенно «забывающего» это счастливое переплетение трех соматических событий до того момента, пока теплая рука желания незаметно овладевает им.

На первый взгляд, выделяются две характеристики человеческой сексуальности, которые все мы должны брать в расчет. Во-первых, в ходе сексуальной активности люди переживают изначальные, свойственные детству соматические паттерны, сохранившиеся нетронутыми во взрослом состоянии. Вторая характерная особенность состоит в том, что человеку сексуальное переживание нужнее, чем любой другой животной коме: в отличие от всех других животных, для человека сексуальность *всегда* ко времени. Это две самые выдающиеся соматические черты человеческого вида, и через них нам может стать доступным непосредственное постижение человеческой сексуальности, хотя конечное «понимание» секса невозможно по самой природе соматического опыта и сознательного опыта.

Итак, поскольку я продвигаюсь в обход тутовых зарослей, мне (и кому бы то ни было) не стоит стремиться подарить читателю понимание человеческой сексуальности (как если бы она была угрожающим средовым фактором, на котором следует сосредоточить внимание и контроль), но почти для каждого может оказаться важным постараться отдать должное сексу (будто он и в самом

---

<sup>47</sup> предп. миндалевидное ядро (nucleus amygdalae), расположенное в переднем конце височной доли гол. мозга.

<sup>48</sup> прозрачная перегородка (septum pellucidum) – тонкий листок мозгового вещества, находящийся между сводом и передней частью мозолистого тела.

деле представляет собой соматическое приглашение на праздник, который все мы надеемся посетить).

Это был очень интересный момент, когда психолог из Университета Чикаго обнаружил, что, держа над головой фотографии и показывая их одну за другой коллегам, он мог сказать когда был виден определенный снимок, просто наблюдая за расширением их зрачков. Его метод никогда не давал осечки. Он перебирал снимок за снимком – заснеженные ландшафты, виды растительности, лошади, симпатичные девушки – и вдруг замечал, что зрачок становится шире; тогда он объявлял своему коллеге: «Сейчас перед вами вкладыш из “Плейбоя” с обнаженной фигурой». И так оно и было, хотя тот не «отдавал себе сознательного отчета» о каком-либо изменении или усилии, связанном с расширением просвета зрачка. Чикагский психолог выявил автономный адаптационный рефлекс, не поддающийся никакому контролю, сколько воспринимающий ни пытался бы сознательно ему воспрепятствовать. Он сидел, предъявляя по очереди свои фотографии, и перед ним был не глаз человека, представлявшего объект его внимания, а древний глаз Адама, который уступил ребро, заслужив тем самым одно-два расширения зрачка.

Так что наши всегда бдительные сомы проявляют себя и имеют свои адаптационные желания, даже если мы претендуем на безразличие и отказываемся от ответственности за то, что происходит под соматической видимостью нашего сознательного, рационального усилия. Древний глаз Адама это наше соматическое «Я», «Я», язык которого знают лишь немногие, поскольку люди в основном поглощены своим представлением о вещах, выражающемся на языке влечений страха-агрессии и ассимилятивного опыта.

Не только глаз Адама, выглядывая из седых глубин прошлого, выдает наши сокровеннейшие желания; древний глаз Евы также обнаруживает себя самым недвусмысленным образом. Вон у кустов перед школой стоит юная мисс; она точно знает, что ее не интересует и, более того, она не одобряет известный сорт молодых людей, вот этого, например, что вдруг пересекает лужайку, с улыбкой подходит и заводит с ней непринужденный разговор. Привычно подчиняя свои действия сознательному самоконтролю, она отвечает, принуждая себя быть вежливой и даже дружелюб-

ной с этим представителем мужского пола, как поступила бы на ее месте любая. Но совершенно без ведома Мими Ева умело осуществляет ее заветные желания и намерения: она будит стыдливый трепет прелестного румянца, заливающего девичьи щеки и шею, его опьяняющая волна заставляет веки опускаться и взволнованно вздрагивать. Девочке это очень идет, а для парня обладает немалой привлекательностью. И почему-то у нее сжимается горло, повышается голос, и когда она хохочет – это звучит серебристый, залистый смех легкомысленной женственности, демонстрирующей себя перед мальчиком, испытывающим в эту минуту еще больший восторг: восторг перед девочкой, которая «совсем ничего не делает», чтобы ему понравиться, которая, заполучи она киноролик со своим лицом крупным планом или пленку со своим голосом, не «подумала» бы, что такое возможно.

Сочла ли бы она возможным, что поддастся на его уговоры и встретится с ним в ту субботу; объяснимо ли, почему он и она прошли через бесчисленные повторения ритуалов ухаживания – в школьных коридорах, в машине или по телефону; мыслимо ли, чтобы она сознавала, что однажды ночью позволит ему наконец добиться физической близости.

В период ухаживания, с первой встречи до момента соития, она действительно не строила никаких планов и однако предвидела, поддерживала и планировала каждый ход в любовной игре. Таким образом, мы, по-видимому, имеем дело с двумя ее «Я»: «Я» появившимся-после-пяти-лет (или, самое позднее, в постпубертате), тем, что никогда бы не *подумало*, что «такое возможно»; и нерассуждающим изначальным «Я», которое не только знало о возможном повороте событий, но и желало его и бесхитростно вело дело к развязке. Ее изначальное «Я» существовало в раннем детстве и продолжало существовать после произошедших в пятилетнем возрасте перемен, связанных с пробуждением; и, хотя и скрытое за растущей деловитостью вопросов и ответов, практичностью при участии в процессах обучения и тренировки, это «Я» в постпубертатный период проявляло себя неожиданно более эффективно – с большим проворством и сосредоточенностью отыскивая обстоятельства и ситуации, которых никогда бы не *подумало* искать ее вторичное «Я».

Наличие у нас механизма соматического программирования становится особенно очевидным, когда речь идет о сексуальных переживаниях и поведении. Действуя как мощный «отменяющий» фактор, он замещает собой малоэффективную вторичную систему и зорким оком обшаривает среду, зная, что является предметом поиска, давая отклик, когда жертва замечена и вмешиваясь, чтобы атаковать... или капитулировать.

Такого рода эмоции и поведение не только являются в значительной мере бессознательными в своих мотивировках, полное осуществление связанных с этим опытом желаний также представляет собой событие, в большой степени относящееся к разряду бессознательных: молодой человек или молодая женщина *переживают*, конечно, но такого рода переживание не является сознательным; это более фундаментальный, более ранний способ переживания, знакомый каждому человеку и знакомый ему с самого начала: невербальное, превербальное чувствование паттернов движения, и течения, и ритма – наш старый и привычный соматический «дом», который мы никогда по-настоящему не покидали, хоть мы и теряем с ним контакт по мере роста нашего вербального «рассудка».

Всякий, кто посмотрел потрясающий футбольный матч, может потом описать базовые паттерны и динамику испытанных им ощущений. Но никто из достигших восхитительной чувственной близости впоследствии не в состоянии передать и даже вызвать в памяти паттерны и динамику этого изумительного переживания; несомненно, человек может сохранить какие-то визуальные воспоминания об этих процессах, но бесподобное чувствование сексуальных паттернов и движений не оставляет визуальных и вербальных следов. Свойства сознательной памяти не позволили уловить происходившее на главной соматической арене; после лишь знаешь, что это было чудесно и ты должен пережить это вновь.

К сожалению, здесь предполагается почти нереальная ситуация. Большинство людей, однако, занимаются любовью, прибегая к необычайному множеству сознательных усилий, интенсивной игре памяти и воображения. Это более свойственно сторонникам традиций, чем перво-мутантам, которые нетипичны в этом отношении. Соматический механизм оргазма работает с высокой долей

сознательного участия; но он может функционировать – значительно более полноценно и гибко – и без вмешательства сознания. И работает он лучше, когда человек переживает ощущения уже не в статусе обладающего самосознанием взрослого, а превратившись в ласкового младенца: испытывающего оральное, генитальное и анальное возбуждение под действием неведомых ему сил.

Очевидно, что мечтая, как мы вырастем большими, мы не оставляем свое детство где-то позади или уровнем ниже; в той же мере, в какой сформировалось наше внешнее сознательное покрытие, у нас развивается первоначальное внутреннее ядро, которое приобретает черты внимательного наблюдателя, чутко воспринимающего окружающее, а также становится источником мощного, взрывоподобного выхода энергии в окружающую среду. Полное грез забвение – составляющая подлинного секса – не означает полного возврата в фазу младенчества, а является повторным присвоением соматического паттерна детства, всю жизнь дававшего нам упомянутое привычное «чувство дома», но действующего теперь не на том энергетическом уровне; врожденная сексуальность младенца это своего рода ветроуказатель из тонкого полотна, ждущий наполняющих ветров пубертата.

Но если чувственная любовь представляет собой возврат к первоначальным паттернам соматического опыта (переживаемым целиком «бессознательно»), это прикосновение к интимной основе младенчества связано с другой отличительной особенностью человеческой сексуальности, отмеченной вначале: у людей она является круглогодичной, тогда как у животных – лишь сезонной потребностью. Данное качество сексуальной потребности может быть выделено как видовая характеристика человеческих сом.

«Внесезонный» характер человеческой сексуальности непосредственно и симптоматически связан еще с одной видовой характеристикой: развитием у человеческой сомы понятийно-речевого сознания. То обстоятельство, что мы обладаем этими двумя замечательными отличиями от прочих представителей животного царства – не случайность: при наличии второй соматической характеристики в первой появилась соматическая необходимость. Чем больше человеческая раса, развиваясь, приближалась к устойчивому опыту сознательной, сопряженной с эффектом сжа-

тия, ассимиляция среды, тем одновременно ближе она подходила к развитию устойчивой, кросс-сезонной сексуальной потребности. Лучшим доказательством тому служит сама западная цивилизация: культура, которая самым настойчивым образом понуждала разум к наступлению на среду, является при этом наиболее озабоченной в эротическом отношении человеческой культурой. Первой нейтрализуется последним. Словом, это гомеостатический баланс, сопутствующий соматическому дисбалансу, вызванному деятельностью рационального сознания.

Советское правительство – верные марксисты, исключительно хорошо разбирающиеся во всем, кроме человеческой сомы – пыталось выработать в своем народе в целом способность совершать рациональное сознательное усилие и заглушить вместе с тем всякий отзвук эротизма. Но в технологическом обществе сладкий чувственный пирог невозможно иметь и не есть<sup>49</sup>: вам придется параллельно осуществлять и то, и другое. Поэтому советское общество отличается колоссальной нестабильностью, к которой оно не проявляет особого желания приспособиться. Его «моральный» климат в настоящее время напоминает тот, что наблюдался тридцать лет назад в Соединенных Штатах, и находится, следовательно, на такой отметке, что удостоился бы наивысшего балла у американских бойскаутов. В Америке представители правого политического крыла (и это им очень вредит) придерживаются тех же строгих нравов, что и Советы, в противном случае они осуществили бы свою грандиозную мечту уничтожить Советский Союз: все, что для этого требуется, это чтобы по всему Советскому Союзу были сброшены тонны первосортных порнографических фотографий и литературы. За год страна вероятно полностью бы изменилась.

Все человеческие сомы приходят к постоянной потребности в аккомодантных паттернах сексуального опыта. Сказав среде: «Нет» – и удерживая ее на расстоянии (с помощью всегда готовых к действию механизмов сознательного разбора и атаки разумом), оказавшаяся, таким образом, в неуравновешенной соматической позе человеческая сома силится на собственный лад уравновесить

---

<sup>49</sup> ср. с англ. выражением: to eat one's cake and have it (букв. есть пирог и иметь его) — один пирог два раза не съешь; пытаться совместить несовместимое

свое сжатое состояние целебным бальзамом чувственной нежности и покорности.

Однако эту встречную попытку сомы добиться равновесия с трудом можно назвать успешной. И сейчас, почти на гребне свершившейся технологической эпохи, наша изживающая себя поглощенность поддержанием бдительности сознания и важной работой (деятельностями, за которыми следуют сжатие и страх) довела нас до чрезмерного эротизма. Но эротизм и удовлетворение сексуальной потребности не одно и то же: эротизм это стремление достичь сексуальной разрядки этой потребности, *пропуская ее через ассимилятивную функцию сознания* – как будто источник сексуальной аккомодации находится не в самом субъекте, а снаружи, в среде. У мучительного стремления получить сексуальное удовлетворение есть соответствующее название: порнография. И нужно, чтобы то, что я сейчас скажу, было ясно: судьба традиционной культуры Запада соматически предрешена; она растратит остаток своих дней, предаваясь иссушающей и неутолимой страсти – своей одержимости порнографией. Те дни уже наступили для культурной традиции в Соединенных Штатах и настанут вскоре в Западной Европе.

Предсмертный хрип культурной традиции будет звучать как слово из четырех букв; но задолго до того, как послышится этот заключительный аккорд, сформируется экспериментальная культура, которая вместо того, чтобы игнорировать технологическую среду, созданную сознательным разумным усилием, признает эту среду и откликнется ей: адаптационная культура, находящаяся на пути к становлению продуктивной мутантной культурой.

В обществе перво-мутантов секс не будет общедоступным товаром, прямо или косвенно выставляемым повсюду напоказ, чтобы стать приобретением и объектом пользования болезненно сознательного покупателя. Ведь обращение к такого рода возбуждающему предлогу для секса соматически невозможно для перво-мутанта: для него секс это что-то такое, причиной чему является он, в том смысле, что только он сам может позволить ему иметь место. «Да», – и в нем кроется упоительный секрет: кто знает как отдаться чувственной аккомодации и дать ей произойти, тот притягивает других, чье желание того же так же велико. Как бы то ни было,



это «раскрытый секрет», известный в первую очередь женщинам и тщательно скрываемый от мужчин.

Итак, я представляю на рассмотрение ситуацию, которая является взаимобратной для приверженца культурной традиции и перво-мутанта и не может не вызвать улыбки: один прилагает огромные усилия, чтобы испытать в результате неудовлетворенность; другой не напрягает сил и получает в итоге огромное удовлетворение.

Секс это «переживание», которое не обязательно «понимать» и о котором нет надобности говорить прямо, поскольку оно не содержит ничего доступного пониманию и сказать о нем нечего. Живое, уравнивающее присутствие в нашей жизни подобного превышающего понимание опыта придает мотивировку и осмысленность всему, что мы действительно понимаем в нашей среде. Сексуальное возбуждение лежит в основе оргастического рефлекса, однако некоторыми любownikами этот рефлекс никогда не переживается. Наиболее законченным выражением сексуального опыта, по-видимому, является чистый чувственно-аккомодантный поток – абсолютно свободный и податливый – и все же у многих людей его течение ограничивается интенсивным и изощренным контролем и его сжимающим воздействием. Сексуальное переживание, казалось бы, совершенно лишено страха и агрессивности, и тем не менее, демонстрация полового чувства через проигрывание соответствующим образом окрашенных чувственных ролей на глубоком уровне является частью мужской и женской сексуальной роли и наиболее явно обнаруживает себя в мазохизме и садизме, поочередно практикуемыми для получения удовольствия как мужчинами, так и женщинами.

Фрейдю сексуальность виделась как единственное энергетическое влечение у человека; позднее он стал рассматривать ее как один из двух базовых человеческих инстинктов. Другие психоаналитики, первое время возглавляемые Юнгом, стали далее суживать значение сексуального влечения. Райх еще больше ограничил его, сосредоточив сексуальность в рамках оргазмического рефлекса и считая решающей ее роль в разрядке парасимпатической энергии. Представление о сексуальности у этологов – по крайней мере относящееся к животным, не принадлежащим человеческо-

му виду – более определенно и функционально: это одно из четырех базовых органических влечений или комбинация влечения к спариванию с другими побуждениями, представляющая собой «вторичное влечение». Вне круга эти соматических ученых, по лихорадочным оценкам приверженцев культуры, что во весь опор мчатся от спиритуализма к порнографии, сексуальность может быть всем и ничем.

Из всей этой неразберихи нам следует извлечь хоть какую-то мудрость, придя к следующему заключению: бесполезно стремиться понять человеческую сексуальность, и не только потому, что она превышает наше понимание, но и потому, что сама сексуальность подвержена эволюционному изменению.

Однажды на прогулке после завтрака прославленному французскому философу был задан его приятелями интересный метафизический вопрос: «Что, по-вашему, является центром всего?» Я говорил, что он ответил: «Le centre du monde, messieurs, c'est le con d'une femme»<sup>50</sup>. Он не стал уточнять дальше, и никто его не это не подтолкнул.

Сексуальность именно такой центр человеческого опыта. Так как это источник, начало и дом, откуда я родом, дело не в понимании этого центра, поскольку он предпослан моему пониманию, порождая и формируя его. Этот центр и есть я; он *был* мной прежде чем я начал что-либо понимать и остается мной и после того, как я стал понимать что-то еще. Понимание «*выходит*» из центра; единственным *входящим* процессом для этого центра является честная капитуляция перед самим собой.

Первые вопросы человеческого младенца, самое начало проявляемой им любознательности, это вопросы с прямой сексуальной и одновременно метафизической подоплекой: «Откуда я появился?», «Откуда ты появилась?», «Откуда появляются люди?» В ходе соматического развития они знаменуют собой первый порыв к человеческому научению и исследованию: все «зачем» и «почему» это вопросы о происхождении, истоке и центре – «Как я сюда попал? Я должен был *откуда-то* появиться?» Всякая человеческая

---

<sup>50</sup> Le centre du monde, messieurs, c'est le con d'une femme (фр.) – Центр мира, господа, это гениталии (употр. вульг.) женщины.

цивилизация обязана своим происхождением этому первоначальному импульсу к исследованию и изучению, а на данный вопрос никто никогда не дал удовлетворительного ответа. Произнести этот вопрос значит пробудиться к сознанию тайны, перед которой мы трепещем, вот такому осеняющему юное человеческое существо открытию: «Я есть я, а мир это мир. Мы не одно и то же, мы порознь, разделены. Как мы попали в такое положение? Откуда я появился, раз уж, по-видимому, *действительно* принадлежу миру? И откуда берется мир, раз уж он *не* принадлежит мне?»

Ум ребенка и мифологическое сознание [первобытного человека] тождественны на ранней стадии созревания, с ужасом обнаруживая индивидуализированные существа в этой реальности, пропитанной разъединенностью, отчуждением и одиночеством. Изначальный, младенчески непосредственный ум говорит «Нет» тому, что оказывается перед ним. В таком разделении, такой расстановке вещей порознь заключена ужасная ошибка; и фактически ребенок спрашивает: «Я? Почему я? Почему я *здесь*, разлученный с тобой и всем этим?» В конечном счете он спрашивает вот о чем: «Откуда мы все? Где тот центр и источник, в котором мы были вместе, пока не произошло это странное разделение?»

Так начинается всякое человеческое познание, и так всякое человеческое познание заканчивается – не получив ответа. Не надо было, не «следовало» задавать вопрос, потому что как только он был поставлен, мы лишились ответа. В то же мгновение мы лишились своих исконных соматических владений и стали сознательными человеческими существами, беспокойно ищущими призрачные империи. По крайней мере, мы были такими до сих пор.

## 4. $E = SA^2$

Поскольку это наша последняя возможность охватить все единым взглядом, для начала неплохо было бы разом потянуть за множество ниточек, из которых соткана эта небольшая книга, чтобы увидеть, чем мы располагаем. В общем-то у нас есть своего рода повесть или история, и – как некоторые повести и история в целом – она не завершена.

Эта повесть о человеческой соме, соме, которая живет, действует и переживает свое бытие, по сути, как все остальные сомы, и которую однако ее особые адаптивные достижения толкают на уникальный путь соматической эволюции, ведущий к небывалому эволюционному результату: она выжила не благодаря успешному приспособлению к требованиям (как другие сомы), а превзошла это базовое достижение и добилась выживания, трансформируя и адаптируя среду к *собственным* требованиям. Для того, чтобы такое необычайное положение дел стало реальностью, человеческая сома сформировала у себя особую организацию соматических энергетических влечений, специально приспособленных к наступлению на среду. Это специфическое распределение соматической энергии, хотя и является единственным такого рода примером в эволюционной истории, с биологической точки зрения представляется довольно простым: оно состоит в направлении большей части соматической энергии на реализацию ассимилятивных влечений страха и агрессии – лишнее свидетельство того, что обеспечивающие аккомодацию к среде влечения, связанные с чувственным голодом, обойдены столь основательно, насколько это вообще возможно.

Вырабатывая оборонительно-агрессивный подход к земному окружению путем ведущего к нарушению равновесия канализирования соматической энергии, человеческая сома постепенно сформировала особые нейрофизиологические структуры для управления этими ассимилятивными энергиями. У нее развился сложный способ чувствования среды, получивший название «сознания». И задачей предпринятого сознанием наступления на пугающую среду было исследовать ее и запомнить, продуманно выстроить

ее символический образ из имеющихся представлений, зафиксировать эти мысленные представления как особый слышимый звук (слово) и затем закрепить, и мыслить этими устойчивыми символами мира с тем, чтобы найти способы этот угрожающий мир атаковать, контролировать и направлять. Таково разумное отношение к среде: среда мыслилась в имеющих определенное название единицах, которые обдуманно, разумно организовывались в более крупные единицы, также имеющие свое название. Для сознательной человеческой сомы и восприятие среды и активное поведение в ней были разумно и рационально структурированы.

Однако при этом, вследствие ничем не уравновешенного использования ассимилятивных влечений, соматические проводящие пути аккомодантных влечений атрофировались: сома почти перестала воспринимать среду аккомодантным способом и почти утратила чувственно-аккомодантное поведение как способ реагирования на эту среду. Аккомодантные влечения продолжали существовать, но функционировали малоэффективно и только косвенно. Попав в неуравновешенную по отношению к среде адаптивную позицию, человеческая сома прервала свою аккомодантную эволюцию, омертвляя собственное соматическое ядро, и дала выход своим энергиям, направив их не на адаптацию к миру, а на адаптацию к своему «Я».

Как непосредственное следствие такого омертвления сомы и подавления проявлений ее аккомодантных влечений произошло и замораживание соответствующего общественного поведения человеческих сом, которое приобрело узкую – оборонительную и наступательную – направленность по отношению к угрожающему окружению. Индивидуальная аккомодация к среде была запрещена и допускалась лишь определенная рациональными предписаниями групповая аккомодация – подтверждение прерогативы общественного руководства. Вытекающие умственные привычки (т.е. моральные принципы), индивидуальные привычки (характерный для данного лица моральный способ вести себя) и обычаи общества (политико-экономические структуры) – конформистские и угнетающие по своей природе – были сформированы как прямое отражение земной среды: среды, где царят дефицит, непредсказуе-

мость и угроза, и от которой полностью зависит общество в своей задаче выживания.

Миновав длительный период исследования механизма сознания и развития рациональных техник индивидуального и социального поведения, а также экспериментирования с этими техническими приемами, человеческая сома готова была предпринять полноценное наступление на земное окружение. Она вкладывала еще большую энергию в ассимилятивные, агрессивные виды деятельности в стойких попытках общества покорить и контролировать прежде неуправляемую и обладающую однако первостепенным значением среду. Одновременно она расходовала большее количество энергии на подавление ненужных и причиняющих ей беспокойство аккомодантных влечений.

За период приблизительно в триста лет человеческая сома, благодаря такому осуществляемому при интенсивном участии сознания рациональному восприятию и поведению, достигла двух результатов: овладев органами технологического контроля и используя их возможности, она восторжествовала над своей средой и до такой степени подавила свои чувственно-аккомодантные влечения, что стала утрачивать соматическую память об аккомодантных приемах адаптации. Прочно утвердившись на своей ассимилятивной, агрессивной позиции, она одержала верх над средой ценной окостенения и потери половины своих соматических способностей. К тому времени, как человеческая сома достигла вершины в своем завоевании среды, у нее настолько снизилась способность к аккомодантной адаптации, что ей оставалось либо разрушать себя, одурманивать себя наркотиками, либо пытаться спастись, прибегнув к еще более интенсивной сознательной агрессии.

Если бы сознательные навыки агрессивного использования технологии имели чисто филогенетическую, а не смешанную онтогенетическую и филогенетическую (т.е. культурную) основу, человеческая раса перестала бы существовать, что и было бы достижением ее технологической цели – иными словами, ее аккомодантная неприспособленность была бы зафиксирована генетически и человеческая раса уничтожила бы себя, пытаясь адаптироваться с помощью механизмов страха/агрессии – атрибутов рациональности – и технического могущества.

Но поскольку гипертрофия сознательного рассудка и атрофия бессознательной чувственности не только унаследованы нами генетически, но и обусловлены культурно, среди возрождающихся человеческих сом стала происходить аккомодантная адаптация; они рационально, разумом восприняли свою не несущую угрозы среду и осознали, что она теперь совсем не была той ужасной средой, на борьбу с которой была запрограммирована древняя человеческая культура. С этого разумного восприятия, послужившего триггером, началась мутация и культурная революция произошла. Новое окружение теперь не являлось центром интересов рационального ума: подобное сознательное усилие в значительной степени потеряло свою уместность и его хорошо смазанный механизм перестал оттягивать на себя прежние количества соматической энергии. Более того, древняя культура, которая направляла и поддерживала эти сознательные попытки ассимиляции, соответственно страдала той же неуместностью и непригодностью.

Возрождающиеся человеческие сомы не могли реагировать на свою технологическую среду ни прямым рациональным усилием, ни опосредованно – под руководством своей традиционной культуры. Им ничего не оставалось кроме как адаптироваться, причем адаптироваться аккомодантным способом: т.е. они должны были, отдавшись чувственности и расслаблению, уступить своей среде и позволить ей организовать их соматические ресурсы в соответствии с ее структурами. Аккомодантная адаптация с самого начала была трудной задачей, задачей на импровизацию – в связи с двойной проблемой притупленных аккомодантных влечений и отсутствия культуры, способной направлять использование нами этих влечений. Итак, первые молодые сомы были перво-мутантами и им пришлось экспериментировать с восприятием и поведением, чтобы положить начало новой культуре и новому подвиду человеческих сом.

В ходе создания этой культуры перво-мутанты определили что-такое восприятие на поверхности и каким-оно-может-быть изнутри, они оценили картину воспринятого через реконструкцию ее в своих символических реакциях на среду и осмыслили чисто индивидуальное аккомодантное поведение через конформистское поведение, навязанное обществом. Такое эксперименти-

рование с восприятием, символическим выражением и поведением стало основой новой человеческой культуры и новой разновидности человеческой сомы – уже, что касается ее завершенности, не «мутантной» культуры (или человека-«мутанта»), так как она приобрела наконец статус устоявшейся структуры и нормы.

Основной идеей новых культурных установлений была индивидуальная приспособляемость и каждый элемент культуры, окружающей молодого человека с самого рождения, был призван стимулировать и поощрять гибкое, эффективное и всестороннее использование и развитие всех филогенетических систем влечений человеческой сомы. Открыв в кульминационной точке первого периода своего развития секрет высвобождения энергий среды, сейчас, на следующей фазе роста человеческая раса посвятила свои усилия разгадке тайны высвобождения соматических энергий и разработке этой проблемы. Тайна заключалась в приспособляемости (когда-то называвшейся честностью, а иногда прямоотой или правдивостью) и находились все новые подтверждения тому, что чем большую приспособляемость приобретала человеческая сома, тем больший выход энергии это влекло за собой. Обладающий способностью приспособляться, распространяющейся, разумеется, на восприятие, обучение, общение и обмен со средой, подлинный, полностью сформировавшийся человеческий мутант жил в настолько подвижном и гибком коммуникативном взаимодействии со своим окружением, словно в прямом смысле стал органической частью этого окружения, сцепленной с ним как две шестерни мироздания. И только после этого было положено начало истинной науке и человеческой жизни в полном смысле этого слова.

Я взял историю человеческой сомы и, рассказывая ее, позволил сюжету повествования миновать настоящее и перетечь в двадцать первое столетие. Возможно такая проекция наших представления в будущее столетие не вполне корректна – сюжет любой истории претерпевает неожиданные изменения и повороты, по мере того как вступают в действие отклоняющиеся от линии его развития новые драматические элементы – однако это четко вырисовывающееся в исторической перспективе подтверждение того, что пророчила соматическая мысль и предвестником чего является процесс происходящей сегодня перво-мутации.



Принимая во внимание наметившееся историческое подтверждение, мы неизбежно должны посвятить этот последний разговор о взбунтовавшихся телах вопросу о том, что мы должны сделать для завершения этого соматического восстания и выполнения этой мутационной задачи. В значительной мере в достижении этих целей должно, наконец, помочь то, что лучше всего назвать образованием, хотя подготовленный фундамент в следующем поколении будет заложен, как мы уже говорили, решительными конструктивными действиями революционных перво-мутантов. Учитывая данные факторы, позвольте нам закончить теперь наше начальное пособие по соматическому мышлению несколькими замечаниями относительно стратегии мутации.

В технологическом обществе Америки с этого момента (а в европейских технологических сообществах не позднее, чем в ближайший срок) ключевым словом может считаться *адаптация*, и главной человеческой задачей будет достижение *соматического состояния оптимальной приспособляемости*. В первых нескольких поколениях акцент в нашем овладении искусством приспособляемости придется прежде всего на аккомодантную адаптацию, проходящую под эгидой наших чувственных желаний. Технологическое общество делает соблазнительно легким исследование неосвоенного лабиринта наших чувственных нужд, но гораздо важнее, что такая возможность – это адресованный людям призыв раскрыть природу и пределы человеческого желания, при условии, что они наконец примирятся со своей средой, зная, что они, люди (как одиночные сомы) *хотят* сношений со средой и *испытывают в них необходимость*. Человеческие существа когда-нибудь добьются независимости и, следовательно, личной свободы единственно возможным способом: благодаря знанию о том, что исключительно они сами, будучи сомами, компетентны определять чего они хотят, в чем нуждаются и что сделают, и всему этому являются единственным источником.

Добиться такой независимости и значит – достичь соматического состояния оптимальной приспособляемости к непрерывно меняющейся окружающей ситуации. И безусловно, для того чтобы добиться этого независимого состояния, предполагающего

знание собственных адаптационных потребностей, человек должен учиться читать язык своей сомы.

Традиционная культура ставила своей образовательной задачей учиться читать среду. Цель познавательного процесса в мутантной культуре – учиться понимать себя как сому.

В нашей культурной традиции направленность образовательного курса становится все более очевидной с тех пор, как мы приблизились к своей цели – созданию технологического общества: цель обучения состояла в том, что подготовить человека к энергичному и действенному наступлению на среду. С той же неотвратимостью как пуповина новорожденного ацтекского младенца всякого сословного звания символически предавалась земле вместе со щитом и колчаном стрел: под речи его старших родственников о том, что он пришел в этот мир сражаться, – и дети Запада рождались на борьбу со своей средой. И они *вели* борьбу с ней. И завоевали ее.

Очевидна направленность традиционной линии образования на подготовку человека к служебным обязанностям, роду деятельности или профессии, вписывающимся в целостную картину направленной против земной среды социальной агрессии. Характерно, что метод подготовки состоял в пересадке обучающемуся заранее установленной программы серийных, механических действий, которые он затем должен был методично использовать в своем эффективном профессиональном наступлении на среду. В этом отношении традиционное образование абсолютно аналогично традиционной западной морали с ее малопригодным механистическим подходом к адаптации: мораль представляла собой заблаговременно расписанную программу поведенческих процедур, внедренную в сознательное поведение молодых людей. Активная и уверенная адаптация несоизмеримо эффективнее запрограммированного набора правил. Новая образовательная стратегия является для людей тренингом оптимальной соматической приспособляемости; прежняя методика образования упрощается и станет безвредным средством поддержания нашей технологической машины.

Сегодня, когда мы вступили во всецело технологический период, такое механическое обучение становится вполне конкретной

и фактической реальностью. Работа вслепую в значительной мере отошла в прошлое: нам нужно выучить столько людей, которые будут заняты в данной индустриальной сфере, сколько требуется – столько-то врачей, столько-то инженеров-электриков, столько-то учителей – и они будут размещены в данной части страны или на каком-то участке делового мира. При такой ситуации традиционная культура показала, на что она способна: выживание и овладение средой сегодня становятся детской игрой. Операции просты и доступны каждому: как в армии, в мире бизнеса и в техническом мире не требуется ни таланта, ни воображения – лишь осведомленность в ведущих жизненных вопросах западного общества, минимальная сообразительность и принятие рабочего менталитета.

Мы ступили сегодня в волшебный рай, где все делается с легкостью и мало что требуется. Мы выиграли сражение и спало напряжение сил. Мы могли бы долго пребывать в этой блаженной суете, если бы не то обстоятельство, что у нас чем дальше, тем меньше дел, а также необходимости в овладении какими-то видами деятельности и профессиями. Мы вступили в эпоху, когда буквально *не знаем, что делать*. Мы не знаем, *что* нам делать, потому что в нашем окружении *делать* остается немногое.

Положим просто, что традиционная культура прочно покоилась на древней истине о том, что *человеческие потребности питались средой*. Раньше люди знали, что делать, так как среда требовала этого от них, если они хотели выжить. Но становление технологической среды означало создание нами среды, которая больше ничего не заставляет нас делать; она не создает для нас наши потребности и, как следствие, мы обнаруживаем, что живем в мире, где нет *нужды* что-либо делать. И в результате нечего делать: мы не знаем, *что* делать, поскольку действительно делать почти ничего не остается.

Без сомнения, становление технологической среды это одновременно завершение развития и ломка традиционной культуры Запада. Реализуя налагаемые земной средой потребности, эта культура уничтожает потребности среды. В самом строгом смысле *наша сегодняшняя среда уже не нуждается в нашей традиционной культуре*.

И если соль утратила вкус, чем посолите? – вот описание ситуации, сложившейся в нашей древней культуре: когда в среде мы не находим своих желаний и потребностей, где нам их найти? Что в данный момент нужно человеку? Каковы его предназначение и функция? Имеет ли еще его бытие оправдание?

Именно к такому завершению череды вопросов человека к самому себе вела нас традиционная культура и она абсолютно не в состоянии попытаться разрешить или даже постичь природу поднятой ею проблемы.

Позвольте мне со всей возможной настойчивостью подчеркнуть: для каждого, кто имеет глаза, чтобы видеть, наша традиционная культура мертва. Она не «больна», не «в беде», не терпит преходящие «приспособительные» трудности: она мертва. Она неуместна и абсурдна с позиций адаптации. И те, кто затянуты ею, находятся в плену соматических условий, имеющих своим следствием болезнь, слепоту, безумие и неполную выраженность человеческих черт.

С равной настойчивостью я должен заявить также, что единственный путь выживания, который еще открыт для человечества, это безотлагательное формирование радикально нового отношения к окружающему нас миру – формирование культуры гуманистической в своей основе.

Когда у нас – спустя многие века, понадобившиеся, чтобы додуматься, что команды, исходящие от природного окружения, перестали быть источником наших потребностей и желаний – остается один выбор, он же является тем выбором, что лежит на самой поверхности и состоит в том, что нам, как индивидам, доступно быть абсолютной первопричиной собственных желаний и потребностей. Мы *может* быть этой первопричиной, но это не единственное; пожалуй, упомянутая гуманистическая по духу культура начинается с озарения, что мы *всегда* были источником наших желаний, если исключить, что нам пришлось целыми столетиями отвыкать от света и нужно учиться, мигая ресницами, снова адаптировать глаза к непривычной непосредственности и ослепительному блеску нашего требующего «Я».

Если наши «основы соматического мышления» и не выявили нечто большее, благодаря этой книге выяснилось по крайней мере,

что мы, человеческие существа, являемся носителями древних и совершенных сом и филогенетические паттерны их адапционных знаний уже являются частью нашего подлинного существа. Вопрос лишь в принятии той соматической мудрости, непринужденная игра которой выражается в адаптивном отклике миру.

Более трехсот лет назад сэр Фрэнсис Бэкон привел в окончательный порядок паруса, под которыми западная культура должна была совершать свое стремительное движение к завершению в технологии. Он потребовал от человечества – если это способствовало пониманию и подчинению среды – «развенчания духа» перед природной стихией. Человечество вняло этому предписанию и сдалось велениям природы. Теперь, когда оно достигло этой цели, люди вновь стоят перед необходимостью сдаться, и необходимостью совершенно иного рода: они должны сдаться своему соматическому существу.

Капитуляция перед собственным соматическим существом и знакомство с его типичными командами составляет задачу образования на данный момент. Получение в ближайшие сроки обладающих оптимальной приспособляемостью человеческих индивидуумов является единственной насущной задачей, стоящей перед людьми в технологическом обществе – все остальные задачи не настоящие, они вне обсуждения. Вот что такое эволюция-революция и вот в какой стадии находится развитие событий, когда перво-мутанты решительно или, лучше сказать, воинственно оспаривают нормы нашего общества в пользу тех, что должны установиться.

Поскольку наши существующий образовательные институты прямо воспроизводят отживший и сделавшийся абсурдным политический курс, господствующий в традиционной культуре, в наших школах и университетах не только отсутствует нравственность, они развращают нравы. Ни то, что они «нуждаются в реформе», ни то, что учебный план и приемы обучения следовало бы «в корне пересмотреть», не соответствует действительности; скорее, само понятие образования должно подвергнуться революционному пересмотру, или вообще нельзя будет говорить ни о каком образовании. Его место займет деятельность, напоминающая работу пчелиного улья, за которой будут лишь тянуться дни, пока не выведутся пчелы и не рассыплется улей. Вполне возмож-

но, что на данный момент *отказ от каких бы то ни было* учебных учреждений был бы предпочтительнее наших нынешних пустых претензий на обучение. Молодых американцев *не* подводят к тому, чтобы они стали сильными, легко приспособляющимися, независимыми людьми. Их готовят к роли узколобых функционеров, недоразвитых в человеческом отношении, у которых мотивация, особенности самоопределения и *raison d'être*<sup>51</sup> обусловлены, по-видимому, технологическим обществом.

Администрация американских университетов проявляет показной оптимизм, наивно пытаясь убедить себя в том, что эти эксцентричные течения, которые как будто бы бродят среди младшего поколения американцев, когда-нибудь так или иначе схлынут – что во время шторма надо лишь отстояться на якоре и все будет хорошо. Но эти сторонники традиций от образования не имеют ни малейшего представления о шторме, и пока они уговаривают себя *не* признавать возможным действие каких-то совершенно новых факторов и *не* относиться к этой ситуации всерьез, всякий день они могут заносить в свои календари как день проигрыша, потери, глупости и измены будущему человечества.

Безусловно, перво-мутантам Америки недостает подлинных учителей, но с нашими технологическими возможностями и малого их числа достаточно, чтобы начать преподавание нам знания нашей среды и работу по созданию мутантной культуры, которая должна быть создана. Среди этих учителей многие молоды – очень молоды. Немало таких, кто находится всецело вне университетских сообществ или были вытеснены из университетов. Немало среди них и людей более старшего возраста, преподающих в университетах; вы узнаете их по тому, как несомненная симпатия к ним студентов уравнивается пассивной неприязнью должностных лиц, тычущих пальцем в их послужные листы, брюзжа при этом, что таким не место в «нашем» университете. Они правы.

Однако учителя, вожди, живущие рядом с нами в нашем обществе, разделяют общее фундаментальное понимание обнаруживающих себя явлений и сути стоящей перед нами учебной задачи. Пробным камнем является, разумеется, попытка добиться такого

---

<sup>51</sup> *raison d'être* (фр.) – здесь: смысл существования.

преобразования школ, колледжей и университетов, чтобы они сделали проводниками того, что актуально с позиции среды. Пожалуй, шансы на это лишь самые минимальные. Более чем вероятно, что понадобится специально создать совершенно уникальные, особые институты, чтобы проводить стратегии, соответствующие совершенно своеобразной учебной цели.

Специфический метод, которым будет проводиться мутационное обучение, по большей части является откликом на результаты экспериментов, проходящих сейчас как неформальным образом, в рамках подхода, выстраиваемого группами активистов или в виде новшеств, существующих внутри различных коммун, так и с соблюдением принятых формальностей, в разрозненных гуманистических ассоциациях и ритрит-центрах<sup>52</sup>, быстро растущих по всей стране. Общая природа этих образовательных институтов, однако, очевидна. Новые школы и университеты не могут быть определены как *пространство*, отделенное от окружающего мира, какое-то место, где время, пока в головы послушных учеников вкладывается «образование», *выпадает* из жизни общества. Новые школы и университеты это не занимаемое ими пространство; не имея другого выбора, они становятся скорее *способом жизни* экспериментального характера. Невозможно на время обучения *остановить* жизнь и приспособление к социальной и физической среде, необходимо, напротив, учиться жить и адаптироваться более интенсивно, гибко, полно и эффективно.

Мутационное обучение, так же как оно не *изолировано в пространстве*, разумеется не может быть *обособлено во времени*; т.е., такое обучение не может быть искусственно ограничено определенным временем дня или ночи, либо некоторым периодом жизни. Оно должно плавно начинаться и длиться, пока конкретный человек нуждается в обеспечиваемых им адаптационных познаниях; когда оно перестает быть необходимым человеку (причем он может никогда не прекращать или никогда не начинать учиться),

---

<sup>52</sup> ритрит-центры – места уединения, которое в некоторых практиках составляет необходимое условие для полного, непрекращающегося погружения в медитацию.

он заканчивает подготовку и продолжает осуществлять адаптивные действия самостоятельно.

Говорить о деятельности учебного учреждения как о способе жизни, органически связанном с нашим непосредственным социально-физическим окружением – а не с особым местом и временем – значит придерживаться в корне другого понимания учебного учреждения. И все же, утверждают сторонники традиций, эта деятельность должна проходить в определенном *месте* – не так ли? – и в определенное *время*.

Ответ, конечно, отрицательный. Обучение, соответствующее природе и возможностям технологической среды, *вовсе* не требует специального места и времени, поскольку оно могло происходить в обществе *повсюду* и *постоянно*. Меньше всего я зову к безвкусной мечте о мире обучающих машин и «заготовленных» телеуроков, являющейся венцом образовательных достижений традиционной культуры и отражением ее тупой, механической реакции на технологию; автоматизированное обучение останется необходимой, но второстепенной составляющей мутантной культуры, предоставляющей техническую подготовку всем, кто желает искать свое призвание на сокращающейся ниве технических профессий, поддерживающих общество целиком за счет деятельности лишь небольшого слоя этого общества. Всегда найдутся люди, чьим склонностям будут отвечать доставляющие им величайшее наслаждение исследования в продвинутых областях математики, компьютерного знания, электроники, теории автоматизации, кибернетики и практики инженерного искусства. Дальнейшее существование этой технической прослойки в нашем обществе будет обеспечиваться не за счет того, что я называю «образованием», а благодаря менее сложному, механическому учебному процессу – *профессиональному* тренингу. Говоря о надеждах на подлинное адаптационное обучение, я имею в виду обучение того типа, что стало возможным благодаря непосредственности действия наших технологических систем коммуникации и транспортного сообщения. В отношении деятельности учебных учреждений вопросы «где?» и «когда?» утратили свое значение; единственный важный с точки зрения образования вопрос это вопрос «как?». И это «как?» и описывается процессом практического овладения соматической



адаптацией – видом подготовки, которую невозможно дать учащемуся, которая может быть приобретена только им самим в активном процессе самой адаптации.

Тренинг восприятия неизбежным образом играет главную роль в этом мутационном учебном процессе. Люди должны наконец научиться тому, что значит действительно видеть, слышать и осязать без корректировки и контроля этих восприятий, которые в данном случае не подвергаются суживающему воздействию фокусировки сознания или бессознательного страха. Очень немногие люди знают, как расслабиться и отдаться цельному потоку, которым вливается в их органы чувств панорама окружающего мира. Поступить так хоть однажды значит приобрести разоблачительный и необратимый опыт – таков глубокий эффект психоделических веществ. Но для того, чтобы воспринимать, не нужны наркотические средства; все что требуется – это собственное «Я» и какой-нибудь руководящий партнер или люди, которые могут объяснить, как они научились воспринимать чувственно-аккомодантным способом и на что это для них похоже. Вся литература, посвященная индийской йоге, насыщена сравнениями и метафорами, которые создавались гуру, старавшимися описать «на что похоже» переживание определенных соматических паттернов: вас ведут, приказывая вызвать какой-то «цвет», своеобразный приглушенный «звук» или ощутить «змею, разворачивающуюся в углублении вашего живота». Это соматический язык. Он не имеет отношения к явлениям среды; он рассказывает о в высшей степени реальных и структурно оформленных соматических паттернах, которые невозможно «увидеть», «услышать» или «почувствовать» сознательно-ассимилятивным способом, а можно воспринять лишь сдавшись себе, следуя ее движениям и гибким изменениям, производимым ею в собственной структуре в ходе тонкого непосредственного контакта со средой.

Гуру и учителя, на которых ляжет адаптационное обучение, разработают свои методы такого перцептивного тренинга, а также свою – актуальную для сегодняшнего дня – специальную метафорическую и соматическую лексику для описания приобретенного опыта.

Этот вид тренинга в самом буквальном смысле можно обозначить как «расширение сознания», поскольку он представляет собой развитие восприятия за рамки восприятия сознательного и традиционного. Благодаря соматической науке и философии стало очевидно, что человеческое «сознание» это форма восприятия чрезвычайно ограниченная и неэффективная; оно отличается агрессивным практицизмом, находится в тисках рассудка, а банк памяти, которым оно располагает, состоит из слуховых и визуальных микрочастиц, являющихся осколками реальности. Цель адаптационного обучения состоит в том, чтобы привить человеку навыки сверхсознательного восприятия, научить его обнаруживать паттерны такого рода восприятия, отработать приемы его развертывания, умения наблюдать устойчивые состояния среды и формировать на основании этих наблюдений банк памяти, в котором хранились бы невербальные, лишённые образности паттерны соматических и относящихся к среде воспоминаний. Это «соматическое обучение» в простейшем его понимании.

Но поскольку такое обучение имеет место внутри контекста, задаваемого этим существующим миром и этой непосредственной задачей – адаптироваться, тренинг восприятия неотделим от тренинга экспрессивного поведения. Как-то вести себя значит приводить в движение сому. Вести себя адаптивно значит согласовывать движения сомы со всеми имеющимися аспектами своей меняющейся среды, реагируя приспособительными актами как ассимилятивного, так и аккомодантного характера, и сочетая те и другие.

Иными словами, в отличие от традиционной система мутационного образования должна обеспечивать учебный опыт, включающий настоящий страх и настоящий гнев, неподдельную остроту чувств и подлинную сексуальность. В противном случае этот опыт нельзя считать обучающим; он не служил бы тренировке способности приспособляться к среде. Достижение полноты поведенческих проявлений, наряду с неограниченностью перцептивного опыта, в данном случае составляет единую цель обучения. И признавая это, мы признаем тем самым, что образование будущего является осуществлением в позитивной, универсальной форме того же процесса, который в прошлом смутно вырисовывался как «терапия».

Каковы будут последствия воспитания людей как оптимальным образом адаптированных сом? Очевидным результатом будет переход к созданию непоправимо здоровых человеческих существ. Другой эффект будет заключаться в том, что такие мужчины и женщины станут полностью независимыми субъектами моральной ответственности: т.е. они располагают непосредственным и глубоким знанием своей соматической природы (традиционно это обозначалось как знание или раскрытие собственного «Я»: как понимание того, «кто» ты есть) и научились давать ей свободный выход в процессе адаптации к любому и каждому явлению среды. Поскольку они научились принимать свою целостную сому как внутреннее, обладающее полной достаточностью адаптивное начало, у них нет ни иных намерений, ни другого выбора, как только делать «то, что правильно». Вести себя «дурно» значит для них лишь одно – быть нездоровым, неэффективным и неадапбельным.

Однако самый взрывной эффект, производимый соматическим обучением в мутантной культуре, состоит в том, что оно является пусковым механизмом высвобождения человеческой энергии. Энергия и сила всегда были самым чарующим и желанным достоянием человеческого существа. Жажда энергии, огня и света толкала мистиков навстречу могущественному божеству, она побудила Прометея украсть у богов их силу, а Икара – взлететь к солнцу, чтобы погрузиться в этот лучезарный источник. И люди в конце концов завладели этой силой. Перестав в один прекрасный день искать ее на небесах, они стали находить силу в земных пределах; в последние столетия мы сосредоточили наши усилия целиком на том, чтобы обнаружить и отворить имеющиеся энергетические каналы в природной среде. И оказалось, что конечным и самым удивительным проявлением этой силы, которую мы наконец проследили до ее логава, было наличие в любом количестве вещества объема энергии, заданного произведением квадрата скорости света и массы данного вещества. Формула  $E = mc^2$  была последним и более-чем-разрешающим открытием, сделанным нашей традиционной культурой.

Однако эта рациональная формула, фиксирующая невероятную насыщенность энергией нашей среды, была открытием, которое само по себе не являлось развязкой; не прекращение и заверше-

ние великолепного паломничества человек в поисках контроля над энергией и возможности вырвать ее из самых недр окружающей его среды, а это новое открытие является, на самом деле, той томительной, зовущей мечтой, что скрывается за всеми глубоко проникновенными сказаниями о людях, нашедших и захвативших колоссальную силу в легендарных заоблачных царствах. Как только люди полностью и окончательно усвоили умение открывать каналы энергии в своей природной среде, они тем самым освободились от тирании земли, уведившей их в сторону от осуществления – теперь возможного – единственной человеческой цели, имевшей наконец какое-либо значение: отыскание способа высвобождения энергии, что на протяжении многих эпох таилась в соме человека.

Я шучу лишь наполовину, когда в подражание эйнштейновской формуле ввожу формулу сходного вида:  $E = SA^2$  – энергия человеческого существа равна квадрату величины адаптабельности, достигнутой всякой данной сомой. Эту формулу невозможно точно подогнать к человеческой ситуации, поскольку скорость света является известной константой, в отличие от параметров человеческой адаптабельности, которые не ограничены и изменчивы.

Соматически сбалансированная, гибко приспособливающаяся человеческая индивидуальность обеспечивает возможности контролируемого выхода жизненной энергии, верхние границы которых отнюдь не установлены. Известно лишь, что никогда за всю свою историю человек не обладал способностью давать свободу внутренним энергиям; для них он всегда был лишь узким, тесным вместилищем, не позволяя полностью проявляться ассимилятивным энергиям, и ничуть не лучше умея выражать свои аккомодантные влечения. Однако даже в таком нарушенном, обедненном соматическом состоянии люди смогли не просто установить господство над своим земным окружением, они достигли ни с чем не сравнимого успеха, овладев и воспользовавшись конечной тайной энергии всего материального космоса. Если поврежденная человеческая сома смогла добиться этого, на что же способна сбалансированная и полностью адаптированная человеческая сома? Количество энергии, которую в настоящее время в состоянии генерировать одна единственная сбалансированная сома в своем технологическом окружении, не имеет верхних пределов. И любая

попытка оценить силу всего общества сбалансированных человеческих мутантов, живущих в технологической среде, вызывает в воображении лишь неясную, почти фантастической мощи картину цивилизации, где все возможно.

До конца осмысленная и усвоенная, адаптация является игрой: поэзией существования. Сдерживаемые энергии человеческой сомы могут полностью высвободиться вовне только одним путем – через игровой порыв. И такой выход сегодня возможен: в поддерживающей атмосфере нашего технологического общества люди могут теперь вести игру со своей средой. Слишком поздно работать и быть серьезным; мы разрушили эти понятия вместе с нашей старой культурой. В нас уже нет места ограниченности, подавленности, страданию и озабоченности; мы обречены – благодаря нашим детям – быть здоровыми, веселыми и импульсивными. Вековой опыт работы показал, что работа – занятие малоэффективное; это периферическая затрата энергий, которые остаются неиспользованными, так как они либо заблокированы, либо подверглись прохождению сквозь узкое горлышко рационального, серьезного усилия.

Если мы хотим и дальше трансформировать себя и нашу человеческую среду, мы должны играть, мы должны быть сильными, быть уравновешенными и примеряться к малейшему дуновению ветров испытаний и перемен. Мы и теперь упиваемся тонкими ароматами, пронзительными взорами и стремительностью адаптационного танца, который мы называем жизнью. Рано или поздно мы будем приятно поражены, осознав, что эволюция-революция – не преходящее событие, которому суждено однажды завершиться, стоит нам погрузиться в новую культурную рутину; эволюция-революция очерчивает, скорее, наше будущее состояние – непрерывную, гибкую, бесконечную адаптацию или тот игровой способ, которым испытывавшая воздействие технологии раса в конечном счете учится жить.

Удивительно, но после стольких эпох проб и ошибок мы попали в ситуацию, где просто невозможно не стать здоровым, счастливым и сильным: это наша судьба. И стоит только судьбе свершиться и установиться новой человеческой культуре, тот день будет омрачен лишь одним: добиваясь того, чего нам предстоит достичь,

мы растеряем всех наших богов; печальный факт, учитывая, что таким образом люди лишаются своего главного торжества – лицезреть свои древние божества с завистью взирающими на них сверху.

Итак, в конечном счете ничто не совершенно. Вот (кроме прочего) почему это так занятно.

# Содержание

Вступительное слово.....	7
--------------------------	---

## РАЗДЕЛ 1: ЭВОЛЮЦИЯ-РЕВОЛЮЦИЯ СОМ

1. Начиная книгу.....	11
2. Водораздел: вторая попытка начать книгу.....	17
3. Практикование безнравственности.....	23
4. Занятие умов и тел.....	33

## РАЗДЕЛ 2: ПОВЕДЕНИЕ И МУТАЦИЯ У ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИХ СЛАВНЫХ ЖИВОТНЫХ

### Часть I: Соматические ученые

1. Биология прошлого: Дарвин.....	47
2. Травма яйца: Фрейд.....	60
3. Биология поведения: Лоренц и этологи.....	76
4. Ментальная эмбриология: Пиаже.....	96
5. По мере снятия вашей мышечной брони: Райх.....	111
6. Суммируя сказанное: промежуточное обобщение.....	126

### Часть II: Соматические философы

1. Кант, или первые уроки выворачивания мира наизнанку.....	134
2. Кьеркегор, или как привести свой народ в землю обетованную, не умея обрести ее самому.....	139
3. Маркс, или общество тел.....	149
4. Кассирер, или как опознать мутанта по его символическим отметинам.....	163
5. Камю, или убийство и чувственность.....	170
6. Мерло-Понти, или восприятие, посаженное на цепь и восприятие отпущенное.....	177
7. Вместе с Ницше подводя итоги: человек низший и человек высший — обобщение.....	187

## Раздел 3: Здесь мы очень заблаговременно обходим кругом тутовые заросли

1. Третий глаз.....	201
2. <i>Por mucho madrugar, no amanece más temprano</i> .....	224
3. Да.....	248
4. $E = SA^2$ .....	259

*Минимальные системные требования определяются соответствующими требованиями программ Adobe Reader версии не ниже 11-й либо Adobe Digital Editions версии не ниже 4.5 для платформ Windows, Mac OS, Android и iOS; экран 10"*

*Научное электронное издание*

**Ханна Томас**

**ВОССТАНИЕ ТЕЛ:  
ОСНОВЫ СОМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ**

Компьютерная верстка *В. Кислюк*

Подписано к использованию 02.10.2016  
Формат 12,5×20 см

ООО Издательство  
«Институт общегуманитарных исследований»  
119071, Москва, Ленинский проспект, д. 18

Электронная версия данной книги подготовлена  
Агентством электронных изданий «Интермедиагор»

Сайт: <http://www.intermediator.ru>  
Телефон: (495) 587-74-81  
Эл. почта: [info@intermediator.ru](mailto:info@intermediator.ru)



Ханна Томас получил докторскую степень в области философии и богословия Чикагского университета, после чего начал преподавать в различных колледжах — сначала в колледже Холлинс (Роанок, штат Вирджиния), затем, в качестве приглашённого преподавателя, в Университете Северной Каролины и Университете Дьюка (Северная Каролина). В 1965 году Ханна стал деканом факультета философии Флоридского университета. В этот период он также изучал неврологию в медицинской школе.

В 1973 году Ханна переехал в Сан-Франциско, где стал руководителем аспирантуры Института гуманистической психологии (в настоящее время — Университет Сэйбрука). Ещё в начале 1970-х он познакомился с Моше Фельденкрайзом, чьи теории и наработки были созвучны его собственной «философии тела». Будучи руководителем аспирантуры, Ханна организовал первую в США программу обучения по методу Фельденкрайза и параллельно также преподавал в «Новатовском институте соматических исследований и обучения», созданном им в 1975 году. Ханна продолжал свои исследования и сотрудничество с Фельденкрайзом на протяжении многих лет.

После смерти Томаса Ханна его авторскими методиками и учебными программами продолжают заниматься «Новатовский институт соматических исследований и обучения», «Институт соматических систем», «Институт соматических исследований и развития» и «Институт соматического обучения Ингла».

Объединив свой опыт в изучении богословия, философии и нейронаук, Томас Ханна пришёл к идее, что все события жизни приводят к «физическим паттернам в теле человека».

«Соматическое обучение по методу Ханна» — система физического обучения, разработанная им на основе метода Фельденкрайза. Занимаясь по этому методу с людьми различного возраста, Ханна вёл наблюдения за характерными проблемами, связанными с осанкой. Он заметил, что определенные процедуры помогают восстановить управление мышцами, которые держат позвоночник в неправильном положении и ограничивают диапазон движения.